

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ



ОДЕССКИЙ

АЛЬМАНАХ



№13



ОДЕССА, 2003

От редакции

Дерибасовская — Ришельевская: Литературно-художественный, историко-краеведческий иллюстрированный альманах, 2003. Вып. 2 (13). 1-340.

Дерибасівська — Рішельєвська: Літературно-художній, історико-краєзнавчий ілюстрований альманах, 2003. Вип. 2 (13). 1-340.

Deribasovskaya — Rishelyevskaya: Literary and artistic, historic and of regional studies almanac illustrated, 2003. Issue 2 (13). 1-340.

Редактор Феликс Кохрихт
Редколлегия: Евгений Голубовский
 (заместитель редактора)
 Олег Губарь

Редакционный совет:

Виталий Амурский (Париж), Наталья Барышева,
Андрей Добролюбский, Игорь Коваль, Татьяна Липтуга,
Григорий Поженян (Москва), Аркадий Львов (Нью-Йорк),
Александр Мардань, Юрий Стоянов (Санкт-Петербург),
Михаил Рашковецкий, Нелли Харченко (Берлин),
Кармелла Цепколенко, Борис Херсонский.

Фото:

Вячеслав Теняков, Иван Череватенко, Олег Владимирский.

Editor Felix Kokhrikht
Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
 Oleg Gubar

Editorial council:

Vitaliy Amoursky (Paris), Natalya Barysheva, Andrey Dobrolyubskiy,
Igor Koval, Tatyana Liptuga, Gregory Pogenyan (Moscow),
Arkadiy Lvov (New York), Alexander Mardan,
Yuriy Stoyanov (St. Petersburg), Mikhail Rashkovetsky,
Nelly Kharchenko (Berlin), Karmella Tsepkoenko,
Boris Khersonsky.

Photos by:

Viacheslav Teniakov, Ivan Cherevatenko, Oleg Vladimirskiy

Издается с 2000 года
Выходит 4 раза в год

www.odessitclub.org

Нынешний выпуск нашего альманаха — 13. Не чуждые суевериям, члены редколлегии, тем не менее, пришли к выводу, что он создавался и родился в благоприятное время. И вот почему: с середины апреля по первую декаду мая мы отмечали самые светлые Праздники. Таков уж наш город, родившийся тщаниями людей разной крови, разных конфессий и сословий, что, когда календари возвещают о Пасхе, одесситы лишь во вторую очередь интересуются: “Какая?”. Первый вопрос: “С кем и где празднуем?”. И движет нами вовсе не поиск повода для застолья (хотя и это нам не чуждо), а желание разделить праздник с друзьями, родственниками, соседями, сослуживцами.

Пасхальные торжества начались с еврейской Пасхи — она и в календаре первая, и в Писании. Спустя несколько дней Пасху отметили христиане западного обряда, а затем — православные. Многолюдно и торжественно было в храмах Одессы — и в чудом устоявших в десятилетия воинствующего большевистского атеизма, и в возрожденных, и в новых. Те из нас, кому выпало родиться в многоконфессиональных семьях, самому создать их, имели счастье и удовольствие ощутить прелесть экуменического мироощущения, объединяющего всех, кто исповедует общечеловеческие ценности и желает добра Городу и Миру.

Разумеется, мы смогли оценить и все преимущества полиэтнической праздничной кухни: маца и куличи, фаршированная рыба и смажена ковбаса с цибулею, цимес и вареники... Пасхальное израильское вино “Кармель” и “Немировская” с медом и перцем, “Московская” московского же разлива, и молдавский коньяк, и болгарская ракия... И пиво — тоже!

Были еще знаменательные дни в весеннем календаре. И если 9 Мая — со слезами на глазах — общий праздник, то 10 апреля — наш, одесский. Пятьдесят девять лет назад (три поколения тому) наш город был освобожден от оккупантов — это почти четверть его биографии... В следующем году грядут круглые даты: 210 и 60. Дай Бог, чтобы бойцы, шагающие на знаменитой фотографии 44-го года победным маршем от оперного к вокзалу, встретили и эти праздники вместе с нами.

И еще два красных дня календаря дали нам возможность отдохнуть нынешней щедрой на праздники весной. Для одних 1 и 2 мая — по-прежнему праздники, для других — повод выехать на шашлыки. Одно другому не мешает. Вспомним, что 1 Мая — это не только зловещий Сталин или обалдевший Брежнев на трибуне Мавзолея, но и маевка на Ланжероне, откуда Петя и Гаврик отправились в гости к девочке Моте, наварившей по этому случаю душистого кулеша (еще одно майское блюдо!). Они шли на Ближние Мельницы через весь город — и это было тогда настоящим путешествием и приключением.

В начале прошлого XX века Одесса была, разумеется, меньше, но в детстве деревья кажутся такими большими...

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

**Особая благодарность —
фирме
"ХАРРИСОНС-ТРАНС-СЕРВИС"**
Выражаем признательность за помощь:
фирме "ФАГОТ",
фирме "АРХО",
агентству недвижимости "КАПИТАЛ",
а также Михаилу Пойзнеру.

Петр ВАРНЕК
Эвакуация из Одессы
Добровольческой армии в 1920 году 6

Лилия БЕЛОУСОВА
Орден Рыцарей Льва и Карл Олей -
несостоявшийся король Крыма 22

Андрей НЕЗВЕДСКИЙ
Семейная тетрадь 27

Олег ГУБАРЬ
"Дом сердобольных сестер" 38

Вера ФАБИАНСКАЯ
Комментарии к письму
Владимира Короленко 44

Аркадий ПАЛЬМ
В гавани, далекой гавани... 50

Наталья ПАНАСЕНКО
Одесские Войновичи 87

Эвакуация из Одессы Добровольческой армии в 1920 году

Начавшееся в конце октября 1919 года контрнаступление красных против выдвинувшейся далеко на север Добровольческой армии увенчалось полным успехом. Между главными силами Добровольческой армии, отошедшими к Дону, и Киевской группой войск генерала Н.Э. Бредова, отступавших в Новороссию, образовался разрыв во много сотен верст, и вся левобережная Украина и подступы к Крыму остались без защиты.

Директивой главнокомандующего генерала А.И. Деникина от 4(17) декабря войска Киевской группы и все прочие части, находившиеся на западе, были подчинены командующему войсками Одесского округа генералу Н.Н. Шиллингу. 26 декабря (н. ст.) из разговора по прямому проводу со Ставкой, находившейся в Екатеринодаре, генерал Н.Н. Шиллинг выяснил, что главной задачей ему ставилось прикрытие Северной Таврии и Крыма с отводом войск на левый берег Днепра у Каховки и Херсона, что предreshало вопрос об оставлении Одессы. Однако это решение вызвало протест руководителей союзных военных миссий, английского генерала Хольмана и французского генерала Манжена, считавших удержание Одессы чрезвычайно важным. Для облегчения этой задачи они обещали доставить в Одессу необходимое вооружение и снабжение и, кроме того, даже боевую поддержку английского военного флота. По этой причине, характера скорее политического, генерал А.И. Деникин отдал 18 декабря (н. ст.) новую директиву: "Союзники встревожены эвакуацией Одессы... Удержание Одесского района признается чрезвычайно важным". Далее говорилось о возможности выполнить эту задачу без ущерба для обороны Крыма и о потребованных от англо-французов гарантиях для содействия эвакуации Одессы, в случае если удержать ее не окажется возможным. В связи с новой директивой генерал Н.Н. Шиллинг приказал группе войск генерала Я.А. Слащева, ведшей до того времени борьбу с махновцами в районе Екатеринослава, прикрывать Крым и Северную Таврию, а правофланговому 2-му корпусу, сосредоточивавшемуся в районе Кривого Рога, было указано базироваться на Северную Таврию, что

*Варнек Петр Александрович (?-1980), корабельный гардемарин. В 1922 г. закончил Морской корпус в Бизерте. Автор многих работ по истории русского флота. Умер в Брюсселе.

предопределяло его отход в сторону Крыма. Главным силам генерала Н.Э. Бредова предписывалось отходить постепенно к нижнему Днепру и Бугу и прикрывать непосредственно Одессу.

Между тем 13-я советская армия ввиду отхода частей генерала Я.А. Слащева начала продвигаться вдоль левого берега Днепра, и для прикрытия Херсона явилась необходимость оборонять этот район не только с севера, но и с востока 2-м корпусом, перенеся его базирование на Одессу. Изменение первоначального плана выдвигало вопрос об эвакуации в случае неудачи через Одессу всех находившихся в Новороссии войск, большого числа гражданских лиц и огромных складов военного имущества. В своих донесениях в Ставку генерал Н.Н. Шиллинг указывал, что полная эвакуация морем может оказаться невыполнимой даже при содействии союзников, и поэтому просил получить через них разрешение на пропуск войск и беженцев в Бессарабию.

4 января (н. ст.) генерал А.И. Деникин обратился к начальникам союзных миссий с просьбой о содействии этом вопросе. После переговоров, происходивших в Константинополе между представителем Главнокомандующего генералом А.С. Лукомским и английским командованием, последнее обещало обеспечить эвакуацию морем раненых, больных и семейств офицеров. Остальных беженцев оно предлагало направить в Одессу. Это мнение основывалось, во-первых, на здравых стратегических соображениях, которыми, казалось бы, должно было руководиться командование Красной Армии, и, во-вторых, на малочисленности войск генера-



Недостроенный легкий крейсер "Адмирал Нахимов" у стенки завода "Руссуд" в период оккупации Николаева германскими войсками, 1918 г.

ла Я.А. Слащева, отходивших к Крымским перешейкам. В самом Крыму никаких сил не было: так, в Севастополе с его многотысячным революционно настроенным рабочим населением, кроме небольшого отряда капитана 2 ранга Кисловского и комендантской команды, единственной надежной частью была рота гардемарин Морского корпуса. Невозможно было предвидеть, что командование красного Юго-Западного фронта, при котором находился Сталин, сделает такой промах и не сумеет сосредоточить своевременно достаточное количество сил для прорыва в Крым. Действительно, наступавшая по левобережной Украине 13-я советская армия при подходе к побережью оказалась растянутой от Таганрога до нижнего Днепра! Английское командование считало угрозу захвата Крыма красными вполне реальной и на случай эвакуации Севастополя держало там два-три транспорта и военные корабли.

Выход Красной Армии в первых числах января к берегам Азовского моря заставил командуящего флотом вице-адмирала Д.В. Ненюкова озаботиться эвакуацией Мариуполя и других портов. Для этого в Азовское море были посланы все наличные ледоколы и несколько пароходов. 7 января был отдан приказ об образовании под командой капитана 2 ранга Н.Н. Машукова "отряда судов Азовского моря", в состав которого вошли ледоколы и канонерские лодки. С 12 января и до самой эвакуации Крыма корабли этого отряда оказывали сильную огневую поддержку сухопутным войскам, и можно утверждать, что только благодаря артиллерийскому огню кораблей и судовым десантам, а также действовавшему с другой стороны, у Юшуни, дивизиону вооруженных барж войска генерала Я.А. Слащева смогли удержаться на перешейках. В это время флот терпел большой недостаток во всякого рода снабжении и питании. Запасов угля в Севастополе не было, и его скудные остатки выдавались лишь на корабли, находившиеся в операции. Можно указать для примера, что флагманский крейсер "Генерал Корнилов" для экономии угля прекратил пары и, несмотря на морозы, стоял без отопления и освещался керосиновыми лампами. Сам флот был весьма немногочислен, не считая действовавших у перешейков канонерских лодок и ледоколов, фактически были боеспособными в январе 1920 года: один крейсер, три вспомогательных крейсера, пять миноносцев и две-три подводные лодки. Из этого числа один вспомогательный крейсер и часть миноносцев для устрашения грузин и для борьбы с зелеными находились постоянно у кавказских берегов. Накануне падения Одессы по распоряжению высшего командования "Генерал Корнилов" под флагом контр-адмирала П.П. Остелецкого был послан

в Новороссийск, и это ясно указывает на то, что в Екатеринодаре не отдавали себе отчета в серьезности положения в Одессе. Все эти обстоятельства лишали адмирала Д.В. Ненюкова возможности оказать Одессе существенную помощь.

Между тем в Новороссии события развивались: 23 января советская 41-я стрелковая дивизия и приданная ей кавалерийская бригада Котовского начали наступление по правому берегу Днепра в направлении на Николаев, на фронт 2-го корпуса Добровольческой армии генерала Промтова, усиленного частью Одесского гарнизона. Сильно поредевшие от потерь в предыдущих боях и от сыпного тифа, а также из-за массовой сдачи в плен солдат Одесского полка добровольческие части не выдержали натиска и начали отходить к реке Буг, на северном берегу которого расположена судостроительная база Черноморского Флота — Николаев.

В Николаеве, не считая разного рода материалов и военного имущества, находились в постройке или в ремонте многие корабли, некоторые — в почти законченном состоянии. Чтобы не дать красным возможности создать через короткое время отряд из новых кораблей, нужно было эти корабли эвакуировать. В несколько дней эта операция была произведена командиром военного порта контр-адмиралом М. Римским-Корсаковым, воспользовавшимся присланными из Одессы ледоколом и буксирами для снабжения которых углем Одесский порт израсходовал последние свои запасы, сняв уголь даже со стоявших в порту пароходов. Несмотря на трудности буксировки по извилистому и уже покрытому льдом фарватеру, крейсер "Адмирал Нахимов", эскадренные миноносцы "Цериго" и "Занте", две подводные лодки, два десантных судна, большие транспорты "Дон" и "Баку" были приведены на буксирах в Одессу. Лишь посыльное судно "Джалита", по вине своего командира наткнувшись на камни, затонуло в Днепро-Бугском лимане.

Последним ушел из Херсона "особый отряд обороны Днепро-Бугского лимана" под командой капитана 1 ранга В.И. Собецкого, состоявший из двух азовских паровых шхун, вооруженной баржи и других мелких судов. На замерзшем Днепре отряд был принужден оставить вооруженный колесный пароход "Корсунь" и два-три катера. В пути суда были несколько раз обстреляны с берега пулеметным огнем. Преодолев лед, с целью оказать поддержку своей артиллерией войскам, оборонявшим Юшуньскую позицию, отряд направился в Каркинитский залив. 25 января две плавучие батареи своей 6-дюймовой артиллерией содействовали успешной контратаке добровольцев.

Не считая далеко не законченных постройкой судов, в Николаеве остались лишь три недостроенных десантных судна типа "Эльпидифор", находившиеся в сборке подводные лодки типа "АГ", ремонтировавшаяся подводная лодка "Нерпа" и несколько недостроенных катеров.

29 января красные заняли Херсон и на следующий день — Николаев. В связи с положением, создавшимся на фронте, стало очевидно, что продолжительная оборона Одессы больше не возможна. 31 января генерал Шиллинг послал генералу Деникину телеграмму с изложением обстановки, а на следующий день уведомил о том же начальника английской миссии. Для ускорения получения помощи из Крыма генерал Н.Н. Шиллинг отправил в Севастополь своего начальника штаба генерала Чернавина, который вечером 31 января на эскадренном миноносце "Жаркий" отбыл в Севастополь. Лишь после его доклада командующему флотом последний уяснил себе истинное положение в Одессе и неизбежность ее эвакуации. Вместе генералом В.В. Чернавиным адмирал Д.В. Ненюков посетил старшего английского морского начальника в Крыму командира линейного корабля "Мальборо", который обещал немедленно направить в Одессу два транспорта и пароход с углем. Но, опасаясь все же за судьбу Крыма, англичанин обусловил дальнейшую посылку четырех пароходов и крейсера тем, что генерал Я.А. Слащев даст ему заверение о прочности положения на перешейках. В ночь на 3 февраля в Джанкое состоялось совещание, на котором генерал Я.А. Слащев дал просимое заверение. В этот же день из Севастополя вышли приспособленные для перевозки войск английские транспорты "Рио-Прадо" и "Рио-Негро" и распоряжением английского командования в Одессу был послан пароход с углем и крейсер "Кардифф". Другие корабли должны были следовать в течение ближайших нескольких дней. Со своей стороны адмирал Д.В. Ненюков отправил для эвакуации сыпнотифозных больных пароход "Св. Николай" и на следующий день транспорт "Николай" (№ 119). Воспользовавшись предоставленным командиром "Мальборо" с пришедшего в Севастополь угольщика 2000 тонн угля, адмирал Д.В. Ненюков приказал вспомогательному крейсеру "Цесаревич Георгий", миноносцу "Жаркий" и другим транспортам готовиться к походу в Одессу.

Но события на фронте развивались быстрым темпом. Деморализованный поражением 2-й корпус не смог удержаться на линии реки Буг и стал отходить к Одессе. Считая, что его эвакуация через Одессу морем невозможна, генерал Н.Н. Шиллинг приказал генералу М.Н. Промтову отходить, минуя Одессу, к Днестровскому лиману с целью переправиться в

Румынию. Находившиеся гораздо дальше к северу главные силы армии под командованием генерала Н.Э. Бредова оказались отрезанными от Одессы и получили приказ сосредоточиться у Тирасполя и отступать в Румынию. Как известно, румыны отказались впустить белые войска на свою территорию, следствием чего и явился 13-дневный поход частей генерала Н.Э. Бредова до соединения их с поляками.

Вследствие отхода остатков 2-го корпуса на запад, между наступавшими со стороны Николаева красными и Одессой не оказалось больше никаких войск. 3 февраля выделенный из советской 41-й стрелковой дивизии отряд занял приморскую крепость Очаков, запиравшую Днепро-Бугский лиман, а главные силы дивизии двинулись прямо на Одессу.

4 февраля генерал Н.Н. Шиллинг опубликовал приказ об эвакуации. Но время для ее планомерной организации, для погрузки десятков тысяч людей и огромных военных запасов было безвозвратно упущено. В Одессе имелось управление военного порта под начальством капитана 1 ранга Н.Н. Дмитриева, который, основываясь на словах генерала Н.Н. Шиллинга и на публикуемых комендантом города полковником Стесселем успокоительных приказах, не проявил инициативы и не принял предварительных мер по организации эвакуации. Находившиеся в порту частновладельческие пароходы не были им мобилизованы, и многие портовые буксиры не имели военных комендантов. Вместе с тем в Одессе состояло на учете достаточное число морских офицеров, не считая даже личного состава эвакуированного в Одессу управления Николаевского военного порта, который тоже не был использован. После ухода "Жаркого", кроме маленького посыльного судна "Летчик", в Одессе не было русских военных кораблей, но, ошвартовавшись кормой к оконечности Платоновского мола, стоял английский крейсер "Серес" и два больших миноносца, а на внешнем рейде отдал якорь дредноут "Аякс" и пришедший затем крейсер "Кардифф".

С утра 5 февраля (нового стиля) весь порт пришел в движение, но командование, поставленное более или менее неожиданно перед огромной задачей, не приняло достаточно энергичных мер для упорядочения эвакуации. Пароходы грузили без всякого плана то, что было вблизи их стоянки, или же имущество и снаряжение, которое доставлялось к их борту по инициативе начальников частей. В первый день эвакуации, еще не веря, очевидно, в близкую опасность, сравнительно малое число людей спускалось к молам. В конце дня линейный корабль "Аякс" обстрелял из башенных своих орудий места предполагаемого скопления красных войск севе-

ро-восточнее Одессы. С наступлением темноты в самом городе здесь и там возникала ружейная перестрелка между белыми войсками и начавшими проявлять активность местными большевиками.

К утру 6 февраля доносившаяся с севера артиллерийская стрельба, которую вели, вероятно, отходившие к Одессе бронепоезда, становилась все слышнее, и в городе создавалось если не паническое, то, во всяком случае, нервное настроение. Тысячи людей толпились у молов, где стояли большие пароходы. Взамен нашедших на них место людей все время подходили новые толпы военных и гражданских лиц, женщин и детей. Порядка при посадке не было, но английские транспорты, как правило, брали лишь по специальным пропускам семейства чинов армии и гражданских лиц, чья предыдущая деятельность или служебное положение не позволяли им остаться у красных. Русские военные транспорты предназначались для эвакуации военных, а один иностранный пассажирский пароход принимал на борт беженцев лишь за солидную плату валютой.

В эти дни стояли морозы около 5-10 градусов, и море на подходах к Одессе было покрыто довольно густым плавучим льдом, образовавшим в порту от движения судов ледяную кашу, в которой пароходы застревали и испытывали затруднения при швартовке к молам. В глубине порта образовался ледяной припай, и команде посыльного судна "Летчик" пришлось ломами прорубить канал до более или менее свободной воды. Ни одного ледокола в порту не было, но имевшие военные команды ледокольные буксиры "Смелый" и "Работник" и большой английский буксир оказывали до последних часов эвакуации помощь транспортам, тогда как некоторые портовые буксиры предпочитали выводить в море за хорошую плату частновладельческие пароходы. Непонятно зачем были выведены на внешний рейд землечерпалка и какая-то баржа. У борта ставшего на якорь английского угольщика "Вотан" была толчея, и капитаны пароходов спорили между собой, кому раньше грузить уголь. Некоторые частные пароходы, никому не подчиняясь, стремились покинуть порт как можно скорее и ушли почти без пассажиров. Имевшие же военных комендантов пароходы, не говоря уже о военных транспортах, брали на борт как можно больше людей и только тогда отходили от молв, когда все палубы и трюмы были заполнены людьми. Ввиду того что главная масса боевых частей была отрезана от Одессы, на пароходы были взяты главным образом чины различных учреждений и штабов, тыловые части армии, технические войска, вольно или невольно отбившиеся от своих полков военные и некоторое количество гражданских лиц.

Управление военного порта перешло на пароход "Румянцев", который вскоре пошел к "Вотану" для погрузки угля, но командир порта находился на пароходе "Анатолий Молчанов", стоявшем у Платоновского мола. Управление движением в порту совершенно отсутствовало. В последние два дня это частично взял на себя командир крейсера "Серес", который указывал приходящим пароходам место и время швартовки. Подошедший к молу пароход, предназначенный для эвакуации раненых, был взят штурмом толпой военных и беженцев, но начальнику санитарной части удалось через англичан получить в свое распоряжение последний еще свободный большой русский пароход, но далеко не всем раненым и больным нашлось на нем место.

В ночь на 7 февраля генерал Н.Н. Шиллинг со штабом перешел на пароход "Анатолий Молчанов", а в 6 часов утра части советской 41-й стрелковой дивизии с стороны Пересыпи и Куяльника вошли почти без потерь в северо-восточную часть города. Посланная в обход города кавалерийская бригада вскоре заняла станцию Одесса-Товарная. Прошедшая с боями всю Украину дивизия, хотя и усиленная присоединившимися к ней партизанскими отрядами, была слабого состава и с малочисленной артиллерией. Продвигаясь к центру города, красные встретили сильное сопротивление, организованное комендантом города полковником Стесселем. С боем, особенно упорным за здание офицерского собрания, красные медленно продвигались к центру города. Одному отряду, составленному, видимо, из партизан, удалось почти без сопротивления проникнуть на господствующий над портом Николаевский бульвар и около 11 часов, после жаркого боя с караульной командой, занять комендантское управление, помещавшееся в Воронцовском дворце. Дальнейшее продвижение красных вниз, на территорию порта, было остановлено заставами юнкеров Сергиевского артиллерийского училища, которые прикрывали его южную половину, начиная от Военного мола, но Каботажная гавань оказалась вне этого периметра. С высоты бульвара красные открыли ружейный и пулеметный огонь по прилегающей территории порта и по ближайшим Военному и Новому молам. Стрельба, хотя и малодейственная из-за расстояния до молв, вызвала панику среди ожидавших возможности погрузиться. Люди искали укрытия за ангарами и железнодорожными составами и бросились в южную часть порта, куда пули не долетали; были, конечно, убитые и раненые. У стоявших еще у молв пароходов образовалась неимоверная давка, и пароходы стали торопиться уйти. Не догрузившись, имея на борту всего лишь несколько сот человек конвоя команду-

щего, "Анатолий Молчанов" вышел на рейд. Взяв двойное против нормального количество пассажиров, 1400 человек, ушел "Рио-Негро", оставив на молу большую толпу народа. Через некоторое время юнкера, усиленные некоторыми частями, при поддержке полубатареи, проскочившей в порт по находившемуся в южной части Польскому спуску, перешли в контратаку, без особого труда вытеснили красных с Николаевского бульвара и снова заняли Воронцовский дворец. В порту стало спокойнее, но с центром города, где продолжался бой, связь восстановлена не была, и Военный мол оставался под угрозой обстрела с севера. В это время английское командование, принимая во внимание малочисленность сил, оборонявших порт, приняло решение закончить эвакуацию и отдало приказание своим кораблям еще до темноты выйти на внешний рейд. По распоряжению английского командования крейсер "Серес" должен был взять на борт прикрывавших порт юнкеров, а прочие воинские части должны были сами найти себе место на стоявших еще у молов русских пароходах. После 15 часов юнкера получили приказание постепенно отходить к Платоновскому молу. Бывшие еще в порту русские транспорты старались взять на борт возможно больше людей, но при отсутствии какого-либо морского командования каждый из этих транспортов был предоставлен своей судьбе.

Пароход Добровольного флота "Владимир" взял на борт несколько тысяч военных, которые заполнили все трюмы и стояли вплотную один к другому на палубе. Но толпа продолжала штурмовать пароход, и, чтобы дать ему возможность отойти, караул был принужден применить оружие. Уходивший одним из последних, если не самым последним, переполненный транспорт "Даланд" застрял в проходе во льду. Воспользовавшись этой его остановкой, проваливаясь в воду, с мола побежали к нему по льду люди. Тревожные гудки "Даланда" остались без ответа, так как все буксиры уже покинули порт.

Имея неисправную машину, транспорт "Дон", на котором находились в большинстве члены технических частей, остался в беспомощном состоянии у Военного мола. Продвигавшаяся к молу цепь красноармейцев была взята под сильный огонь установленных на "Дону" пулеметов броневомобильного дивизиона и залегла. Тогда поручик корпуса корабельных офицеров Моренко с тремя охотниками флота, одним старым матросом и двумя офицерами броневомобильного дивизиона, спрыгнули на стенку и под градом пуль добежали до стоявшей у этого же мола паровой шаланды "Сурож". Шаланда была под парами, но ее команда не имела намере-



Французский патруль на улицах Одессы, начало 1919 г.

ния уходить в море. Заменяв команду своими людьми и обрубив швартовы, Моренко подвел "Сурож" к "Дону" и, несмотря на слабую машину шаланды, не без труда вывел большой транспорт на рейд. Оценив поведение новой команды "Суροжа", англичане снабдили его углем, но ввиду малой его мореходности поручили французскому пароходу "Жанна Р." отконвоировать его до Сулина.

Готовый к выходу небольшой пароход "Дмитрий" по невыясненной причине не ушел. Возможно, что не нашлось смельчаков отдать под огнем швартовы, но, может быть, и его команда не пожелала идти в море.

Сняв заставы, юнкера благополучно погрузились на "Серес", взявший также полуроту старших кадет Одесского корпуса, прибывших в порт. В сутолоке на крейсер проникло некоторое количество и других военных. В то время когда последние юнкера грузились на крейсер, по Ланжероновскому спуску, под обстрелом красных, прибежали еще 130 кадет младших классов корпуса, которые были погружены на стоявший у борта крейсера каботажный пароход. Толпа на берегу стала к этому времени рассеиваться, так как многие, не видя возможности эвакуироваться, уходили постепенно назад в город. Через некоторое время после отхода юнкеров красные снова вышли на Николаевский бульвар и возобновили ружейный и пулеметный обстрел порта. Опасаясь, вероятно, огня судовой артиллерии, вниз, к молам, они не пошли.

Полевая батарея красных открыла редкий и безрезультатный огонь

шрапнелью по стоявшим на рейде судам. Вскоре пули начали щелкать по надстройкам "Сереса", и перед сумерками, отдав швартовы, крейсер направился к выходу из порта. Молчавшая весь день, несмотря на обещание огневой поддержки, артиллерия крейсера открыла огонь по предполагаемой позиции батареи.

Последняя группа раненых и больных, около двухсот человек, которая смогла достигнуть порта, прибыла, когда не было уже возможности найти для нее место на пароходах, и была укрыта в одном из ангаров. Сопровождавшему эту группу доктору удалось обнаружить портовой буксир, который, не будучи мореходным, остался в порту. Доктор уговорил капитана буксира доставить раненых на внешний рейд. Сажая раненых на палубе вплотную одного к другому, удалось уместить около ста человек, которые на рейде были переданы на только что пришедшее из Константинополя английское госпитальное судно. Затем, не слушая уговоров англичан, тот же доктор решил вернуться в порт за оставшимися в ангаре тифозными и для переноски больных вызвал себе в помощь добровольцев. Находившийся на госпитальном судне начальник английской военной миссии, восхищенный его самоотвержением, вызвался сопровождать доктора, и в сумерках, когда все корабли уже покинули порт, буксир подошел к назначенному месту. Красных в этом районе еще не оказалось, и все больные были быстро перенесены на буксир. На обратном пути некоторые из больных, не имевшие даже шинелей, умерли, не выдержав мороза. Предполагалось что буксир, передав больных на госпитальное судно, вернется в Одессу, но по настоянию его капитана, боявшегося репрессии за помощь, оказанную белым, буксир был отведен госпитальным судном в Варну.

На следующее утро английский миноносец подошел к застрявшему в проходе "Даланду", и с его помощью транспорт вышел на рейд. Вероятно, одновременно был выведен из порта имевший аварию мотора танкер "Баку", на котором оказалось более шестисот пассажиров.

Совершенно невероятная история произошла с недостроенным и не имевшим еще орудий эскадренным миноносцем "Цериго". На нем был почти полный комплект офицеров, взявших на борт свои семьи, и небольшая команда добровольцев-матросов. Во второй половине последнего дня эвакуации портовый катер, на котором находился старший офицер миноносца старший лейтенант Корнилович, оттащил "Цериго" от мола, но, пройдя две-три сотни метров, миноносец зацепился за какое-то препятствие. При попытке сдвинуть его с места лопнул буксир, и ввиду слабости машины катера командир миноносца капитан 2 ранга Задлер приказал

Корниловичу идти на рейд и привести более сильный буксир. Проходивший мимо около 15 часов пароход "Россия", несмотря на окрики, помощи не оказал. Возможно, что его капитан боялся тоже сесть на мель. На берегу шла стрельба, но пули до миноносца не долетали, и скоро его скрыла темнота. В этом положении "Цериго" простоял всю ночь, но к утру, под влиянием усилившегося ветра, поднявшего, вероятно, воду в порту, миноносец сдвинулся с места был отнесен обратно к Карантинному молу. Положение находившихся на борту офицеров казалось трагичным, и они с минуты на минуту ожидали появления красных. На всякий случай все они переоделись в матросскую форму.

Но пришедшие на мол красноармейцы, считая, вероятно, что миноносец добровольно остался и перешел к красным, не сделали никакой попытки подняться на его борт. Видя стоящие еще на рейде корабли, офицеры миноносца надеялись, что кто-нибудь придет с моря им на помощь. С другой стороны, было ясно, что такое положение долго продолжаться не может, и организующиеся в Одессе красные власти заинтересуются, в конце концов, стоящим без флага миноносцем. Желая выиграть время и избежать появления красноармейцев на борту, было решено послать в красный штаб представителей от мнимого "судового комитета" с заявлением, что миноносец добровольно остался в Одессе и переходит к красным. Инженер-механик лейтенант А.Ф. Поляков и два матроса составили эту "делегацию" и во второй половине дня отправились в город. Не без труда они нашли штаб нового комендантского управления и были приняты его комиссаром. Выслушав их сообщение, комиссар выдал им бумагу, ограждавшую миноносец от самочинных обысков и от разграбления имущества и материальной части безответственными партизанскими группами. Для избежания возможных инцидентов комиссар распорядился поставить на молу часовых, и под их охраной спокойно прошел весь вечер. Ночью, когда надежда на прибытие помощи почти исчезла, в темноте показался силуэт буксира, который бесшумно подошел к миноносцу и подал конец. На буксире находился старший лейтенант Корнилович, которому удалось получить его только в этот день. Считая, очевидно, что миноносец переходит по приказанию красного командования на другое место, бывшие на молу красноармейцы не реагировали на его уход, и лишь утром 9 февраля, когда миноносец уже был на рейде на якоре, красная полевая батарея выпустила в его сторону несколько снарядов, не причинивших вреда. Достаточно сильного буксира для перевода "Цериго" по разбушевавшемуся морю в Севастополь не было, а волны угрожали между тем

сорвать миноносец с якоря и выбросить его на берег. Через некоторое время к "Цериго" подошел вспомогательный крейсер "Цесаревич Георгий", командир которого капитан 2 ранга А.В. Домбровский ввиду невозможности спустить в такую погоду шлюпку приблизился к корме миноносца и при помощи судового крана снял с "Цериго" сначала женщин и затем всех остальных людей. Впоследствии, выдержав все же на якоре шторм, "Цериго" был приведен в Севастополь.

"Цесаревич Георгий" и миноносец "Жаркий" пришли на одесский рейд, когда эвакуация была уже закончена. "Жаркий" получил задание войти в сумерках в порт и содействовать выходу оставшихся там пароходов, тогда как "Цесаревичу Георгию" было поручено вывести на рейд две груженые снарядами баржи. Следуя за большим английским миноносцем, который открыл ему до входного маяка фарватер в более или менее битом льду, "Жаркий" стал пробиваться дальше самостоятельно самым малым ходом из-за густого льда. В порту все было спокойно, и командир миноносца старший лейтенант А.С. Манштейн по собственной инициативе решил попытаться захватить и вывести на рейд недостроенный крейсер "Адмирал Нахимов". Миноносец подошел кормой к молу, у которого, немного далее, стоял крейсер, и небольшой отряд добровольцев из команды выскочил на мол. Внезапно, с разных сторон и с борта крейсера открыли огонь несколько ручных пулеметов и из темноты полетели в добровольцев ручные гранаты. Осветив мол прожектором, кормовое 75-мм орудие миноносца открыло огонь "на картечь", а бывшие на молу члены команды начали бросать ручные гранаты. Красные (вероятно, это не были их регулярные войска) убежали с мола. Воспользовавшись наступившим затишьем, высаженная партия дошла до крейсера и обнаружила, что он вмерз в лед и без помощи ледокола сдвинуть его с места нет возможности. Продержавшись еще некоторое время в порту и видя бесполезность дальнейшего там пребывания, старший лейтенант А.С. Манштейн решил уходить. С одного из молов миноносец был обстрелян пулеметным огнем и, хотя пули и попадали в надстройки, обошлось без потерь. В 2 часа ночи "Жаркий" покинул порт и стал на якорь у Большого Фонтана.

Утром недостроенный эскадренный миноносец "Занте", который был ранее выведен из Одессы и оставлен командой, сильной волной был сорван с якоря и начал дрейфовать в сторону "Жаркого". На "Жарком", не имевшем паров для экономии угля, быстро стравили якорную гель, что позволило миноносцу избежать прямого удара, но все же "Занте" навалился на него и помял борт в районе кормового мостика. Желая спасти

"Занте", старший лейтенант А.С. Манштейн приказал срочно поднять пар, но пока это было сделано, "Занте" уже выбросило волнами на прибрежный песок, где он и остался до окончания гражданской войны*. Осмотр повреждений, полученных "Жарким", выяснил необходимость ремонта, и его командир решил вернуться в Севастополь.

"Георгий" направился в порт после "Жаркого". Он был также обстрелян с берега и в ответ открыл огонь из своих 75-мм орудий. В темноте найти баржи не удалось, и крейсер вышел на внешний рейд. Затем "Георгий" получил задачу произвести рекогносцировку берега в районе Днестровского лимана, в сторону которого отошли части полковника Стесселя, защищавшие центр города. Надо было, в частности, выяснить судьбу четырехсот кадет, которые по невыясненной причине ушли с директором корпуса к румынской границе. Если бы удалось их обнаружить, — то сделать все возможное, чтобы их эвакуировать. Для выполнения этой задачи старшему штурману крейсера лейтенанту Б.Н. Степанову было приказано подвести сопровождавший "Георгия" тральщик "Баклан" возможно ближе к берегу, высадиться на берег на шлюпке и выяснить обстановку. Лейтенант Степанов выполнил эту задачу и из опроса жителей выяснил, что ни кадет, ни других белых в ближайших местах не было. В действительности, ввиду того что румыны отказались впустить их на свою территорию, белые части, и в том числе и кадеты, двинулись более или менее разрозненными группами вдоль Днестровского лимана на север в надежде соединиться с войсками генерала Бредова. 8 февраля находившаяся в районе Овидиополя группа была окружена красной кавалерийской бригадой Г.И. Котовского и наступавшей с севера кавалерийской бригадой 45-й стрелковой дивизии и через два дня сложила оружие. Но группе с полковником Стесселем во главе, в которой находились и кадеты, после кровопролитного боя 12 февраля у станции Выгода удалось частично прорваться на соединение с генералом Н.Э. Бредовым, а некоторое количество кадет было все же пропущено румынами в Бессарабию.

В самой Одессе, по свидетельству советских авторов, упорные бои продолжались сутки, и лишь утром 8 февраля красные части проникли в южную часть порта и к 14 часам завершили занятие всей территории Одессы. Ввиду их малочисленности они не распространились вдоль всего побережья, что дало возможность некоторым лицам добраться на яликах до стоящих на рейде пароходов. Часть английской эскадры оставалась на

*Это не вполне так: уже 7 сентября "Занте" был снят с мели и поставлен на достройку. Корабль вступил в строй в 1923 г.

рейде еще три дня, в течение которых взятые на военные корабли беженцы были пересажены на присланный болгарским правительством пароход "Царь Фердинанд" и на другие, стоявшие еще на рейде транспорты. Раненые и больные были переведены на госпитальное судно. Пароходы догружали уголь и по готовности уходили. 9 февраля ушел в Крым "Анатолий Молчанов" с генералом Н.Н. Шиллингом.

С красными установилось как бы перемирие, и командир пришедшего американского миноносца в сопровождении английского офицера съехал на берег для переговоров об эвакуации нескольких оставшихся в Одессе подданных этих стран. Но английское командование было обеспокоено фактом оставления в Одессе двух почти законченных постройкой подводных лодок и приказало их обезвредить. 11 февраля неожиданно для красных английские корабли открыли по порту сильный огонь, под прикрытием которого миноносцы вошли в гавань и захватили подводные лодки "Лебедь" и "Пеликан". Как и в других местах, англичане искали лишь случая уничтожить столь навредившие им во время великой войны подводные лодки и под предлогом закупорки порта, не достигнув все же результата, затопили лодки в южном проходе.

Ввиду неопределенности положения в Крыму английское командование направляло бывшие так или иначе под его контролем пароходы с беженцами в Константинополь. Некоторые пароходы частных обществ, в том числе и "Румянцев", ушли в Варну; большинство же немореходных и мелких судов направились в ближайший Сулин. Лишь военные транспорты и мобилизованные пароходы ушли в Севастополь. Несмотря на изношенность машин на многих пароходах и на поднявшийся 8 февраля сильный северный ветер, почти все суда, порой обледенев до верхушек мачт, благополучно достигли порта. Исключением был транспорт "Грегор", которого вел английский буксир: при штормовом ветре лопнул буксирный трос и транспорт был выброшен волнами на турецкий берег у мыса Шили. Бывшим на нем 350 пассажирам и команде удалось высадиться на берег. Но маленький пароход под командой старшего лейтенанта Кандыба с десятком сухопутных офицеров в качестве команды пропал без вести.

Принимая во внимание то, что покинувшие Одессу пароходы направились в различные порты, трудно установить количество эвакуированных из Одессы людей. Но, судя по сведениям, касающимся части транспортов, можно определить это число примерно в 15 000 человек. Указываемая советскими историками цифра в 3 000 не может соответствовать действительности, так как один лишь, например, транспорт "Дон" имел на своем

борту 4 000 пассажиров. Что касается материальной части, то из Одессы были вывезены все танки, все исправные бронеавтомобили, часть оборудования технических войск, автомобилей и авиационного имущества, но, конечно, огромные военные запасы были там оставлены. По донесению командующего 14-й советской армией в Одессе было взято в плен три генерала, около двухсот офицеров и три тысячи солдат. Было захвачено сто орудий разных калибров, 4 бронепоезда, 4 бронеавтомобили, несколько сот тысяч снарядов и патронов, склады инженерного, автомобильного, авиационного и прочего имущества и продовольствия. В порту были оставлены недостроенный крейсер "Адмирал Нахимов", десантные суда типа "Эльпидифор" — № 413 и № 414, несколько небольших пароходов, требовавших ремонта, и десяток немореходных буксиров и катеров.

Учитывая малочисленность красных войск, не без труда овладевших Одессой, можно смело предположить что при продуманной организации обороны и при разумном использовании частей генерала М.Н. Промтова, без всякой пользы направленных к румынской границе, город, и в частности, район порта, можно было бы удерживать гораздо дольше, чем это имело место. А каждый выигранный день позволил бы эвакуировать значительное количество людей, так как к Одессе все время подходили новые пароходы. Лучшая организация посадки позволила бы вывезти больше людей, а опоздавшее лишь на два-три часа большое госпитальное судно могло бы погрузить несколько сот раненых из числа выразивших желание эвакуироваться, из которых 1 500 раненых и больных были оставлены в госпиталях.



Части Красной Армии входят в Одессу, февраль 1920 г.

Орден Рыцарей Льва и Карл Олей — несостоявшийся король Крыма

Иностранная колонизация — яркая страница в истории Новороссийского края. В документах фонда новороссийского и бессарабского генерал-губернатора отложились самые разные документы об этих событиях: паспорта прибывавших в Россию немцев, греков, евреев, болгар, поляков, швейцарцев и представителей многих других наций; списки колонистов, проходивших таможенные посты; сведения о межевании земель и учреждений колоний, устройстве поселенцев, наследственные и опекунские дела, статистические сведения. Среди стандартного набора официальных бумаг об иностранных поселенцах имеются и такие, которые отражают жизнь колонистов в криминальном аспекте. Это ведомости о происшествиях (грабежах, убийствах, кражах, несчастных случаях, бродяжничестве), материалы по розыску бежавших из колоний лиц, судебные дела, в том числе и о преступлениях политического характера. Так, привлекает особое внимание дело за 1810 год "Об Олее — переводчике Конторы опекунства иностранных поселенцев и сообщниках его" (ГАОО, ф. 1 об. 221 1810 г., д. 2). Речь идет о явлении довольно необычном в колонистской среде начала XIX века — тайном интернациональном обществе под названием "Корпус Рыцарей Льва", созданном поляком Карлом Олеем в Екатеринославе.

25 января 1810 года екатеринославский гражданский губернатор К.С. Гладкий подал министру внутренних дел А.Б. Куракину представление следующего содержания: "... Карл Олей собирает шайку беспутных людей из русских и немцев, коих он обязывает присягою и подписками уйти с ним в Крым, а отголь пробраться к туркам; к сообществу его принадлежат находящиеся здесь шведской нации купеческого судна капитан и отставной аптекарь, машинный мастер колонист Бем и табачный фабрикант". Губернатор сделал распоряжение, "в один час в действие приведенное", и все, "до коих извет касался", были отысканы, арестованы и взяты под стражу. Обнаруженные в ходе обыска вещественные доказательства состояли в зашифрованном патенте на чин полкового генерала 4 класса на имя "рыцаря Якова Дзюбенка", трех азбук иероглифов (ключей к шифру), семи вылитых из свинца крестов-орденов и прошения Олея императору. В последнем "начальник Рыцарей Льва" просил об учреждении

корпуса из приказных чиновников, "кои по воспоследовании указа о заграждении производства в 8-й класс необучавшимся в науках, прийдя в уныние, желали из статской службы перейти в сей корпус и тем заменить недостаток своего учения".

Как показало следствие, Карл Егорович Олей был человеком предприимчивым, образованным, знавшим многие языки. Происходил из польских дворян, но имущества и крестьян не имел. В 12-летнем возрасте начал самостоятельную жизнь, поступив в 1893 году в Инженерный Шляхетский корпус курьером. В 1803 г. уволился и был определен в Шлиссельбургский земский суд канцеляристом, а через год переведен во временный Межевой департамент Сената регистратором. С 28 февраля 1805 года начал служить переводчиком в Екатеринославской Конторе опекунства, ведавшей устройством иностранных поселенцев в Новороссийском крае. Вскоре удостоился награды за исправное исполнение обязанностей и переведен в губернские секретари. Однако, при всем этом Карл Олей обладал взрывным характером и неуправляемыми эмоциями. Его наклонности к нарушению общепринятых норм поведения и даже разбою не раз брали верх над здравым смыслом. Так, только за два года, предшествующих его тайной деятельности, екатеринославская городская полиция завела на него 4 уголовных дела: в 1808 г. — "На неплатеж хозяину за квартирование денег", в 1809 г. — "Об учинении насилия переводчиком Олеем и Нечаевым девке купца Киселева" и "По прошению отставного солдата Бермотова о причиненной ему Олеем обиде боем", в 1810 г. — "По прошению колониста Фридриха Кершбаума о нападении на дом его переводчиком Олеем и двумя неизвестными человеками и о произведенном воровстве вещей". Все вышеперечисленные проступки были совершены им в состоянии сильного опьянения и сопровождалась ссорами и драками. Полиция отмечала также странную дружбу буйного дворянина с людьми "низкого происхождения", пристрастие к злочинным местам, темную и нераскрытую историю смерти колбасного мастера Корновского, по всем признакам умершего после побоев Олея. Последнему удалось выпутаться из дела и уйти от уголовной ответственности благодаря жене убитого, которая дала, по всем признакам, ложные показания.

Вне всякого сомнения, Карл Егорович Олей предвидел монарший отказ в организации корпуса из недоучившихся чиновников, но никак не собирался мириться с положением "маленького человека". Собрав 44 человека разных сословий и наций, он принял решение выступить в военный поход зимой, когда реки замерзнут, и добраться до Крыма. По дороге он

рассчитывал добыть грабежом деньги и оружие, перейти к туркам, "употребить средства обратить Крым по-прежнему Турции и поделаться тут королем".

У новоявленного самозванца было много оснований надеяться на успех предприятия. Обстановка в крае была взрывоопасной, а многие помещичьи крестьяне "к новости и своевольству весьма склонными". Губернатор отмечал такой факт: "Когда учреждаемо было при Дунае Буджакское войско, то подсланные вербовщики в короткое время успели поколебать крестьян уездов Херсонского и Ольвиопольского так, что некоторые деревни совсем было поднялись с мест своих, вооружась кто чем мог, а многие ушли в бега...". Судя по показаниям "рыцарей", к предстоящему походу Олей готовился по-немецки тщательно: заказал в Кременчуге у немца-слесаря 150 пар пистолетов; отправил сообщников вербовать по уездам. Желających набралось до 200 человек, а планировалось до 4000. Готовил также выправку поддельных паспортов от имени херсонского военного губернатора дюка Э. де Ришелье, снимая амальгамой печати с присылаемых в Кантору герцога конвертов; составил текст клятвы на верность и раздал сподвижникам чины и титулы.

Один из найденных полицией и расшифрованных текстов был следующего содержания: "Мы, начальник Корпуса Рыцарей Льва, жалуем достойного рыцаря нашего Якова Дзюбенка, по способности его, сего Корпуса полковым генералом 4-го класса, и его всем оным почитать надлежит. Октября 21 дня 1809 года. КАРЛ. Контросинировал Министр Кабинета Харченко". Новоявленный "генерал" Яков Дзюбенко также был из обедневших дворян. В обычной жизни служил губернским регистратором в Екатеринославской уголовной палате, но был исключен в августе 1809 г. за нерадение к должности и частые отлучки без разрешения начальства. Через месяц он познакомился с Олеем, который и открылся новому другу в тайных намерениях. Найдя, что от штатской службы нет никакой пользы, Карл решил создать корпус под именем Рыцарей Льва и известить об этом государя. В случае высочайшего согласия Корпус должен был соединиться с набирающимся в Крыму уланским полком и вступить в сражение с турками и взять Константинополь. За все это Олей ожидал достойной награды в виде герцогства из завоеванных земель и возведения в принцы. Друзья дали клятву друг другу сохранять строжайшую тайну до монаршего соизволения на этот план. Однако, приготовления к осуществлению предприятия были начаты и без императорского ведома. Из свинца ими сделаны были кресты наподобии кавалерских и

спрятаны в печи на квартире переводчика, вербовались люди, собирались деньги. Постепенно численность сторонников этой идеи росла, и Олей стал раздавать им чины. Служащий в Дворянской комиссии коллежский регистратор из дворян Комишанский был возведен в полковники, немец Гофман — в капитаны, Султанов и Дзюбенко — в генералы, бывшего губернского регистратора Екатеринославского правления Харченко назначили кабинет-секретарем. Сам Олей потребовал обращения к себе "Ваше Высокопревосходительство". Патенты на чины обещал выдать товарищам после того, как табачный мастер Бем сделает ему специальную машину для приготовления тонкой бумаги, а аптекарь Брезель достанет материалы для окраски бумаги в красный, синий и другие цвета. Да и сам Олей экспериментировал: из бакана, ценобри и вишневого клея он составлял смеси и весьма удачно красил бумагу в красный цвет, намереваясь изготавливать из нее 10-рублевые фальшивые ассигнации. Деньги нужны были для приобретения оружия.

Практикуясь в применении шифровки "иероглифами", Олей составил перечень слов, имевших для тайного общества ключевое значение. На первое место он поставил "молчание", далее шли "повиновение, согласие, безопасность, измена, наказание".

И как знать, что бы последовало далее, если б не донос колониста Кершбаума, обиженного и ограбленного Олеем в 1810 г. С делом ознакомился сам император, лично наградивший Кершбаума серебряной медалью и 500 рублями. Бывший переводчик предстал перед Палатой уголовного суда. Следствие длилось полгода. В открытии заговора были задействованы екатеринославский гражданский губернатор Гладкий, Главный судья опекунской канторы С. Контениус, губернский прокурор Нефедьев, городничий Павлов. Очные ставки, допросы и изучение всех деталей дела привели следователей к заключению о нарушении долга присяги на всеподданейшую верность и служение Его Императорскому Величеству. Одея квалифицировали как опасного и неисправимого преступника, забывшего страх божий и совесть и предпринявшего незаконную дерзость.

Изобличенный в злом умысле, он так и не признал себя виновным, а лишь действовавшим "в шутку, для забавы". 6 февраля 1811 г. был вынесен приговор: Карл Олей был лишен чинов, шляхетского достоинства и подлежал ссылке заклепанным в ручных и ножных кандалах "в тяжкие работы вечно в Нерчинск". Та же участь постигла Камишанского, Дзюбенко и Харченко с оговоркой задействовать их на более легких по срав-

нению с Олеем работах. Коллежского регистратора Якимашенко, подканцеляриста Шахова за содействие "начальнику Корпуса" в изготовлении фальшивых паспортов и ассигнаций отдали в солдаты и выслали в дальние сибирские полки. Отставной капитан дворянин Майборода состоял в тайном обществе недолго, однако мнение следователей о нем составилось как о человеке, который "вмешался в партию Олея за питьем вина" и был безнадежным к исправлению. За готовность обучить заговорщиков военному искусству его ожидала ссылка на жительство в Тобольскую губернию под присмотром губернского начальства. Аптекарь Гезель также был лишен личного дворянства и сослан на поселение в Сибирь. Туда же последовал колонист Бем "для страха и примера другим". Самые молодые заговорщики семинаристы Султанов, Кошевский и Шульженков за недонесение начальству и членство в обществе были исключены из духовного звания и записаны в солдаты на 25 лет с отбыванием службы при херсонском военном коменданте Ганжи.

Главного "рыцаря" Карла Олея перевезли в Санкт-Петербург и поместили в Шлиссельбургскую крепость. Дело заслушали в Сенате и приговор Екатеринославской палаты был подтвержден императором: "Быть по сему. АЛЕКСАНДР".



Семейная тетрадь

Фрагмент

Профессор Незведский — воспитатель сотен филологов в нашем городе. Но мало кто из них знал, что профессор написал ряд книг, которые остались у него в столе. Это дневник "Одесская тетрадь" — о годах оккупации — и "Семейная тетрадь", отрывок из которой мы предлагаем читателям.

Во мне течет столько кровей, сколько их может быть у коренного — четыре поколения по материнской линии — жителя южного приморского города.

Поляком и католиком был незнакомый мне прадед Антоний Недзведский, с которого я веду исчисление предков. Женат был Антоний Недзведский на украинке, и вот по этой прабабке я определил свою национальностью украинскую. Сын их, Василий Антонович — впоследствии многолетний ананьевский нотариус — был по законам того времени крещен в православной вере, что и определило его отход от польской национальности, где решающим был вероисповедный признак.

Так он оказался полуполяком, полуукраинцем. А затем женился на русской девушке Ольге Сиваевой, и их дети стали лишь на четверть своей крови поляками — в их жилах потекла наряду с польской украинская и русская кровь.

Хорошо помню, что отец мой определял свою национальность, когда такой пункт стал фигурировать в анкетах при Советской власти, как украинскую.

Теперь обратимся к материнской линии. Здесь окажется, пожалуй, еще больший национальный конгломерат. Дед по матери — Михаил Лазаревич Маркович — был черногорцем. Родители его, подобно многим, эмигрировали на берега Черноморья. Дед очень гордился своей принадлежностью к маленькому, но храброму черногорскому народу, и эта гордость была тем более примечательна, что воспитывался он в сиротском доме без родителей, которые умерли один за другим, когда он был еще очень мал. Он ездил потом в Черногорию, где как подданный этой страны получил национальный паспорт — огромный, как дипломы ремесленников старого времени.

нению с Олеем работах. Коллежского регистратора Якимашенко, подканцеляриста Шахова за содействие "начальнику Корпуса" в изготовлении фальшивых паспортов и ассигнаций отдали в солдаты и выслали в дальние сибирские полки. Отставной капитан дворянин Майборода состоял в тайном обществе недолго, однако мнение следователей о нем составилось как о человеке, который "вмешался в партию Олея за питьем вина" и был безнадежным к исправлению. За готовность обучить заговорщиков военному искусству его ожидала ссылка на жительство в Тобольскую губернию под присмотром губернского начальства. Аптекарь Гезель также был лишен личного дворянства и сослан на поселение в Сибирь. Туда же последовал колонист Бем "для страха и примера другим". Самые молодые заговорщики семинаристы Султанов, Кошевский и Шульженков за недонесение начальству и членство в обществе были исключены из духовного звания и записаны в солдаты на 25 лет с отбыванием службы при херсонском военном коменданте Ганжи.

Главного "рыцаря" Карла Олея перевезли в Санкт-Петербург и поместили в Шлиссельбургскую крепость. Дело заслушали в Сенате и приговор Екатеринославской палаты был подтвержден императором: "Быть по сему. АЛЕКСАНДР".



Семейная тетрадь

Фрагмент

Профессор Незведский — воспитатель сотен филологов в нашем городе. Но мало кто из них знал, что профессор написал ряд книг, которые остались у него в столе. Это дневник "Одесская тетрадь" — о годах оккупации — и "Семейная тетрадь", отрывок из которой мы предлагаем читателям.

Во мне течет столько кровей, сколько их может быть у коренного — четыре поколения по материнской линии — жителя южного приморского города.

Поляком и католиком был незнакомый мне прадед Антоний Недзведский, с которого я веду исчисление предков. Женат был Антоний Недзведский на украинке, и вот по этой прабабке я определил свою национальностью украинскую. Сын их, Василий Антонович — впоследствии многолетний ананьевский нотариус — был по законам того времени крещен в православной вере, что и определило его отход от польской национальности, где решающим был вероисповедный признак.

Так он оказался полуполяком, полуукраинцем. А затем женился на русской девушке Ольге Сиваевой, и их дети стали лишь на четверть своей крови поляками — в их жилах потекла наряду с польской украинская и русская кровь.

Хорошо помню, что отец мой определял свою национальность, когда такой пункт стал фигурировать в анкетах при Советской власти, как украинскую.

Теперь обратимся к материнской линии. Здесь окажется, пожалуй, еще больший национальный конгломерат. Дед по матери — Михаил Лазаревич Маркович — был черногорцем. Родители его, подобно многим, эмигрировали на берега Черноморья. Дед очень гордился своей принадлежностью к маленькому, но храброму черногорскому народу, и эта гордость была тем более примечательна, что воспитывался он в сиротском доме без родителей, которые умерли один за другим, когда он был еще очень мал. Он ездил потом в Черногорию, где как подданный этой страны получил национальный паспорт — огромный, как дипломы ремесленников старого времени.

Когда пришла пора жениться, Михаил Маркович избрал своей спутницей Вареньку Урсати, — кстати, гимназическую подругу другой моей бабушки, Ольги Сиваевой. Фамилия Урсати была молдавской и содержала в себе нечто медвежье, как и Недзведский: и та, и другая могут быть переведены на русский язык как "Медведев".

В роду Урсати также переплелись молдавская и украинская кровь. Украинская входила в этот род вместе с женщинами, а одна из прабабок была по фамилии Хаджили, то есть гречанкою. Но кухня у нас в семье была во многом молдавской. Это влияние было в быту, как видно, сильнее других, хотя все семейные предания и рассказы фигурировали в украинской речевой передаче.

Вот так встретились во мне кровь украинская, польская, русская, черноморская, молдавская, греческая.

Твердо, однако, я стою на том, что моя национальность — украинец. Ведь украинская кровь, пришедшая по отцовской линии от прабабки Недзведской, пополнилась еще и с материнской стороны.

Жизнь шла тем временем дальше. Я женился на девушке, которую годовалым ребенком родители привезли из белорусского села. И отец, и мать ее — коренные белорусы. Жена моя — Вера Милешко — выросла на Украине, любит Украину и украинское, как свое родное.

У нас две дочери. Каждая из них фактически наполовину белоруска, на другую половину приходится вся переданная им мною смесь национальностей. В этом секторе еще вдвое по сравнению со мной уменьшился украинский элемент. Но каждая из дочерей по наследству определяет свою национальность как украинскую.

Когда-то Драгоманов говорил о себе как об украинце "со всечеловеческими тенденциями" — хочу думать, что это применимо и к нам...

Я родился в доме Больша на Кузнечной улице Одессы, кажется, это номер четырнадцатый. Но уже с двухлетнего возраста жил на Торговой, 16. Это огромный, выходящий на три улицы (Херсонская, 19 и Елисаветинская, 4) трехэтажный дом из 64 квартир. Он имел три двора с тенистыми палисадниками и колодцем дождевой воды. Это дом моей молодости, в котором я прожил до 25-летнего возраста, с которым и дальше не порывал связи, потому что там оставалась жить мать, а теперь живет сестра с зятем.

Оживленно было на нашей улице. На углу Торговой и Херсонской располагался винно-гастрономический магазин грека Кутуллы. Сравнительно неподалеку, на Дерибасовской, находились, конечно, лучшие магазины с большим выбором товаров, но он был незаменим, когда в вечернюю пору появлялись гости. Тогда к Кутулле командировалась наша Ксеньюшка для срочной закупки гастрономии.

В магазине Кутуллы была большая по тем временам редкость — телефон. Сюда тоже командировалась Ксеньюшка для срочных приглашений гостей. "Леонтий Иванович! — звонила она, отрекомендовавшись, папину двоюродному брату. — Вас с Антониной Михайловной наши просят сегодня на чай..."

Дальше вниз по Торговой была кондитерская тихой и скромной женщины Ивановой. Кондитерская была явно третьеразрядной, пирожные обычно покупались у Печеского или у Фанкони, но бабушка, когда гуляла со мной, неизменно останавливалась и толковала с Ивановой "за жизнь". Один из сыновей Ивановой был горбун и калека, которого долго возили в коляске — было о чем матери погоревать, а доброй соседке посочувствовать. Другой из сыновей (гораздо старше меня по возрасту), с которым я как-то разговорился в 1944 году, оказался неожиданно для меня проникнут украинскими симпатиями.

Тихо и незаметно, как и жили, все они ушли из жизни.

Соседом "кондитерши", как величали между нами Иванову, был мужской портной Аппой, у которого росла дочка Броня. Она была старше меня на несколько лет и в какие-либо контакты со мной не вступала. Впрочем, портной Аппой прославился не своей дочкой и не сшитыми им костюмами, а тем, что в 1917 году, примкнув не знаю уж к какой партии, стал домовым комиссаром нашего огромного дома, с большим рвением выполняя свои новые обязанности.

Позже другие лица возглавляли это "самоуправление" — существовал целый домовый комитет. Его возглавлял некто Зайдлер, живший в первом дворе, и я постоянно бегал к нему (уже позже, в девятнадцатом, двадцатом году) свидетельствовать различные справки, без которых и дня нельзя было прожить в ту беспокойную пору. Зайдлер принимал меня, несмотря на мои одиннадцать лет, на полном серьезе, и я потому охотно брал от родных поручения по связи с домовым комитетом.

Уже впоследствии, в 30-е годы, я встречался с сыном Зайдлера Мишей, заведовавшим отделом в обкоме комсомола, очень приличным молодым человеком, вежливостью своей походившим на отца. Мне всякий раз

было приятно с ним общаться, невольно вспоминая более ранние годы и свои посещения домового комитета. Очень было жаль Мишу Зайдлера, который погиб в 1937 году...

Вернемся к фасаду нашего дома.

Вслед за заведением Апшоя следовало ателье (хотя такого слова тогда не употребляли) часового мастера Авербуха. Так как первый этаж постепенно по направлению к Елисаветинской поднимался, то к часовому мастеру, в витрине которого всегда было "точное время", вела лестничка в четыре или пять ступеней. Напротив под акациями стояла скамейка, а на спинке ее рекламировался часовой мастер Авербух.

Квартиры Авербуха и наша на третьем этаже выходили на один черный ход, и я часто встречал его дочь — девушку с большой рыжеватой косой. Прошло много лет, и я встретился с ней в нашем Доме печати как с женой рабкора Маргулиса. Как ни втолковывал ей, кто я, втолковать не мог. С высоты пяти-шестилетней разницы в возрасте вспомнить соседского мальчика она не могла. Потом мы увиделись снова, когда минуло, пожалуй, еще три десятка лет. Была встреча выпускников Одесского Инархоза 1930 года, на которую пришли и некоторые выпускники более ранних лет. Оказалось, что мы учились в одном институте, хотя и не знали этого — она закончила Инархоз ранее меня. И снова с признанием соседства оказалось трудновато.

Торгово-ремесленные точки далее прерывались рядами жилых окон и двумя выходящими на улицу парадными ходами. А в самом конце дома перед поворотом на Елисаветинскую улицу шло большое "дело" — мебельное предприятие братьев Дрешер. Его вели двое братьев и муж сестры, вели, очевидно, неплохо, ибо всегда здесь былолюдно, а в годы НЭПа оно опять на несколько лет возобновилось.

Части дома, выходявшие на Херсонскую и Елисаветинскую, не были так насыщены торговыми "делами", но все же главным среди них был фруктовый магазин, который держал хозяин-армянин, рядом с воротами, выходявшими на Херсонскую улицу, точнее, рядом с соседствовавшим с ними парадным ходом.

Многое можно было приобрести для жизни в своем же доме. Колбасу и ветчину, вина и водку, кондитерские изделия и фрукты, мебель и часы...

Принадлежал дом наследникам Перкеля. Один из них был врачом, другой инженером, а третий — не знаю кем. На дочку одного из них — Зиночку Перкель, розовощекую, румяную блондинку — заглядывались все мы, мальчишки принадлежавшего ей в каких-то долях домовладения. Не

помню уж, в каком разговоре и с какими москвичами возникло имя Зиночки Перкель, теперь проживающей в Москве...

Впрочем, из наследников Перкеля мы имели дело только с одним — мужем одной из дочерей-наследниц Исааком Григорьевичем Рашковичем, жившим с нами на одной площадке. Ему дед платил квартирную плату, обращался к нему как к домовладельцу.

Крупный добродушный мужчина, приятно роковавший чуть картавющим баском, Исаак Рашкович был большим специалистом по морским перевозкам и в этой отрасли работал вплоть до 1937 года, когда был арестован, в чем-то незаслуженно обвинен и погиб. Судьба небольшой семьи Рашковичей сложилась трагично. Сын Владимир был призван в армию и не вернулся с Великой Отечественной войны, жена Полина Давыдовна забрана фашистами в гетто и погибла.

Самым большим, наверное, событием моего детства, надолго его заполнившим беспокойным содержанием, был пуск в Одессе электрического трамвая, сменившего конную тягу или, попросту говоря, конку. А самое главное заключалось в том, что одна из линий трамвая под номером один "Ришельевская — Херсонская" прошла мимо нашего дома!

Сворачивая с Херсонской улицы, трамвай пробегал чуть-чуть, как говорится, с горки, маленький квартал по Торговой улице, делал остановку и двигался затем по Елисаветинской. А трамвай с Елисаветинской, там остановившись, медленно и тяжело поднимался по Торговой мимо нашего дома, мимо нашего балкона.

Это было для меня незабываемым зрелищем, которое я готов был предолго наблюдать. Я изучил затем все трамвайные маршруты города, которых набралось в конечном счете тридцать три. Даже сейчас, когда со времени прокладки трамвайных путей прошло почти семь десятков лет, я смог бы выйти на экзамен и безошибочно ответить все маршруты. Причем ответить даже "в динамике", поскольку на протяжении десятилетий маршруты, конечно, видоизменялись, а мой интерес к трамвайному движению, раз возникнув, продолжал теплиться.

Профессия трамвайного кондуктора долгие года представлялась мне самой интересной, самой увлекательной, и на традиционный, задаваемый детям вопрос "кем ты хочешь быть?" я решительно отвечал:

— Трамвайным кондуктором!

Конечно, странно было слышать такое от ребенка из обеспеченной интеллигентной семьи, но меня это не смущало.

Все приходившие в дом, а летом — приезжавшие на дачу родственники и знакомые были обязаны приносить с собой трамвайные билеты. Ах, как интересно было их собирать! Ведь в ту пору для каждой трамвайной линии печатались свои билеты, где был указан номер линии и ее название — начальные улицы маршрута. А на каждой линии были четыре рода билетов: прямые по 5 копеек и пересадочные (одесситы говорили: "с пересадкой") по 6 копеек; льготные ученические по 3 копейки и снова-таки пересадочные по 4 копейки.

Пересадочный билет, — хотя это, наверное, и так ясно — давал право пересест с ним на любую другую, с этим трамваем пересекающуюся линию. Все четыре сорта билетов кондуктор держал перед собой на металлической дощечке, причем они отличались по цвету и формату: пересадочные были длиннее прямых.

То же было на других линиях: можно себе представить, какую радугу являли собранные воедино билеты различных маршрутов. А восемнадцатый, большефонтанский маршрут — какое разнообразие билетов существовало здесь! Одни билеты продавались до 4-й станции Фонтана, другие до середины маршрута (кажется, до 10-й), третьи — до конца. Наряду с общими были ученические. Это многообразие просто казалось волшебством — только успевай собирать. А ведь так же было на Хаджибеевском маршруте, на Куяльницком!

Конечно, у меня были свои противники, портившие жизнь, срывающие мое коллекционирование. Это были трамвайные контролеры. По хорошему мне известной инструкции они, проверяя билеты, должны были их прокалывать щипчиками, которые и носили в большинстве своем на браслетке и цепочке на правой руке. Так полагалось. Но многие вместо этого просто отрывали кусок от билета.

Поэтому по мере приближения в вагоне контролера я краснел, бледнел и мог разреваться разом, когда он отрывал кусок билета. Родители наперед торопились уговорить контролера:

— Вы уж, пожалуйста, не рвите билет. Ребенок их собирает. Пожалуйста...

Иногда это действовало, иногда нет. Был один контролер, который сочувственно относился к моим увлечениям. Он уже знал нас, здоровался с моими родителями. Был он маленького роста, я не знал его фамилии и про себя величал его "Маленький". Познакомились мы с ним на Хаджи-

беевской линии, когда летом жили на лимане, и я оживал, когда на проверку билетов приближался Маленький. Он долго работал на трамвае, и я встречал его, когда уже повзрослел, но, к сожалению, не догадался спросить его фамилию, хотя этот человек, бережно относясь к моим билетам, приносил мне столько радости.

Я был искренне огорчен, когда как-то на лето отец приобрел постоянный трамвайный билет (по тогдашним порядкам, с фотографической карточкой). Я понимал уже очень хорошо, что так экономится какая-то сумма: вокруг растет дороговизна, и с этим надо считаться. И все же было жаль, что от меня ускользает немалое количество билетов, которые мне мог бы сдавать отец.

Озадачивала меня и учительница французского языка мадемуазель Адель Порре, занимавшаяся со мной на дому. Она тоже, конечно, должна была, приезжая, сдавать билеты. Но вот один, другой, третий раз она приезжала без билетов. Выходя из вагона, она отдавала их безбилетным пассажирам — солдатам, едущим дальше по маршруту (хотя время было военное, солдаты, даже раненые, не пользовались никакими трамвайными льготами). Немного смущаясь, она сообщала, что отдала билет "бедному солдату" ("au pauvre soldat")...

Вот тут и возникло испытание для моего патриотизма: с одной стороны, я ведь сызмальства читал газеты, следил за военными событиями и не мог не сочувствовать солдатам, вчера пришедшим или завтра идущим в окопы. А с другой стороны, моя коллекция терпела явный урон... Все же благоразумие брало верх, и я смирялся с тем, что на этот раз коллекция не получала пополнения.

Конечно, эта коллекция могла бы вырасти до необъятных размеров, если бы не мама. Время от времени она ласковым голосом предлагала мне совместно заняться сортировкой билетов. Не предполагая каверзы, я соглашался. Обычно приглашался еще кто-либо третий, и мы в шесть рук приступали к делу. Сортировка (как мне об этом рассказывалось впоследствии) шла таким образом, что количество билетов уменьшалось то ли вдвое, то ли вчетверо. До следующей сортировки с таким же эффектом.

По этой причине ничего от моей трамвайной коллекции не осталось. А, наверное, такое собрание билетов (по одному каждого образца) могло бы представить интерес для истории города.

Все детство прошло под одним знаком:

— Хочу быть трамвайным кондуктором!

В шесть лет я был уже давно грамотным человеком. Читать я научился по уличным вывескам, хотя у меня были и разрезные картонные буквы, из которых можно было складывать слова. Уличные вывески были, однако, интереснее — за ними раскрывался целый мир. Чаще других я писал слово "Табак" — наверное, потому, что в городе было очень много табачных лавок.

Мне не было еще шести лет, когда началась первая мировая война. Помню день солнечного затмения, который совпал с событиями начала войны. Эти события сразу и надолго привлекли мое внимание. Дома у нас получали несколько газет, я имел к ним полный доступ и был всегда в курсе военных дел. Я брал от войны лишь внешнее течение событий: знал наизусть фамилии главнокомандующих фронтами — Северным, Северо-Западным, Юго-Западным, многих командующих армиями, и при их перечислении поражал слушателей тем, что длиннородного главнокомандующего Юго-Западным фронтом зовут Иванов Николай Иудович.

По субботам в дом приносили журнал "Летопись войны" — помесь журнала придворного, дававшего хронику всех высочайших путешествий, связанных с войной и пребыванием царя, когда он стал главкомом, в могилевской ставке, и патриотической летописи сражений на фронтах. Оценка журналу придет, конечно, потом, а покамест каждую субботу я жадно, по несколько раз перечитываю весь журнал.

Особенное впечатление производит на меня фото на первой странице одного из номеров: английский солдат, замученный в немецком плену. Снимок сделан в ночное время, что усиливает тягостное впечатление. Дома считали, что со времени появления этой фотографии я стал кричать сквозь сон. Однажды отец зашел ко мне в комнату и увидел, что сын во сне снимает со стенки огромный портрет, висевший над диваном. Семья решила — нервный ребенок. Меня стали оберегать от лишних нагрузок и поэтому не учили музыке. Об этом я весьма сожалею, так как при отсутствии музыкального слуха некоторое музыкальное развитие мне было бы полезным.

Интерес к военным событиям связан был еще и с тем, что на фронте оказался мой двоюродный дядя Алексей Георгиевич Никшич. Он закончил физико-математический факультет Новороссийского университета, его оставляли при университете (по-нынешнему — в аспирантуре), но молодая жена хотела, чтобы муж поступил и в институт инженеров путей

сообщения, — так как карьера прельщала тогда многих. Но пока они думали, вспыхнула война, и дядя вместо института попал в артиллеристы: ранее как вольноопределяющийся он прошел основы военной премудрости.

Приехав с фронта на побывку, дядя читал свои записи, и я старался не пропустить ни одного слова. Хорошо помню эти чтения в нашей столовой.

Дядя Никшич дослужился до штабс-капитана, пребывая все время на передовых позициях и отличаясь личной храбростью. Был отмечен неоднократно боевыми орденами. Вторую часть войны он провел в зенитно-артиллерийской батарее в Ковно. Он был одним из первых русских офицеров-зенитчиков.

На передовой был и дядя Витя — военный врач Виктор Флорианович Снитовский; его рассказы о войне были весьма суровы, — наверное, в полевых лазаретах он видел много жертв и много крови.

Очень скоро с войны пришло известие о гибели поручика Гудкова. Это был такой же мировой судья, как и наш папа. Его жена была гимназической подругой мамы, а дети Таня и Вова, о которых сразу стали говорить "сироты", были моими товарищами по играм.

Я понял, что война угрожает и мне, что у нее совсем не парадное лицо.

Против нашего дома, на перекрестке Торговой и Херсонской, изо дня в день стоит городской. Я хорошо знаю его в лицо: всякий раз я смотрю на него, когда мы проходим мимо, направляясь на прогулку. Мое внимание особенно привлекает оранжевый шнур, который, обхватывая толстую его шею, тянется затем к висящей на боку кобуре.

Всякий раз, когда я капризничаю, мне угрожают городовым: то ли отдадут меня ему, то ли вызовут для устрашения.

Мы собираемся переезжать на дачу и, проходя очередной раз мимо усатой физиономии городского, я вполголоса, но достаточно четко говорю по его адресу:

— Не будешь ты меня больше видеть, не будешь.

Я уверен, что с переездом на дачу окажусь недостижимым для городского.

Такая свобода и независимость оказываются действительно в моем распоряжении в первые дни после переезда на 16-ую станцию Большого Фонтана. Городового здесь нет!

В один из дней я распоясываюсь по какому-то поводу и начинаю реветь.

Вдруг — о, ужас, передо мной в отдалении аллеи вырисовывается фи-

гура городского. Нет, не того, который стоит у нас на углу Торговой и Херсонской, а какого-то другого, но очень похожего, тоже с усами и тоже с оранжевым шнуром, тянущимся к кобуре.

Я потрясен этой вездесущностью стража порядка и немедленно смолкаю. Происходит немая сцена. Ее с любопытством наблюдают старшие. Потом, спустя многие годы, они не раз будут эту сцену вспоминать и комментировать.

Но самое опасное заключалось еще в том, что этот визит усатого не был единственным случаем. На даче грека Диалегмено, где мы поселились, садовник выращивал изумительные розы — красные, розовые, белые, вызывавшие у всех восторг. Городовой и являлся на дачу — если не ежедневно по утрам, то, во всяком случае, достаточно регулярно за розами, которые садовник тут же ему нарезал, свежие и благоухающие.

Получал ли он розы для своего полицейского начальства, для себя ли и своей жены — не знаю, но на даче он появлялся на протяжении всего лета, и его приход имел отрезвляющее влияние на мой прескверный детский характер. Реветь и кричать нельзя было, оказывается, не только на углу Торговой и Херсонской, но и на 16-й станции Большого Фонтана.

Всюду оказывался городской.

Я видел, однако, не только живого городского, или, вернее, не только живых городских, а и самого императора и самодержца всея Руси Николая II. Во время первой мировой войны он приезжал в Одессу дважды, в 1915 и 1916 году.

В 1916 году мы жили летом на Хаджибеевском лимане на даче Яновского, вблизи знаменитого своими более чем столетними дубами парка, где в большом пруду плавали белые и черные лебеди. В лечебнице Хаджибеевского курорта был в ту пору устроен лазарет для раненых, и вот сюда-то, как стало известно, должен был пожаловать к ним августейший гость.

Мне шел восьмой год, два года я уже читал газеты, а по журналу "Летопись войны" был прекрасно ознакомлен с лицами Николая II и всей царствующей семьи, передвижения которой были представлены на фото-снимках этого журнала.

Не помню, было ли это воскресенье или другой "неприсутственный" день, но отец был дома и предложил мне пойти "смотреть царя".

Мама не возражала, и я, взявшись за руку отца, чинно последовал за ним по направлению к парку. Мы зашли сюда через дачные ворота и направились по аллеям к главному входу. Этот парк всегда восхищал свои-

ми могучими деревьями, которые где-то наверху сплетались кронами, создавая сплошную тень от зеленых шапок, закрывавших небо. Более густого парка, чем Хаджибеевский, я не видал; вот почему, написав выше о столетних дубах, я засомневался: не посажены ли они были еще до основания Одессы, так что, может быть, надо говорить о них как о двухсотлетних? Во всяком случае, я очень любил собирать под ними желуди и, так как в ту военную пору уже появились пакетики желудевого кофе, искренне интересовался, нельзя ли дома с моей помощью как сборщика желудей организовать производство кофе...

Когда мы подошли к главному входу, здесь оказалась большая толпа людей, ожидающих царского приезда. К моему удивлению (а может быть, и робким возражениям), папа, крепче сжав мне руку, вывел за главный вход и повел к трамвайному пути, а затем и дальше вдоль рельсов.

Мы остановились. Я вопросительно посмотрел на отца. "Тебе Ходынки захотелось? (Я к тому времени слышал уже — и не раз — о Ходынке). Здесь будем ждать".

К нам присоединился знакомый трамвайный контролер, которого я называл Маленьким. Подошли еще двое или трое человек. Завязался разговор, когда появился автомобиль. Большой, открытый. Один, второй...

Расчет отца оказался правильным. В толпе встречающих у главного входа я бы никого не увидал. А тут на широком просторе мне не мешала ничья голова. Нас, несколько человек, заметили в машине, и она чуть замедлила свой ход. Пехотный полковник, так хорошо знакомый мне по "Летописи войны", милостиво помахал рукой...

Так в тот летний день 1916 года я повидал последнего русского царя ближе, чем многие другие...



"Дом сердобольных сестер"

И вновь — публикация из серии посвященных традициям градостроительства, архитектуры, риэлторства Одессы и связанным с ними ретроспективным общественным бытом. Неизменный спонсор рубрики — агентство недвижимости "Капитал", вот уже седьмой год плодотворно работающее на отечественном рынке недвижимости. Сегодня мы расскажем об истории знаменитой Стурдзовской благотворительной общины в Одессе и, соответственно, о сохранившихся до настоящего времени принадлежавших ей зданиях и сооружениях, недавно отреставрированных.



Институции, оказывавшие бесплатную медицинскую помощь в первой половине XIX столетия, существовали лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Но поскольку в годы расцвета порто-франко юную Одессу стали именовать третьей столицей России, постольку город начал подтягиваться по всем социальным показателям, соперничая с крупными промышленными и культурными центрами империи. В том числе, в сфере народного здоровья и благотворительности.

Идея устройства богадельни сердобольных сестер в Одессе принадлежала тайному советнику А.С. Стурдзе. Выходец из старинного молдавского боярского рода, Александр Скарлатович родился в 1791 году. Его отец, Скарлат Дмитриевич Стурдза, в начале XIX века управлял Бессарабией, был, по сути, молдавским господарем. Мать, княгиня Султана Мурузи, также представляла родовитую аристократию. Испытавшие на себе все издержки османского владычества, они с воодушевлением приняли присоединение региона к единой России, которой честно и преданно служили. Александр получил блестящее образование — как христианское, так и светское, владел большинством европейских языков, знал древние. Писал стихи и теологические трактаты, служил в министерстве народного просвещения, выполнял дипломатические поручения правительства, общался с Жуковским, Гнедичем, Крыловым, Шишковым, а в Одессе сблизился и с Пушкиным, который в юности писал на него весьма едкие, но вполне заслуженные эпиграммы. Примирение Стурдзы и Пушкина, как говорят, произошло не без участия Роксандры Скарлатовны, старшей сестры А.С. Стурдзы, супруги графа Эдлинга, бывшей фрейлины императрицы и доверенного лица императора Александра I.

Графиня Р.С. Эдлинг — фигура весьма примечательная в истории Одессы и всего южного региона. И в первую очередь тем, что совместно с графиней Е.К. Воронцовой Роксандра Скарлатовна дала первый толчок движению благотворительности и милосердия: в 1833-1834 годах ими было сформировано Одесское женское благотворительное общество, буквально спасавшее людей от голода, разразившегося вследствие неурожая. В дальнейшем человеколюбивая деятельность графини Эдлинг приносила все новые и новые плоды. В числе прочих она высказала мысль об устройстве девичьего монастыря для сирот особ духовного звания. А для материальной поддержки этого учреждения графиня предложила приобрести участок земли в живописном приморском месте, выстроить там храм, а при нем устроить некрополь для лиц, готовых жертвовать средства в пользу монастыря. И после ее кончины в 1844 году такой земельный участок был приобретен на бывшем хуторе Осипа Чижевича, на Среднем Фонтане. Здесь же похоронили и саму графиню Р.С. Эдлинг, а в 1846 году при ее гробнице освятили храм во имя Воскресения Господня, возведенный молодым тогда архитектором Ф. Моранди. И в дальнейшем поблизости склепа графини Эдлинг и Гагариных-Стурдз возникло элитарное кладбище, дававшее материальное пособие Михайловской обители инокинь и сирот.

Итак, исполняя заветы сестры, А.С. Стурдза в том же 1846 году четко сформулировал проект учреждения в Одессе Императорского человеколюбивого общества — богадельни сердобольных сестер. За образец был взят устав Петербургской Свято-Троицкой общины сестер милосердия. Проект этот был высочайше утвержден 5 октября 1848 года, причем главная задача учреждаемого Общества состояла в "приготовлении лиц женского пола с именем сердобольных сестер для ухода за больными со всяким самоотвержением, из чувства христианского милосердия". Для реализации проекта был открыт сбор пожертвований по подписке, к которому присоединились не только приватные особы, но и коммерческие предприятия, общественные организации, например, то же Женское благотворительное общество. Таким образом сформировался фонд, за счет которого впоследствии строилась богадельня. Собственно Одесская богадельня сердобольных сестер — как отдельная структура — была высочайше утверждена 22 января 1850 года. По настоянию А.С. Стурдзы и с разрешения министра внутренних дел для строительства богадельни выделили земельный участок в 1140 квадратных саженей поблизости от Михайловского женского монастыря. Строение это заложили 30 марта 1849 года, а надзор поручили тому же Ф. Моранди.

Следует отметить также и личное участие в строительстве богадельни светлейшего князя М.С. Воронцова. 22 сентября 1849 года он проинспектировал ход дела и убедился, что из-за острого дефицита средств оно может превратиться в долгострой, как это уже не раз бывало в Одессе при возведении храмов и богоугодных заведений. Князь, что называется, надавил авторитетом, и в результате городу позволили выделить из своего бюджета 10 000 рублей серебром, оформив сделку как долгосрочный беспроцентный заем. В связи с этим строительство активно возобновилось весной 1850 года, а уже 1 ноября того же года богадельню освятили. В этот же давний ноябрьский день новоселами здания сделались "три сестры" милосердия — Александра Линская, Мария Решикова и Мария Юрисова, небольшой медперсонал и первые неимущие больные, поначалу исключительно женщины.

Освящение церкви при Одесской богадельне состоялось 21 ноября 1850 года — вот точка отсчета, с которой начинается хроника собственно храма при Стурдзовской (в будущем) общине сердобольных сестер. Первым настоятелем этого храма был отец Иосиф Гайдебуров. В начале следующего, 1851 года учредители богадельни проголосовали за Стурдзу как за попечителя, а членами попечительного комитета выбрали авторитетных в городе лиц — доктора Энно, предпринимателя Карузо, настоятеля церкви Гайдебурова и старшую из сестер, Решикову. Исходя из наличности средств, руководство на первых порах устроило 16 коек из запланированных 24-х, но уже в 1852 году комплектность была полной. Очень скоро число коек увеличилось за счет частных пожертвований, в том числе — великой княгини Марии Николаевны.

13 июня 1854 года ушел из жизни основатель и попечитель общины А.С. Стурдзы, и несколько позднее (1859 г.), по инициативе императора Александра II, она получила название Стурдзовской общины сердобольных сестер. Обязанности попечителя перешли сначала к видному гражданскому деятелю Одессы А.К. Катакази, а вскоре — к князю Е.Г. Гагарину, супругу дочери А.С. Стурдзы, Марии Александровны. М.А. Гагарина, в дальнейшем и сама попечительница общины, между прочим, передала общине 5 000 рублей, завещанные отцом на приобретение соседнего с богадельней дома. В годы Крымской войны на попечении сердобольных сестер находилось 20 раненых офицеров и нижних чинов, в связи с чем община получила адресное материальное пособие лично от императрицы. Неоценимую помощь оказала общине сестра-надзирательница Е.А. Хитрово, впоследствии погребенная на кладбище при Воскресенской церкви.

Не обошлось и без участия знаменитого филантропа Г.Г. Маразли: на пожертвованную им сумму (более 5 000 рублей) при богадельне был открыт дополнительный флигель — для особ, "желающих за известную плату иметь некоторые исключительные удобства". Значительные средства регулярно передавали общине императрица Мария Александровна, графиня В.Г. Шуазель-Гуфье, а также многие состоятельные горожане: семейства Тюнеевых, Ралли, Яловиковых, Стамеровых, Маврокордато, Минчиакки, Сонданс, Лузановых и др. А графиня Е.К. Воронцова в 1872 году пожертвовала 35 000 рублей(!), разместив их так, что они приносили общине восемь процентов годовых чистого дохода.

С 1850 по 1875 годы в богадельне, задуманной как небольшая, локальная, нашли убежище 5 426 горожан обоего пола, в том числе и детей, причем на 99 процентов бесплатно. Больным Михайловского прихода и лекачества отпускались безвозмездно. Сердобольные сестры посвящали себя служению страждущим не только в стенах общины, но присматривали за многочисленными больными и в частных домах. Капитал общины вырос за эти годы почти в 50 раз. Довольно значительной была и оценка недвижимости. В годы турецкой кампании сердобольные сестры Стурдзовской общины по собственной инициативе работали в военных госпиталях. В 1883 году община получила, наконец, и щедрое пожертвование от города, который как бы простил ей давний беспроцентный заем на строительство богадельни и еще немного добавил наличными для устройства трех дополнительных коек. А в следующем, 1884 году удалось построить и детское отделение. В конце 1890-х был выстроен также особый "дом отдыха" для престарелых сестер милосердия.

К началу XX столетия основными структурными элементами Стурдзовской общины были: больница, детская больница, лечебница для приходящих, дом отдыха, аптека и церковь (между 1863 и 1877 годами имелся также пансион для детей неимущих). Что касается "личного состава" сестер, то они подразделялись на три градации по старшинству: "сестры с крестом" (14 особ), "сестры без креста" (33 особы) и "испытываемые сестры" (15 особ). Всеми ими управляла начальница (старшая сестра). В годы первой мировой войны численность сердобольных сестер значительно возросла, и они работали рука об руку с так называемыми "краснокрестовскими".

Как было сказано выше, церковь при богадельне освятили 21 ноября 1850 года. Церковь эта была чрезвычайно скромна "и рассчитана лишь на удовлетворение самых насущных религиозных потребностей общины". Она нахо-



дилась непосредственно в здании богадельни и примыкала к палате тяжелобольных, которые имели возможность, находясь в постели, наблюдать богослужение через большое окно и даже принимать в нем участие. Первым настоятелем этого храма был далеко уже не молодой протоиерей Иосиф Гайдебуров. По слабости здоровья, он уже через год вынужден был отказаться от служения и передать обязанности настоятеля и духовника священнику Стефану Рудковскому.

Разумеется, попечители общины и ее комитет лелеяли мечту

о постройке благолепного храма, тем более в соседстве с Михайловским монастырем. Однако на первых порах все силы и средства концентрировались на сборе средств для устройства больничных коек. А этих средств, как мы видели, катастрофически не хватало. Однако чуть только община встала на ноги, тотчас же начался сбор пожертвований на сооружение пусть не слишком грандиозного, скромного, однако как бы репрезентующего человеколюбивый лик Стурдзовской общины, храма. И такая церковь, подлинно домашняя, камерная, была окончена постройкою в 1869 году. Она выходила фасадом на обширную Михайловскую площадь (ныне — ул. Базарная, 2а). 30 августа 1869 года ее настоятелем комитет общины избрал протоиерея Михаила Марченко, остававшегося в этой должности несколько десятилетий и зарекомендовавшего себя с самой

лучшей стороны. Так, в день 25-летия своей службы (1894 г.) он получил от комитета адрес, в котором, в частности, говорилось: "В лице Вашем, глубокопочитаемый отец Михаил, комитет приобрел сотрудника, который, усвоив правильно преследуемую общиной святую христианскую цель, пользуется для достижения таковой всеми зависящими от него средствами. Обладая кротким, миролюбивым характером, Вы, отец Михаил, в продолжение всей своей службы вносили в исполнение принятых на себя обязанностей столько христианской любви и энергии, что являли собой образец чрезвычайно полезного и в высшей степени добросовестного деятеля". Помимо М. Марченко, в храме служили староста М. Георги и регент А. Мякенько. В числе прихожан в разные годы состояли такие примечательные фигуры, как, скажем, семейство барона Ф.Е. Мейендорфа, княгиня Сан-Донато (Е.П. Демидова), графиня А.П. Алопеус, графиня А.И. Шувалова, княжна Е.В. Львова, графиня Е.Г. Толстая, барон А.А. Маас, член Государственного совета, предводитель херсонского дворянства и гласный Одесской думы Н.Ф. Сухомлинов, графиня О.А. Мусин-Пушкина и другие известные благотворители.

Следует подчеркнуть, что в благородной деятельности Стурдзовской общины принимали участие не только лица православного вероисповедания. В числе активных сотрудников состояли такие замечательные одеситы, как, например барон А.А. Маас — один из столпов реформатской церкви в Одессе. Были в числе жертвователей католики, лютеране, иудеи и т. д. Резюмируя изложенное, остается констатировать, что и эта благотворительная организация характеризовала местное гражданское общество как гуманное и веротерпимое. Подчеркнем также положительный опыт финансового строительства общины, прежде всего — в ракурсе формирования и накопления принадлежавшей ей недвижимости. (Вспомним хотя бы санкционированное правительством выделение беспроцентной ссуды из городского бюджета на строительство богоугодного заведения). Этот момент представляется весьма актуальным в контексте разговора о сохранении и воссоздании памятников истории и архитектуры Одессы с руководящими работниками АН "Капитал", отраженного на страницах предыдущего номера нашего альманаха (№ 12, сс. 77-82).

Комментарии к письму Владимира Короленко

Одно из последних писем проживавшего в Полтаве В.Г. Короленко было отправлено в Одессу 6 сентября 1921 года. Его адресат — В.В. Туцевич, двоюродный племянник писателя. Письмо впервые опубликовано в юбилейном издании сочинений и писем Короленко (т. 10, с. 590-591, Москва, 1956 г.) и с тех пор не перепечатывалось. В письме выражалось соболезнование семьям Туцевичей и Мухиных в связи с кончиной главы семейства Владимира Каземировича Туцевича, двоюродного брата Владимира Галактионовича. Попутно затрагивался вопрос о судьбе поколения, конец жизни которого совпал с первыми пореволюционными годами. "Видно, приходит и на нас, людей того поколения, час расчета, — признавал автор письма. — Я несколько моложе твоего отца, но и досталось мне несколько больше, особенно в последние годы. Создалась такая традиция: что бы ни случилось — беги к Короленку. А в последнее время случилось разное". Как выяснится для широкого круга читателей много лет спустя, под "разным" имелся в виду террор — то белый, то красный, — из костра которого Владимир Галактионович чуть ли не ежедневно пытался выхватить человеческие жизни (см. "Книгу об отце" С.В. Короленко, Ижевск, 1968 г.).

Публикация письма снабжена примечаниями, в которых, к сожалению, допущены неточности и пробелы. Так, в дате смерти В.В. Туцевича неверно указан год — 1950-й. Установить происхождение ошибки сегодня почти невозможно. Но исправить ее необходимо во избежание повторения. Выполнить эту задачу помогают материалы архивно-следственного дела № 5422 из фонда прекращенных дел Архива УСБУ по Одесской области.

Дело открывается "Анкетой обвиняемого": Владимир Владимирович Туцевич родился 19 июня 1878 года в Кронштадте, русский, сын дворянина, со средним образованием. Арестовывался в 1931 году (статья 54-11 УК УССР) органами ГПУ, был освобожден. Снова арестован 11 марта 1938 года. Обвинялся по той же статье: "...В период гражданской войны активно выступал против Красной Армии и Советской власти. Последующие годы состоял членом контрреволюционной повстанческой офицерской организации, по заданию которой проводил контрреволюционную деятельность" (л. 8).

Вопреки характеру обвинения дело не является групповым. Послужной список В.В. Туцевича, приведенный в материалах дела, заставляет усомниться в справедливости обвинения, хотя и поражает своей необычностью:

1898 г. — февраль 1917 г. — подполковник царской армии;

февраль — октябрь 1917 г. — офицер для поручений начальника Одесского военного округа;

октябрь 1917 г. — апрель 1918 г. — служба в Красной Армии (начальник отдела артиллерийского снабжения Одесского военного округа);

апрель 1918 г. — март 1919 г. — полковник в войсках гетмана;

март — август 1919 г. — служба в Красной Армии (начальник канцелярии Одесского артиллерийского склада);

1919 — 1920 гг. — полковник армии Деникина;

1920 — 1922 гг. — служба в Красной Армии (начальник Одесского артиллерийского склада);

1922 — 1924 гг. — без определенных занятий;

1924 — 1930 гг. — деловод Одесской трудовой школы № 49;

1930 — 1938 гг. (по день ареста) — кассир Одесского консервного института.

Как видим, власти в Одессе менялись. В.В. Туцевич не покинул город ни с одной из них. Рискуя жизнью, он продолжал служить на самом опасном военном объекте, прилагая весь свой профессиональный опыт к его охране. Подобно В.Г. Короленко он при смене властей устанавливал контакт с любой из них во имя спасения жителей Одессы от катастрофы, которая могла последовать в случае попытки уничтожения начиненных смертоносным грузом складов.

Шло время. О заслугах демократически настроенных представителей предреволюционного поколения забывали. Все чаще вспоминали об их "социально опасных" чинах и званиях. Сначала Туцевича убрали с военного объекта, затем он был арестован в ходе очередной "зачистки". После двухмесячного пребывания под следствием в Одесском областном отделе ГПУ в 1931 году его освободили. То ли и впрямь установили его невиновность, то ли послужило щитом родство с писателем, чьим именем назвали в Одессе одну из центральных улиц, неизвестно. Во всяком случае, Туцевичу дали возможность просуществовать еще несколько лет. В 1938 году он попал в "общие списки", по которым арестовывали недобитых прежде "бывших людей", и на этот раз был обречен.

Было бы наивным полагать, будто протоколы допросов тех лет воссоздают картину следствия. И все же сквозь казенные, не всегда грамотные строки проступают, хоть и смутно, очертания поединка между ведущим допрос и допрашиваемым.

В деле В.В. Туцевича имеется всего лишь один протокол допроса, датированный 18 марта 1938 года. В нем зафиксирован отказ подследственного на начальной стадии дознания признать себя виновным: "Членом контрреволюционной организации я никогда не состоял и меня никто для контрреволюционной деятельности не вербовал" (л. 11).

Сотруднику УНКВД понадобится четырежды повторить фразу: "Требую от Вас искренних показаний", — прежде чем он услышит желаемое: "Да, признаю..." (л. 12). Трудно сказать, какая "мера воздействия" вынудила Владимира Владимировича оговорить себя. Для большинства заключенных решающей оказывалась угроза подвергнуть членов их семей тем же испытаниям, каким они подвергались сами. У Туцевича же за пределами тюрьмы оставались горячо любимые жена и дочь...

Все его последующие "признания" не что иное, как изобретенный им прием, посредством которого он надеялся убедить в своей невиновности тех, кто когда-нибудь, рано или поздно будет знакомиться с материалами дела. В 1956 году автор прокурорского протеста назовет показания В.В. Туцевича "неконкретными и по содержанию неубедительными" (л. 70). Только для следственных органов образца 1937-1938 годов мог показаться достоверным рассказ о том, как работник школьной канцелярии "объяснял ученикам", что "им нет дела до пятилеток" (л. 20).

На вопрос о количестве оружия, которым располагает порожденная воображением следователя офицерская организация, В.В. Туцевич дал столь же фантастический ответ: "500 винтовок и 10 пулеметов", и хранится этот арсенал "в подвале музея бывшего графа Потockого на улице Короленко" (л. 14). Видно, о многом передумал Владимир Владимирович, называя на допросе имя первого российского правозащитника...

В ответ на требование назвать фамилии соучастников Туцевич привел их довольно пространный перечень, о котором в уже цитированном прокурорском протесте говорится: "Лица эти не установлены и не допрошены" (л. 64).

Граничит с анекдотом та часть протокольных записей, где следователь выясняет зарубежные связи "контрреволюционера". Владимир Владимирович признается в том, что состоит в переписке с Бонч-Бруевичем. В кругах советской интеллигенции это имя было достаточно известным: Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, бывший управделами СНК РСФСР, в 30-е годы возглавил Государственный литературный музей в Москве. В этом качестве он проделал огромную работу по собиранию рукописного наследия классиков. Он вел обширную переписку со всеми,

кто был хоть сколько-нибудь близок к русским (и не только) писателям. Вряд ли директор Гослитмузея обошел своим вниманием и семью Туцевичей. Для следователя из Одесского УНКВД Бонч-Бруевич был всего лишь носителем фамилии, звучащей на "заграничный манер", и он без колебаний внес его в перечень контрреволюционеров, руководивших из-за рубежа "повстанческой офицерской организацией".

Дабы создать видимость объективности расследования, по настоящему делу был допрошен свидетель — бухгалтер института, в котором В.В. Туцевич работал до ареста кассиром. Тот сообщил: "Припоминаю случай, когда Верховный суд СССР вынес приговор по делу врага Зиновьева, Каменева и Тухачевского и др., он вел контрреволюционные высказывания, заявляя не только мне, но всем сотрудникам, что же это за время настало? Кому теперь верить". Кроме того, Туцевич "очень интересовался международным положением о событиях в Испании и т. п." (лл. 4, 4 об.).

Показаний бухгалтера, по сути лишенных компромата, для следователя оказалось вполне достаточно, чтобы в обвинительное заключение внести еще одну статью: 54-10 УК УССР (антисоветская пропаганда). Фабрикуя этот документ (между прочим, без даты), он опустил сведения о службе В.В. Туцевича в течение трех лет в рядах Красной Армии. Впрочем, в нем все же было несколько слов правды: "Вещдоков по делу нет" (л. 37).

По решению "тройки" при УНКВД в Одесской области от 31 марта 1938 года Владимир Владимирович Туцевич был расстрелян в Одессе 7 апреля 1938 года, в 24.00 часа. Вдове казненного Ядвиге Александровне Туцевич в 1956 году сообщили, что ее муж умер от паралича сердца 19 июля 1941 года в местах заключения. Согласно директиве КГБ СССР от 24 августа 1955 года, никаких казней в 30-е годы не было. Всех репрессированных исправляли трудом в лагерях, а умирали они от разных болезней, обострившихся в связи с трудностями военного времени 1941-1945 годов. Новая ложь лишала верующих людей возможности помянуть своих близких в установленный обычаям день, а комментаторов изданий, где упоминались имена репрессированных, связанные с историей культуры, обрекала на искажение фактов.

Владимир Владимирович Туцевич реабилитирован 10 января 1957 года определением Президиума Одесского областного суда "за недосказанностью обвинения" (л. 71 об.).

В комментируемом письме Короленко упоминается имя Владимира Александровича Мухина, мужа двоюродной племянницы писателя. В примечаниях, о которых речь шла выше, указывается лишь степень его родства по отношению к главе семейства — В.К. Туцевичу. Между тем, по свидетельству Л.А. Новокрещеновой, это был человек, близкий Владимиру Галактионовичу по своей жизненной позиции (см. ее очерк "Неисповедимы пути Господни" в книге "Огонь Божественной Софии", — Одесса, 2002, с. 6). Последнее обстоятельство обязывает более полно представить личность В.А. Мухина. Источником сведений о нем послужило архивно-следственное дело № 10139 из фонда прекращенных дел Архива УСБУ по Одесской области.

Владимир Александрович Мухин родился в 1882 году на Кубани (станция Ключевская) в семье лесничего. До 1917 года — офицер царской армии, принимал участие в русско-японской и первой мировой войнах, был контужен. За проявленное мужество награжден Георгиевским крестом.

В 1920-1923 годах служил в Красной Армии на командных должностях.

В 1920 году в составе группы бывших офицеров и военных чиновников арестовывался органами ЧК как участник контрреволюционной организации. 21 января 1921 года после двухмесячного пребывания под следствием был освобожден из-под стражи по решению Цупчрезкома (Харьков). По дороге в Одессу без зимней одежды заболел воспалением легких, которое спровоцировало туберкулезный процесс. Из армии демобилизован по болезни.

Несколько лет занимался кустарным промыслом (плотничал).

В 1932-1937 годах преподавал военные дисциплины в вузах и школах Одессы, в которую переехал на жительство после женитьбы из Петрограда в 1917 году.

Повторно арестован 3 ноября 1937 года УНКВД по Одесской области. По решению наркома внутренних дел и прокурора СССР от 25 ноября 1937 года расстрелян 7 декабря того же года. Вдове, Ксении Владимировне Туцевич-Мухиной сообщили о том, что ее муж умер в местах заключения "от упадка сердечной деятельности" 9 октября 1942 года.

Подлинное архивно-следственное дело, заведенное в 1937 году в отношении В.А. Мухина, в областном, республиканском и союзном архивах не обнаружено. Восстановлено в 1958 году по инициативе вдовы репрессированного. В течение полутора лет следствие стремилось установить ха-

рактер преступной деятельности В.А. Мухина, но ни один из многочисленных допрошенных в 50-е годы свидетелей не обронил ни единого дурного слова о нем.

Б.П. Веселкин, например, сообщил: "Мухина я знал как хорошего человека, честно и добросовестно относившегося к порученному ему делу... Будучи преподавателем военных дисциплин, Мухин пользовался большим авторитетом среди студентов" (л. 33).

Из показаний С.И. Лищенко: "В отношении политических взглядов Мухина ничего предосудительного я сказать не могу. Каких-либо антисоветских проявлений с его стороны я не замечал. Как преподаватель Мухин соответствовал своему назначению, был грамотным и культурным человеком, к работе относился добросовестно, помогал товарищам..." (л. 41 об.).

Владимир Александрович Мухин, обвинявшийся в антисоветской агитации (ст. 54-10 УК УССР), реабилитирован определением Верховного суда УССР за недосказанностью предъявленного обвинения 14 ноября 1958 года.

В начале 1921 года в Полтаве органами ЧК был арестован зять Владимира Галактионовича Короленко и его секретарь Константин Иванович Ляхович. Заразившись в тюремной камере сыпным тифом, он умер в апреле того же года...

"Снаряды" рвались рядом с писателем и автором идеи НЭПа, высказанной в письмах к А.В. Луначарскому. От "прямого попадания" его увела смерть, наступившая 25 декабря 1921 года от воспаления легких.

В цитированных документах сохранены стилистические и орфографические особенности оригиналов.



В гавани, далекой гавани*...

Люди делятся на тех, кто живет на суше,
но особенно на тех, кто плавает по морям.
Митридат

Большая была гавань. Случалось, в нее одновременно заходило множество кораблей. Помню кургузую "Нинью" с Христофором Колумбом на мостике.

Не забыть верткий бриг "Кроткий" с Федором Матюшкиным, лицейским другом Пушкина. Лейтенант прокладывал пути в Северном Ледовитом океане. Какое это было наслаждение — провожать Матюшкина к неведомым землям за "звездой пленительного счастья". Счастливый путь!..

С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь счастливое дитя!

"В морях твоя дорога". Недаром царь скифов Митридат говаривал: "Я знаю три состояния человека — живой, мертвый и плавающий в морях". Да что там Митридат! Мы и сами понимали всю прелесть моряцкой судьбы. От знаменитых слов Пушкина, обращенных к другу, в ледяной тоске сжимались и наши сердца, как бы соединяясь с судьбой лицейста Матюшкина. В конце концов, ему ведь тоже было 14 лет, когда их всех соединил в братстве Лицей. И совершенно неважно, что жили мы в разное время. Важно иное — юность, вечный причал, подле которого все мы встречаемся однажды, а уже потом расходимся в иные времена.

Главный капитан — Мечта. Среди череды ее подданных — вон тот капитан с баркентины "Агамемнон", который едва не падает в обморок, увидев Эмилию Лайон, дочь деревенского кузнеца. Моряк невысок ростом — всего метр шестьдесят, узкоплеч и страдает морской болезнью. Вы совершенно правы — это адмирал Горацио Нельсон. Сэр Нельсон, с вашего позволения.

На белом свете было много адмиралов, но так любить, как Нельсон, не умел никто. Как раз в то время, о котором идет речь, Уинстон Черчилль подарил нам киноленту "Леди Гамильтон". Коробки с фильмом доставил в Архангельск один из Северных конвоев. Юнга Валентин Пикуль сторо-

*Публикуется с сокращениями

жил "Леди Гамильтон" на палубе эсминца возле зенитного пулемета. Нам нравился адмирал еще и потому, что начинал он в 12 лет юнгой на фрегате в Индийском океане.

Неведомо каким образом вся пацанва от Чечеловки до Лоцманки в один миг прознала о комиссии, которая отбирала кандидатов в Херсонскую школу юнг. Но она узнала и ринулась штурмовать двери той комиссии. Мы жили на берегах своих гаваней, терпеливо ожидая часа, чтобы "на корабль перешагнуть шутя".

Но случилась война. "Лапотники" бомбили и наши гавани, но им никак не удавалось потопить корабли, там отшвартованные. Это было невозможно хотя бы потому, что для этого немцам надо было бы убить всех мальчишек страны. Ведь гаванями для наших кораблей были наши души.

Между тем на улицах Днепропетровска, Краматорска, Одессы, заглушая звуки губных гармоник, то здесь, то там звучали песенки о том, что "в Кейптаунском порту с какао на борту "Жанетта" поправляет такелаж", а "из-за пары растрепанных кос, что пленяли своей красотой, с оборванцем подрался матрос", но чаще всего мы пели эту:

В нашу гавань заходили корабли,
Уютна и прекрасна наша гавань,
В таверне пировали моряки
И пили за здоровье капитана.

Слово "таверна" кружило головы. Оно никоим образом не могло соседствовать со всеми этими "хальт", "аусвайс", "хенде хох". "Таверна" была из другого мира. Поэтому, когда укрепился слух о школе юнг, подростки рванули из подворотен войны к морю, парусам, красоте. Исаака Майзлина не принимали: не было у него справки об окончании пяти классов.

— Приносите справку, тогда...

— А где я ее возьму? Мы только с Урала вернулись.

— Найдите двух свидетелей, заверьте их подписи круглой печатью...

Ах, этот Майзлин, знаменитый тренер баскетбольных команд страны. Он таки да нашел справку. Мама и бабушка поставили подписи, а домоуправ тиснул печать!

В том сентябре 1944 года случилась еще одна потрясающая история. Начало ее заметил Саша Суровцев, рослый блондин с фигурой атлета. Снизу от Озерки к углу Пушкинской поднималась трамвайная платформа. На ней лежала какая-то статуя. Саша подошел ближе. И увидел... Пушкина!

Несколько дней спустя после того как немцы вошли в город, трамвайчики ночью сняли памятник Пушкину с пьедестала и спрятали. Теперь же возвращали обратно. Александр Сергеевич лежал, задумчив и тих.

— Братва! Сюда! Ко мне!

Саша был рожден лидером. Сын учителей с Федосеевской улицы, Суровцев приобретет непререкаемый авторитет и в школе юнг, и на кораблях, где ему доведется служить, и на доменной печи в Кривом Роге, где доведется работать. Слава о комсомольско-молодежной бригаде Суровцева в 60-х годах гремела в Украине. Я тогда был собкором "Комсомолки" и много писал о "капитане" Суровцеве, не подозревая о его моряцком прошлом.

Ловко управляясь талями, Саша с ребятами вернули Пушкина на свое место. Так город снова обрел свое подлинное лицо. Позже, построившись в колонну по пятеро, мальчишки двинулись через весь город к Южному вокзалу. Многие запомнили, что на груди у поэта, там, под самым сердцем, — два пулевых отверстия. Одно понятно: Дантес, а кто еще стрелял в Александра Сергеевича? Ответа на этот вопрос не было, и подростки могли только гадать, кто на самом деле всадил еще одну пулю в бронзовое тело поэта.

До Победы оставался двести сорок один день.

На Южном вокзале их провожали мамы, "королевами" они еще не успели обзавестись. Елена Владимировна Суровцева после отъезда сына станет чуть ли не каждый воскресный день поджидать на Федосеевской улице, ведущей к вокзалу, ребят в матросской форме. Пригласит к себе: накормит, напоит, обстирает. Невелика жилплощадь у Суровцевых — девять квадратов, а случалось — спало по двадцать юнгашей. То баночку варенья, то кукурузных лепешек, то картошки в мундирах передаст мама с оказией Саше. И не было случая, чтобы оголодавшие юнги хотя бы кусочек отщипнули от тех "тормозков".

Здание, в котором поместили школу в Херсоне, принадлежало когда-то губернатору края. Комнаты с высоченными потолками еще помнили грузные шаги одного из основателей Херсона — генерал-фельдцейхмейстера флота Ганнибала, близкого родственника Александра Сергеевича. Арап Петра Великого, Ганнибал, погиб при осаде Очакова и был похоронен внутри ограды храма Спасителя. Комнат в доме было много, но не все удалось застеклить. Были окна и из пол-литровых банок. Смекалистый Вова Ролин аккуратно выставил четыре банки, образовав форточку. Жить было можно. Конечно, не так, как в Царскосельском лицее, да суть

в ином — в счастье быть вместе, дышать одним воздухом с друзьями, а через них понимать и свою связь со всем миром. Бывало, Ролин брал гитару и напевал с придыханием, от чего барышни на Нахимовском проспекте падали штабелями налево и направо:

Когда в море горит бирюза —
Опасайся шального поступка:
У нее голубые глаза
И дорожная серая юбка...

А эти переодевания в новую форму! Пуговка с якорьком на базаре стояла пайку хлеба. Попробуй сберечь. Пробовали — не получалось. За лентами к бескозыркам мчались на "пятьсотвеселых" поездах в Одессу. За те же пайки приобретали черные ленты с золотым тиснением: "Торпедные катера ЧФ", крейсер "Красный Кавказ", "Бригада тральщиков ЧФ". Начальство не обращало внимания на эти вольности. Самый свирепый ревнитель флотской дисциплины полковник Старушкин жил в Севастополе. Так что форсить можно было во весь рост. Щеголю Сереге Кобзеву, будущему штурману дальнего плавания, посвящалось это:

Когда он шел своей надменной походочкой,
И, как фрегат, кренился на бочок,
Себя я ощущала утлой лодочкой,
И этим самым он забрасывал крючок...

До Победы оставался восемьдесят один день.

Начальником школы был Василий Максимилианович Москалини, приятель капитана Алексева. Того самого Алексева, который на "Старом большевике" возил в республиканскую Испанию оружие и добровольцев, а обратным рейсом однажды привез золото Испании, за что и был награжден орденом Ленина. Перед самой войной Алексеев принял учебный барк "Товарищ". На нем-то и должны были проходить практику юнги из Херсона, как до них проходил ее Александр Маринеско. Но "Товарищ" пропал. К осени 1944 года мало кто знал, что случилось с парусником, командой и капитаном.

Между тем в том же сентябре 1944 года я поступил в Костромской военно-морской клуб. Для этого мне пришлось из Грозного добираться в город на Волге. Там находился папа, отозванный с фронта преподавать в Ленинградском военно-инженерном училище. И вот, проникнув с обратной стороны вагона в окно туалета, я оказался внутри поезда. Он был на-

бит людьми, как бочка сельдью. Спать можно было или стоя, или привязавшись к вентиляционной трубе на крыше вагона. Но я добрался. В Костроме шел снег, было очень холодно. Печи в помещении клуба топил дневальный. В тот день дневалил я. Из открытой двери класса донесся голос начальника, капитан-лейтенанта Жданова:

— Я расскажу вам о паруснике "Товарищ". Парусники называли невестами ветра...

"Невесты ветра"... Прижав к груди березовое полено, я стал слушать дальше. А перед глазами моими все еще стояли обугленные дома Старых промыслов Грозного. Бомбы особого вреда не причинили, их и упало на город всего десятка полтора, а вот нефть горела долго. Между тем я споткнулся, и полено выпало из рук. На грохот Жданов обернулся. Раненый в позвоночник, Жданов носил жесткий корсет. Я это знал. Знал, каких невероятных усилий стоит ему каждое движение, и был готов провалиться сквозь землю. Жданов смерил меня взглядом, ничего не сказал и продолжил:

— Барк "Лауристон" был построен в 1892 году в Англии. Это был чайный клипер. "Клипер" с английского значит "стригун". Корабль своим легким и узким корпусом как бы подстригает верхушки волн. Он был поставлен на линию Холихед — Калькутта. Затем попал в Россию, где получил новое имя "Товарищ". Мы с Васей Москалини проходили на нем практику. Вася вытащил меня с поля боя во время Керченского десанта. Сам он, кажется, погиб. После войны кому-то из вас посчастливится ступить на палубу "Товарища"...

Так получится, что в 1955 году на борт развороченного взрывами "Лауристона" — "Товарища" поднимусь я. Но это совсем иная история. Суть в том, что имя Москалини я услышал в одно время с юнгами из Херсона. В наставники им попался храбрый и опытный человек. Но и он допустил ошибку. Касалась она Юрия Нефедова. Прошрое, настоящее, будущее — живут одно в другом, что позволяет нам свободно передвигаться во времени и пространстве. Воспользуюсь этой возможностью и я.

Юнга Нефедов попал во вторую роту. Их-то и послали в Горностаевку убирать кукурузу. В местном колхозе председательствовал одноногий сержант. Он выменял хрюка в надежде быстро восстановить стадо хрюшек. Глаз не спускал председатель с животного. Да разве за юнгашиами успеешь? На беду в роте оказалось несколько винтовок СВТ-40. Конечно же, с просверленными на стволах дырками. Но что стоит те дырки заварить? Заварили — зарядили. Хрюку пришел каюк. Инвалид-председатель

плакал, как малый ребенок. Начали искать виновных. Но, как это часто бывает, зацепились не за тех. Негодяи подставили вместо себя ребятню. На них-то и набросился ротный.

Нефедов вышел из строя и говорит:

— Это не они.

— Молчать!

— Я не дам их трогать.

— И мы не дадим!

Рядом с Юрой встали еще трое воспитанников: Толя Лючков, Боря Лысенко, Вова Потапов.

Ах, бунт! Связать их!

И связали. Все так быстро произошло, что рота, знавшая истину, глазом не успела моргнуть. Нефедова и его друзей доставили к Москалини. Тот, глянув на рапорт, сказал:

— Будем судить.

Карцер не лучшее место на земле, но еще тягостнее и больнее несправедливость.

Вечером пришел дежурный, "обрадовал":

— Всех четверых исключают из школы. Приказ подписан.

Так оно и случилось. Бандиты заслонили мальчишкам дорогу к морю.

Юрию Нефедову удалось попасть на фронт. Через несколько суток боец Нефедов принял свой первый бой в Восточной Пруссии.

Однако в школе юнг случай в Горностаевке не забылся. Тех, кто на самом деле совершил преступление, нашли и судили. Но не только этим кончилось дело о "возмутительном поведении юнги". Не только...

Несколько дней назад шестеро бывших юнг встречались. Пригласили и меня. С той поры, когда мы носили голландки, минуло 55 лет. Мы по очереди ныряли в юность, как в теплое море. И это было прекрасно. Иное дело, что "звезда пленительного счастья" оказалась не там, где мы все ее искали. То цели были ложными, то средства — негодными. Как, впрочем, и сейчас. И все же каждый из нас мог сказать вслед за Нельсоном: "Когда я имел счастье быть юнгой...". Иное дело, что счастье это было таким коротким, таким упоительно прекрасным, что, случалось, мы его даже не замечали. Разве замечаешь воздух, которым дышишь?

Когда мы расходились, Валька Флякс при свете уличного фонаря показал татуировку на руке выше запястья:

— Смотри сюда.

Но увидел я не якорек, что было вполне ожидаемо. И даже не русалку,

что тоже имело бы место. Я увидел... поросенка! Оказалось, что в память о случае в Горностаевке многие юнги сделали себе наколку. На память "о тех юнгах".

Между тем в то время, когда в Херсоне ребята учились бальным танцам, учились вязать морские узлы и определять курсовые углы, солдат Нефедов выполнял приказ. Надо было с одного берега реки на другой перенести две катушки с телефонным проводом. Шквал пулеметного огня, ледяная вода по горло. Шестнадцатилетний солдат приказ выполнил. Он обеспечил надежную связь между своими. Батальон пошел в атаку.

До Победы оставалось одиннадцать дней.

На войне каждый миг — вечность. Нефедову повезло — он остался живым. Как только появляется возможность, Юрий приезжает на место боев, чтобы положить цветы на могилы однополчан. Ведь на самом деле существует правило — кладбища, которые никто не посещает, сравнивают с землей. Поминальные дни даны нам для того, чтобы не забывать своих долгов перед ушедшими.

А лицей — это образ места, где воспитывались чувства дружбы, любви, долга. Без них любой вид деятельности бессмыслен, а сама жизнь — бесцветна и агрессивна. Для кого-то лицеем стала школа юнг, для кого-то — землянка в три наката, для кого-то — тот круг людей, с которыми пришлось учиться или работать. Юнги, о которых я рассказывал, и сейчас верны идеалам своей юности. Иное дело, что идеалы эти стремительно заменяются другими. Однако, если на фарватере вдруг меняют навигационные знаки, то корабли или гибнут на мелях, или приходят не к тем причалам. Похоже, что именно так случилось с нашей сегодняшней действительностью.

А море — это великая тайна. Оттого, вероятно, оно и влечет всех нас к себе, как бы приглашая к разгадке. Если верить, что улитки эволюции вытаскивали из соленой купели жизнь, то в каждом из нас живет остаточная память о своей прародине. Известно также, что вода обладает памятью. Мировой океан — хранилище несметного количества информации обо всем том, что было и есть по ту и по эту стороны Млечного Пути. Добыть бы ключик к тайнам капли воды, и тогда бы открылись знания новых технологий, но владеть ими смогут лишь люди высокой духовной культуры.

Приходите чаще к синим зеркалам морей. Волны рассказывают, все рассказывают волны...

Недавно я стоял на берегу своей гавани. Цвели яблони, бело-розовое

пламя трепетало на свежем ветру с Атлантики. Казалось, оно что-то хотело сказать. Я прислушался и услышал:

И карлики с птицами спорят о гнездах,
И нежен у девушек профиль лица...
Как будто не все пересчитаны звезды,
Как будто наш мир не открыт до конца!

Пьеса не окончена.

Антракт.

Встретимся в "синем и далеком океане, где-то возле Огненной Земли..."
Но до Огненной Земли далеко. Я обещал рассказать о "Товарище".

Где твои юнги, "Товарищ"

Парусник "Товарищ" появился в Костроме зимой 1944 года. За окнами Военно-морского клуба мела метель. Сугробы придвигались к подоконникам. Возле печи стоял вахтенный. В его обязанности входило подбрасывать в огонь березовые поленья. Их мы вырубали баграми и топорами из-под льда на реке Костромке, притоке Волги. Потом на санях волокли во двор клуба. Пилили на козлах, кололи и складывали под забором. В классе всегда пахло лесом.

Класс — бывший купеческий лабаз, полутемное квадратное помещение с цементным потолком — вмещал массивную тумбу компаса, восемь столов и столько же скамеек к ним. Сидели по шестеро, тесно прижавшись друг к другу. Конспекты писали между строчек книг. Мне досталась "История российская..." Татищева. В страницы, повествующие о дальней старине, ложились точные цифры о вооружении, скорости, количестве экипажей на кораблях немецкого флота.

Наш начальник, капитан-лейтенант Жданов, начинал новый курс. Назывался он "Силуэты кораблей".

Шла война. По силуэтам кораблей моряки определяли своих и чужих. Конечно же, мы ждали, что начальник поведет речь о боевых кораблях. Однако Жданов повесил на классную доску рисунок парусника. До сих пор я слышу слова той лекции:

— Их называли "невестами ветра".

Класс замер. Мы тогда и слов таких не слышали: "невесты ветра". В каждую маленькую жизнь мальчишек, эвакуированных из Ленинграда, Краматорска, Грозного, уже отбомбились "юнкеры". Жизнь измерялась сводками Совинформбюро. Хлебные карточки казались бесценным со-

кровищем. Быт был беден. Бушлаты нам пошили из серых байковых одеял. Форменная пуговица с якорьком ценилась в шестьсот граммов хлеба. Одну тельняшку делили на множество лоскутков: лишь бы были видны на груди три бело-голубые полосы. К ним-то и шел парусник.

— 17 октября 1882 года, — продолжал Жданов, — компанией Воркмен Энд Кларк был спущен на воду клипер "Лауристон". Клипер с английско-го означает: "стригун". Судно, которое как бы подстригает своим легким корпусом верхушки волн. Создателем клиперов считается Джон Гриффт. Он отказался от пузатых корпусов, приблизив свои творения к формам морских рыб. От тех времен сохранилось выражение: "длина бежит". Ведь клиперы строились таким образом, чтобы их длина почти в шесть раз превышала ширину.

Жданов взял в руки указку и продолжил:

— Паруса на этом корабле подняты на всех мачтах в шесть этажей. Самый высокий лоскут парусины называют трюмседем — "небесным парусом".

Мы слушали, затаив дыхание. Дневальный прижал к груди березовые чурки, он позабыл о своих обязанностях. "Небесные паруса" украсили бывший купеческий лабаз. Жданов вел дальше:

— "Лауристон" был поставлен на Восточную, или чайную, торговую линию. Известны его переходы: Ливерпуль — Рангун за 95 дней. Из Холлихеда в Калькутту за 96 дней. По тем временам результат превосходный. В конце 1910 года фирма, владевшая парусником, продала его за четыре тысячи фунтов стерлингов другой. От нее судно перешло к нам, в Россию. Его хотели использовать в качестве баржи для перевозки грузов из Англии в Мурманск. Потом "Лауристон" оказался на Балтике. Простоял на приколе несколько лет. После победы Октября стране потребовались свои капитаны. Учебным классом для них и стал "Товарищ", бывший "Лауристон".

— Почему "Товарищ"? — решил кто-то на вопрос.

— Наверное, потому, что матрос в дословном переводе означает: "товарищ по мачте". Закончится война, и кому-нибудь из вас доведется побывать на "Товарище"... Я проходил там штурманскую практику...

Жданов не знал тогда, кто и где уничтожил парусник.

Минуло много лет. Однажды я попал в Мариуполь. Вышли в море на прогулочном катере. Сбоку от входного канала в порт увидели какой-то затопленный корабль. Он лежал на мелководье с развороченным взрывом правым бортом. Нос был задран вверх. Полустершаяся надпись ударила в сердце: "Товарищ"...

Потом уже отыскиались подробности. В начале 1941 года барк вышел в море на учебную практику. Капитаном был Павел Семенович Алексеев. Тот самый Алексеев, который не раз водил суда в порты республиканской Испании. Война застала экипаж "Товарища" на пути в Новороссийск. Там Алексеев ушел воевать. Списались на другие корабли курсанты. "Товарищу" было велено идти в Мариуполь, как тогда казалось, — в глубокий тыл. Однако уже в сентябре немцы овладели городом. Оказался в плену и "Товарищ".

По свидетельству капитана первого ранга В. Седлецкого, моряки Азовской военной флотилии несколько раз пытались увести судно к своим. Торпедные катера подбирались к нему совсем близко. Однако встречали сильный оружейный огонь и отходили. Бывший разведчик, моряк Черноморского флота В. Павлов рассказывал, что бывал в городе, но так и не узнал, что творится на легендарном барке. Не раскрыта эта тайна и по сей день. Разгадка ее и сдружила нас с Олегом Ванденко, капитаном нового "Товарища".

Корабли не умирают. Учебное судно Херсонского мореходного училища имени лейтенанта Шмидта продолжает нести вахту, соединяя прошлое с настоящим. "Товарищ" стоит в Херсонском порту и трется кранцами о берег. Паруса убраны в баталерки, экипаж в отпусках. Ванденко я застал дома. Он переезжал на новую квартиру, и на его столе громоздились папки с бумагами — личный архив. Перебирали вместе. Странное дело: Олег узнал о существовании "Товарища" в том же 1944 году. Только не в Костроме, а на Дальнем Востоке. Узнал от отца. Тот был военным моряком. Сына Ванденко-старший хотел видеть музыкантом. Олега же звал Тихий океан. Однажды вместе с братом они построили плот, набрали дома продуктов... Ремень отца умерил пыл мореходов. Но дорога была выбрана. После войны семья возвратилась на родину в Херсонскую область. В мореходное училище Олег пришел пешком. И была у него практика на паруснике. Случилось, зашли в Новороссийск. Нес вахту у трапа. Подошла женщина, попросилась подняться на палубу, венок оттуда бросить в море... Оказалось — жена капитана Алексеева. В Цемесской бухте погиб военный лоцман, бывший капитан "Товарища". Немецкие бомбы раскололи лоцманский катерок.

После окончания училища Ванденко распределился на танкерный флот. Он уже совсем собрался, как вдруг получил предложение — четвертым помощником капитана на "Товарищ". Впрочем, не совсем вдруг. Годом раньше случилась с Олегом история. Говорят, что только два челове-

ка совершили такое: поднявшись на фок-мачту, сделали на нее стойку на руках. Первым в моряцком фольклоре значится юнга Александр Маринеско, будущий командир подводной лодки С-13. Это он в конце войны послал на дно лайнер "Вильгельм Густлов", на борту которого находилось восемь тысяч гитлеровцев. Флотские историки не знают подвига, равного этому... Не берусь утверждать, что толкнуло курсанта Олега Ванденко на акробатический номер. Так или иначе, юноша уперся башмаками в небо. Замечу: при хорошем ветре амплитуда колебаний фокарея больше четырех метров. Тогда ветер был что надо. Капитан парусника "не заметил" проступка курсанта, однако фамилию запомнил. Он-то и рекомендовал Ванденко на вакантную должность.

Четвертый, третий, второй, старший помощник... В 1968 году Ванденко — капитан. Ему исполнилось тогда тридцать три.

Моряк — это очень трудная работа. Прекрасен барк под всеми парусами. Они, как облака, приникли к мачтам. Но облака эти создаются руками экипажа. У каждого курсанта "своя" мачта. Как только звучит команда: "Приготовиться идти вверх, паруса ставить!", так раздается топот ног по палубе. Почти десять тысяч "мореходцев" из Херсона, Одессы, Мурманска, Ленинграда прошли на нем школу. Недавно Олег Павлович и команда привезли домой два самых почетных приза: Камень с мыса Горн и модель "Катти Сарк", быстрее клипера своего времени.

Летом 1957 года вместе с фотокорреспондентом газеты "Комсомолец Донбасса" Борисом Витковым бродили по палубе "Лауристана". Барк был разбомблен осенью 1943 года нашей авиацией, очевидно, случайно во время налета на Мариуполь. Накануне наступления наших войск в оккупации "Товарищ" служил бординг-хаузом (общежитием) для немецких моряков. Любопытно, что в строго секретном и личном послании от премьер-министра г-на Уинстона Черчилля г-ну Сталину сообщается о том, что немцы уже назначили адмирала, которому будут поручены военноморские действия на Каспийском море. Своей базой они избрали Махачкалу. От Грозного, где тогда жил я, это рукой подать. Около 20 судов, включая итальянские подводные лодки-малютки для подводных диверсантов, торпедные катера и тральщики, должны были быть доставлены по железной дороге из Мариуполя на Каспий. Для этой цели строилась специальная железнодорожная ветка. Немецкие военные моряки облюбовали "Товарищ" под свое временное жилье.

Послание помечено октябрём 1942 года. Примерно в это же время, развивая наступление на Северный Кавказ, немцы высадили десант на

озере Рица. Отряд особого назначения был доставлен сюда на самолетах "Амфибия". Бывший курсант Бакинского пехотного училища Юрий Кузнецов, позже корреспондент "Известий", мой друг, участвовал в уничтожении этой диверсионной группы.

В мире не так много осталось "невест ветра" и, вероятно, поэтому они знают друг о друге буквально все. И не только знают, но и собираются на "смотрины", которые носят название "Операция "Парус". Но гонки гонками. Случается, приходят приглашения совершенно удивительные, такие, например, как вот это:

"Фрегат "Созвездие". Док "Созвездие". Балтимор. Мэриленд. 212027.

Парусному судну "Товарищ".

Дорогие товарищи и морские друзья!

Мы сердечно приглашаем Вас быть нашими гостями в Балтиморе по случаю 175-й годовщины спуска парусного судна "Констелейшен"... Празднование годовщины старейшего американского судна, находящегося все еще на плаву, планируется нами со 2 по 8 сентября...

Мы надеемся, что Вы запланируете Вашему прекрасному судну этот визит. Убедительно просим сообщить нам Ваше решение как можно скорее".

"Товарищ" вышел в море. Рейс через Атлантику всегда сгусток мужества. Судовой журнал хранит не просто хронику будней команды. При внимательном чтении обнаруживаешь капитанский характер. Вот тут Ванденко чуть медлит, словно прислушивается к сообщениям, предупреждающим о рождении циклона "Бетти". Следующая запись — результат принятого решения: судно круто меняет курс. Но на пути разводит бешеный ветер только что родившаяся "Кэри". Вновь маневр. Между тем на борту судна заканчиваются работы по замене парусов. Обычно это делается на стоянке, дома, но тогда бы они опоздали на randevu в Балтимор. Ванденко во всем человек слова. "Товарищ", пройдя почти семь тысяч миль, принял салют старинных пушек "Констелейшена".

Четверть века ходит под парусами Олег Павлович. Старшая дочка Люба, когда была школьницей, хранила карты с нанесенными на них отцовскими маршрутами. Канарские острова, остров Святой Елены, Бермудские острова... Отец хотел, чтобы дочка была музыкантшей. История повторилась: не послушалась, подала документы в медицинский институт.

И еще немного о характере. Атлантическая регата "Операция "Парус" была одной из самых представительных. Итак, Плимут. "Товарищ", только что отремонтированный в Швеции, казалось, не слышал сигнала о старте. Ванденко пропускал соперников вперед. Ему нужна чистая вода.

Он знает, что команда еще не привыкла к новым дакроновым парусам. Маневрировать в стартовом строю опасно.

Можно, как это уже не раз случалось с другими, столкнуться корпусами. Наконец, подняты якоря. Однако скорости нет. Дакрон не хочет так просто отдавать свои секреты. Трое суток экипаж учится стоять на вантах. Ванденко не сходит с мостика. Лишь возле Португалии они, наконец, настигают фаворита, польский парусник "Дар Поможа". Какое-то время идут борт о борт. Маневр парусами. Еще один. В порт Санта-Крус-де-Тенериф "Товарищ" входит первым. Не было ему равных и на остальных этапах многомильной дистанции. Победителя ожидал Камень с мыса Горн и серебряная модель "Катти Сарк".

О "стригущих волну" клиперах написаны библиотеки книг. Немало известно и о суровом мысе Горн. Смертельной опасностью грозит он смельчакам. Я видел серо-зеленого цвета обломок скалы, уложенный на подставку из красного дерева. Ничего особенного. Просто напоминание о мужестве бесчисленного количества мореплавателей и не мореплавателей. Ведь недаром Герман Мелвилл, автор "Моби Дика" и "Белого бушлата", утверждает, что моряк ты или не моряк, для всякого уготовлен в жизни его Мыс Горн.

А парусник "Товарищ", как и мечта, возникает внезапно. Когда-то он забрел в Кострому и на Дальний Восток. Недавно мой внук Коля вдруг задел меня фразой:

— Знаешь, ведь их называли "невестами ветра".

Я заторопился в Кострому. Нашел Андрея Федоровича Жданова. Обнялись. Долго говорили, вспоминали товарищей по мачтам наших мальчишеских клубовских корабликов. А со стены глядел барк "Товарищ". Тот самый, из 1944 года.

Когда я вернулся из Костромы в Москву, в редакции "Комсомолки" меня ждало письмо от старого друга Саши Варламова.

Рассказ Александра Варламова

Снова встретился с Татьяной Федоровной Алексеевой. Из ее кабинета на Приморской из окон виден лес мачт, пакгаузы, волнорез, Одесский маяк и рейд с судами под разными флагами. В кабинете — селектор, звонящий ежеминутно, морские карты, рабочий стол красного дерева и много порядка, слишком много для этой суматошной организации. Она сама — пожилая, чуть-чуть грузновата, курит, высекая огонь из австрийской

зажигалки. Чтобы говорить с ней, надо отпустить английский замок и крепко хлопнуть дверью. Иначе нельзя — морской народ в крабах и химвалит безостановочно. Еще одна маленькая деталь о ней как о человеке, хранящем память. В апреле 65 года "Моряк" опубликовал крохотное письмо капитана Геленжикского порта Соколова "Бесстрашный капитан", где вспоминал Алексеева (служил под его началом), предлагал присвоить имя Алексеева какому-нибудь новому судну пароходства. Татьяна Федоровна ответила через газету 10-ю строками благодарности. Ответ скорее похож на то, что публикует "Правда" "от семьи покойного", только очень-очень тепло и грустно. И сама она плакала (мне очень не хотелось повторять этого), вспоминая мужа. Мне было неловко. И вообще после всего, что я узнал о нем — о капитане Алексееве, — о ней, об их друзьях-товарищах, осталось впечатление чего-то очень высокого и красивого. Моряки 30-х годов, которые затем видели тридцать седьмой и сорок первый, они были могиканами советского торгового флота. И, наверное, последними. Потому что сегодня на флоте много разговоров о тряпках и выгодных рейсах, о валюте и выпивке. Я много видел стариков из флотских. Рядом с ними нынешние ребята, которых мы старательно приукрашиваем, ничего не стоят. В тех был какой-то блеск, огромнейшая гордость за свою касту, а все другие черты их характера (смелость, порядочность, верность, даже внешний вид) — все они шли уже отсюда, из гордости. Я не старая дева, меня еще не упрекнешь тем, что "старое было лучше". Но я видел капитанов Романова, Кароянова, Осташевского, Письменного, доцента высшей мореходки Богословского — в них много благородства... или лица у них какие-то особенные?! Алексеев, доживи он до наших дней, был бы похож на них. У них — ровная походка, они худы или не очень полны, почему-то все высоки, а лица запоминаются сразу, совсем неповторимые лица. Вон как много наговорил и, кажется, не совсем о том... Но я хотел сказать о том, что это были люди совершенно особые.

Теперь об Алексееве. Это — скорее его биография, весьма короткая, потому что, поверь, с ней (с Т. Ф.) было очень тяжело разговаривать и расспрашивать, видя, как она на это реагирует.

Павел Семенович Алексеев (1905) вырос в семье херсонских моряков со стороны матери — ими были дед, прадед, прапрадед. Ходили они на прославленных дубках — возили (Одесса, Очаков, Херсонес) все, что нужно морякам и рыбакам — хлеб, соль, арбузы... С 13 лет Алексеев ходил с дедом, варил юшку, чистил котлы (в которых варят), конопатил бока дубка, драил палубу. Представьте себе черноморский берег — много солн-

ца, много веселых отчаянных людей, много щедрости, моря, хотя в первые годы революции было трудно и тяжело.

Очевидно, в году 1922 поступил в Херсонскую мореходку. Училище готовило первые кадры для советского торгового флота. Это была и есть средняя мореходка, но в те времена высших не было, и она давала высшее образование. Он закончил морской техникум с отличием. Затем (тогда начинали так) — на флот и ступеньки: матрос, штурманский стажер и потом лишь самостоятельная работа.

Первое капитанство — с года 1934-го. Это был сухогруз "Терек", не-большой, о нем пока ничего не удалось узнать. И о времени капитанства на нем Алексеева — тоже. Вот другое судно — другое дело. Это был "Старый большевик", о нем ты знаешь по документу, который в том пакете проходит под № 11 (выписка из приказа № 445). Речь идет о перевозке леса на Севере, и в документе том об этом хорошо и полно говорится. Алексеев тогда поставил рекорд по загрузке.

Но самое интересное в биографии "Старого большевика" — его участие в испанских событиях. Татьяна Федоровна рассказывала об этом очень мало, Алексеев ничего тогда не говорил. Но ясно одно: "Старый большевик" — лесовоз — был послан в помощь республиканцам, ходил туда много раз с грузами, конечно же, военными, и с людьми. Ходил между портами Испании и в наши порты. По крайней мере, судна подолгу не было в Одессе. Алексеев рассказывал Татьяне Федоровне только о том, что приходилось прорываться к Испании под бомбардировщиками, что не всем это удавалось (вот тебе история с "Комсомолом"), что было очень трудно. Видимо, Алексеев и "Ст. Большевик" для Испании сделали очень много, Алексеева наградили орденом Ленина. Орден ездили получать в Москву. Вручал Калинин. Сразу после испанских событий все, кто отличился в них, получал высокие назначения. Мезенцев (капитан "Комсомола") стал начальником Черноморского пароходства, Алексею дали "Декабрист" — один из двух самых крупных судов пароходства (был еще "Трансбалт", кажется). И вдруг — неожиданно — с "Декабриста" его вызывает телеграммой нарком в Москву. (Они даже растерялись — чего это так неожиданно! Ведь год шел 1938-й!) Это было в ноябре 38 г. Вернулся из Москвы уже в новой должности — весьма и весьма почетной на флоте — капитаном "Товарища". Сам Алексеев был рад: любил парусник и любил курсантов.

За неделю до начала войны Павел Семенович с курсантами отправляется из Одессы в Новороссийск. Это — его последний рейс на "Товарище".

С началом войны, не ожидая призыва, отправил курсантов в училище и сдал судно своему старшему Куцепалову. Здесь начинается трагедия "Товарища". Передаю ее со слов Татьяны Федоровны. У Куцепалова в Одессе оставалась семья, он стремился во что бы то ни стало вернуться в город, но было уже поздно. К этому времени Одесса была уже в кольце. Тогда Куцепалов кого-то и как-то уговорил на бессмысленную и опасную операцию — перегнать судно в Мариуполь. Татьяна Федоровна говорит, что это был расчет явный: в Одессу бы судно никто не пустил, а Мариуполь был накануне сдачи, и Куцепалов рассчитывал остаться в городе, чтобы затем (уже при немцах) перебраться к семье даже ценой "Товарища".

Как и следовало ожидать, "Товарищ" разбомбили, и он затонул, еще долго над рейдом были видны его мачты. Загоревшееся судно успели огрывать. Так погиб "Товарищ".

Алексеев говорил Татьяне Федоровне, что он еще выяснит, кто виновник гибели судна. Судьба же Куцепалова сложилась так. В Одессу он все же вернулся, открыл при румьнах какую-то лавочку и жил неплохо. Татьяна Федоровна уже после войны встречала его жену. Она сказала, что Куцепалова забрали наши уже после 1944 года и судили (я понимаю, что все это нужно проверить; как — ищу пути...).

Но — об Алексееве.

В Керчи он был назначен комендантом города. Но не долго. В 1941 году (из Одессы уходили беженцы) на Одесском рейде погиб крупнейший "пассажир" "Ленин", погибли тысячи людей, и вскоре — именно по этой причине, это был повод — командование Черноморского флота приняло решение заменить военных лоцманов на гражданских капитанов: они лучше знали море. Алексеев, как один из опытнейших, был назначен старшим военным лоцманом. Его подчиненные водили торговые и военные суда, а он участвовал только в крупнейших операциях флота. Так, он шел лоцманом на флагмане во время Камыш-Бурунского десанта (под Новый, 1942 год, в ночь с 31 декабря). Вернулся в Керчь седым. Вот одна из немногих деталей, о которой Татьяна Федоровна рассказала, опять же, со слов других. Алексеев двое суток стоял на мостике (минные поля, самолеты, береговая артиллерия — даже курить нельзя). Дойдя до берегов, он спустился в кают-компанию и, присев на минуту в кресло, раскурил трубку. Раз затянувшись, встал и снова пошел на мостик. Ударил бомба. То кресло разнесло в клочья. И еще — операцию вел какой-то адмирал. Он все грозил Алексееву: "Посадишь на мину — расстреляю..." Быть может, за этот десант Павел Семенович и получил орден Боевого Красного Знамени.

Дело шло к тому, что Новороссийск должен был сдаваться. Лоцманскую службу перевели в Геленжик. Связь между службой и штабом, который оставался еще в Новороссийске, была в один из дней нарушена, и Алексеев вскочил в свой катер и велел идти на Новороссийск. С берега ему кричали, чтоб возвратился. Не послушал. Не дойдя несколько сот метров до Новороссийска, катер был обстрелян немецким самолетом. Бомба упала рядом и разбила катер. Алексеева, израненного, без сознания, сняли в последнюю минуту, положили на причал и накрыли брезентом. Увидев, что жив все же — нашли грузовик и отправили в Геленжик, где были уже все госпитали. Но в 11 ночи он умер. В госпитале Татьяне Федоровне передали некоторые документы и почему-то китель — весь изрезанный и в крови.

В мае 1965 года Татьяна Федоровна была в Геленжике впервые за 25 лет (до той поры она не могла приехать в город, на могилу) хотя, как зам. начальника службы пароходства была постоянно и в Новороссийске, и в Керчи, и т. д. Взяла в Новороссийске автобус, купила все цветы, что были на базаре, но могилы мужа не нашла. Все цветы рассыпала на безымянные могилы военных лет...

Вот и все.

Дочь вышла замуж, но фамилию оставила Алексеева. Может, мать не советовала менять фамилию. Я всегда восхищался ее верностью и, честное слово, никогда больше не встречал женщины, которая бы волновалась так, вспоминая о муже спустя 25 лет после его гибели.

О ней самой — тоже пару слов.

Она одесситка. Никто из семьи не был связан с морем. Но, видать, в Одессе и такое бывает — вдруг 15-летней девчонке захотелось стать моряком. Принесла документы в мореходку. Здесь долго выясняли через Москву: а можно ли? Москва ответила — можно. Татьяна Федоровна стала курсанткой. Первой в истории Черного моря. Затем — после училища — стажерство и самостоятельная работа на пассажирском судне "Кречет". Алексеев был на нем III помощником, она — IV-м.

Вскоре они поженились.

Это был 1931 год. А в 1934-м родился сын Сергей. Он ходит стармехом на танкере "Рихард Зорге".

Рассказ капитана Агафонова

Рано утром мы выходили с Феодосийского рейда. Надо, пожалуй, напомнить, что на "Товарище" даже четырехтонные якоря поднимались

вручную, а ведь вытравливали цепь иногда до самого жвака-галса. Представьте теперь — сколько надо было затратить сил, чтобы преодолеть ветер и течение, поднять и аккуратно уложить в канатные ящики 300-метровую цепь!

Итак, 12 смычек каната — немалый груз (а все цепи весили около 40 т) — предстояло выходить из-за борта. Руководил этим всегда сам главный боцман Иосиф Адамович Хмелевский — старый опытный моряк парусного флота, любивший и знавший свое дело до тонкостей. В те времена не было моряка, который не слышал бы об Адамыче, так обычно его звали. Он занимал на "Товарище" совершенно особое место, был как бы его составной частью.

Для подъема якоря он вызвал все три вахты — почти всю команду практикантов; четверых посылал в канатные ящики — растаскивать и укладывать тяжелые звенья цепи, восемь — на брандспойт, смывать ил, а около сорока вставали на выхаживание. Оставшийся резерв был подсмеивной для уставших.

Каждые четыре-пять человек брали вымбовку — дубовую вагу — и, вставив ее в гнездо шпиля, наваливались на нее руками. А таких вымбовок было десять. Термин "выхаживать" и произошел от слов "ходить вокруг" шпиля, приводя в движение его баллер. Работа тяжелая, нудная. Когда мы начинали уставать, цоканье палов о палгун становилось все реже и реже. По этому цоканью Адамыч, не глядя на нас, а видел он уже плохо, знал, что выхаживание замедляется.

— Вижу, вижу, кто сачкует! — кричал он. — Вот погоди, заставлю его якорь точить, кнехты мушкетом осаживать! А ну-ка навались, орлы!

Ребята весело смеялись, палы снова цокали быстрее. Около двух часов продолжалось выхаживание. Как только якорь отрывался от грунта, все облегченно вздыхали, а с юта, где находился капитан, по всему кораблю разлетались слова команд, смысл которых понятен лишь тем, кто знает хитроумную науку парусного дела.

Постановка парусов много времени не занимала, но была напряженной, ответственной и не менее тяжелой работой. Вес больших прямых парусов с оснасткой доходил до полутонны при площади около 180 м². Поэтому в постановке паруса, например, нашего верхнего марселя, участвовало по 20-25 человек. Поднимали его вместе с трехтонным 20-метровым металлическим реем и всей оснасткой, выбирая марса-фал. В шуточной песенке, которую сочинили на "Товарище", говорилось, что мы "до смерти не забудем, как тягали брас и марса-фал". Брас — это снасть, которая

поворачивает рей с парусом, и "тягать" его было нелегко. Галс занимал особое место в бегучем такелаже, так как был стальным и выбирался шпилем втугую, без слабины. Им обтягивали наветренную шкаторину паруса, когда шли в бейдевинд. А всего таких парусов одновременно нужно было поставить 18, да еще 13 косых!

Руки от работы с тросами были в мозолях, а все тело поначалу болело страшно. Со временем боль в мышцах притупилась, тяжелая физическая работа стала привычной.

Итак, покинув Феодосийский рейд, "Товарищ" вышел в море, а уже к полудню ветер стих, и ход уменьшился так, что судно почти не слушалось руля. Чтобы учесть пройденное расстояние, пришлось прибегнуть к "планширному лагу", так как механический столь малую скорость не показывал. Обычно брали на камбузе полено (за что попадало от коков) или иной плавающий предмет и бросали его в воду вперед по ходу судна. Когда предмет оказывался против белой полосы на планшире в носовой части судна, замечали показание секундомера. Затем спешили к кормовой белой черте и снова смотрели на секундомер. По заранее рассчитанной таблице по времени получали скорость.

К счастью, наши широты не славятся долгими штилями, вскоре потянуло с юго-запада. Паруса стали оживать, едва ощутимое дыхание ветра вывело судно на курс, а вскоре паруса выпятили пузо и под шелест бегущих волн стали увлекать за собой тяжелый корпус корабля.

Красивое зрелище представлял "Товарищ", когда бесшумно, словно волшебный, шел под всеми парусами! Целая стена парусины обеспечивала при хорошем ветре 12-узловую скорость, а ведь большинство пароходов ходило тогда не быстрее 10 узлов. Да, было что посмотреть!

Помню, на горизонте показался какой-то пароход. Он шел вдали на траверзе левого борта, но затем резко изменил курс в нашу сторону, подойдя ближе, замедлил ход и, обойдя с кормы, пристроился на правом траверзе. Его команда высыпала наверх и оживленно приветствовала нас. Вскоре пароход лег на свой курс и скрылся.

— Зачем он это сделал? Ведь они потеряли пару часов! — спросили мы своего капитана Эрнеста Ивановича Фреймана.

— Вероятно, — сказал он, — капитан парохода не устоял перед соблазном посмотреть на нас поближе. Увидеть такое судно под полными парусами в наши дни — чрезвычайно редкое событие.

Ветер постепенно усиливался. У форштевня выросли буруны. "Товарищ" шел в бейдевинд, почти не имея бортовой качки, слегка накренив-

шись на левый борт (на 6-8°). Идти долгое время, не меняя галса, справлялась одна вахта, а две другие могли жить нормальным судовым расписанием, что особенно было важно ночью. Если же приходилось делать поворот оверштаг, играли аврал, и даже ночью спокойного сна никому не полагалось — таковы уж условия службы на паруснике! С поворотами на попутных курсах чаще всего справлялась одна вахта. Спящих не будили, но они должны были сменить изголовье, так как менялся крен. Специальной команды на этот счет не подавалось, но ребята быстро научились "разворачиваться", даже не просыпаясь. Утром по этому поводу можно было услышать недоуменные размышления: "Ложился головой к борту, а встал — к переборке. Интересно, когда же был поворот?".

Ветер все крепчал. "Товарищ" усердно отвечивал поклоны морской стихии. Он то врезался своим громадным форштевнем в воду до самого бушприта, то вздымался так, что белые вершушки волн и серые спинки чаек становились видны с высоты четырехэтажного дома.

Только к вечеру ветер стал заходить и слабеть. Мы шли крутым бейдевиндом левого галса прямо на обрывистый крымский берег. В лучах заходящего солнца казалось, что горы сами наваливаются на корабль. Это зрелище стало тревожить многих новичков. "Почему капитан не объявляет аврал? — спрашивали они друг друга. — Ведь мы, того и гляди, врежемся в скалы".

Но прошла еще одна томительная минута, прежде чем спокойный, ровный голос Эрнеста Ивановича оповестил, что время играть аврал. В тот же миг засвистели дудки, послышался звонкий голос старпома Дворовенко. Четкие, отточенные в каждом слове команды, — и корабль стал похож на муравейник, кишачий белыми парусиновыми робами курсантов. Все 190 человек впились в рукоятки двух огромных штурвалов. Сейчас начнется маневр!..

"Товарищ" сначала рванул вправо. Жутко было смотреть, когда, взяв больше ветра, он увеличил ход, идя прямо в берег. Но еще через мгновение судно круто пошло влево — пересекать линию ветра. Как флаги, заполоскало кливера по ветру, "Товарищ" развернулся всем бортом к берегу и замедлил свой бег, еще секунда — и он лег на новый галс. Паруса наполнил ветер уже с правого борта и, набирая ход, "Товарищ" удалился в море. Позже мне объяснили, что наше беспокойство перед поворотом было напрасным, ибо до берега оставалось не менее двух миль — так обманчиво расстояние с моря при подходе к высоким берегам.

Чем дальше уходим в море, тем сильнее ветер, выше волны. Идти в

бейдевинд стало тяжело. "Товарищ" увалился под ветер, оставив на реях одни марселя. Чтобы убрать паруса, работали на высоте до 40-45 м. Крен достигал 12-15°, так что палуба оставалась где-то в стороне, а под ногами кипели гребни волн. Чтобы не сорваться в воду, приходилось держаться за стальной леер, идущий вдоль рея. Можно было просунуть руку по локоть в штормовые кольца, закрепленные за рей, но это мешало работать, поэтому ими почти не пользовались. Ноги стояли на пертах — это стальные оклетневанные тросы, идущие примерно на метр ниже рея.

Если кто-нибудь выходил на работу к парусам, забыв коротко остричь ногти, то дальше он уже никогда этого не забывал: обломанные до крови ногти запоминались.

Ночью волнение и ветер усилились еще больше. Из-за шума и свиста мы почти не слышали друг друга. Судно шло со скоростью 11-12 узлов. Порывы ветра кренили его так, что порою с наветренного борта вода захлестывала на палубу. В этот момент мы слышали странный звук, напоминающий далекий взрыв. Оказалось, верхний марсель второго грота лопнул, разлетевшись на несколько частей. Его останки вместе с тросами и цепями неистово бились по ветру, сокрушая другие снасти и паруса. Больше всего доставалось нижнему марселю, еще мгновение — и от него остались только клочья. Требовалось срочно приостановить эту цепную реакцию. Подойти к остаткам марселей по вантам было опасно, но все же руководимые Адамычем курсанты смогли обуздать разъяренные полотнища...

Море богато контрастами. К утру шторм стал слабеть, а к полудню через облака проглянуло солнце. Только волны да жалкие клочья парусов, в беспорядке принайтованные к рангоуту, напоминали о тяжелой ночи. А к вечеру море успокоилось.

В минуты затишья самым оживленным местом становился полубак; здесь всегда о чем-то спорили, часто пели — больше всего, естественно, про море да корабли. Иногда радист, вдоволь натерпевшись-наслушавшись нашего пения, включал музыку, находились тогда плясуны и танцоры.

После отбоя всякое хождение по судну само собой прекращалось: свободные от вахты спешили в кубрик, ведь утром в шесть часов боцманская дудка и звуки горна предложат покинуть теплую койку. Это была самая противная дудка — она звала драить палубу до блеска с песком, с голиком или отжимкой в руках, под струей холодной забортной воды. Однако дружный выход на палубу вскоре стал делом привычным и проходил всегда весело. Этому немало способствовал Адамыч со своими прибаутками. Так, однажды утром, когда распределялась работа, он совершенно серьезным тоном сказал перед строем курсантов:

— Мне нужно пять грамотных ребят с хорошим почерком, работа не пыльная, кто желает — шаг вперед.

Пятеро самых "сообразительных" вышли вперед в ожидании легкой работы, а боцман вручил им голики и под громовой хохот всего строя пояснил: "Будете расписываться по палубе около струи". После этого никто легкой работы не искал.

Ясно, что палуба драилась не только ради чистоты и не только для того, чтобы не рассыхалась от солнца, — это было нечто вроде ритуала, оставшегося со старых времен.

Брандспойт с помпой, на котором работало шесть-восемь человек, понемногу переносили вдоль борта. В обязанности шланговых (их называли "заломовые") входило и следить за "заломами" шланга, и переносить заборный шланг, и просто быть на подхвате, под рукой у боцмана. Одновременно с палубой мыли или скатывали надстройку, а потом драили — до золотого блеска — медь. Эта ежедневная работа происходила до подъема, после которого был завтрак...

Когда до входа в Новороссийскую бухту оставалось 9-10 миль, на горизонте показались два дымка. Это были буксирные пароходики-труженики, которые помогают большим кораблям входить в гавань и становиться к причалу. Вскоре они приблизились и, развернувшись, легли на параллельные курсы. Их капитаны запросили Эрнеста Ивановича: "Каковы ваши просьбы?" Тот ответил: "Держитесь рядом". "Товарищ" уверенно двигался ко входу, но чем ближе мы подходили к воротам порта, тем меньше оставалось парусов на мачтах. Вначале были убраны бомбрамсели, затем брамсели и нижние паруса. Мы шли под одними марселями, а буксиры в ожидании приказаний следовали в кильватер за нами. "Товарищ" спокойно прошел узкий проход между молами, повернул к подготовленному для него причалу и взял оставшиеся марселя на гитовы и гордени.

Большому паруснику, не имеющему машины, совершать подобные маневры нелегко, и считалось это большим искусством. Капитаны буксиров оценили наш вход в бухту по достоинству. Услышав гром якорей "Товарища", они запросили: "Нужна ли помощь при швартовке?". Разумеется, Эрнест Иванович ответил: "Вы свободны".

Швартовка и уборка парусов заняли менее часа. И вот "Товарищ" уже стоит кормой к берегу, держась двумя носовыми якорями за дно бухты, как швартуются только военные корабли. Надо сказать, что не только обычай швартоваться, но и все порядки на судне были заведены, как на

военном корабле. Это шло еще с тех пор, как "Товарищем" командовал Дмитрий Афанасьевич Лухманов.

Тех, кто впервые подымался на борт "Товарища" поражали идеальный порядок, чистота, дисциплина. Палуба была настолько чистой и белой, что казалась совершенно новенькой, кофель-нагельные планки сверкали лакировкой, медная облицовка горела. Как на военном корабле, готовились к подъему и спуску флага. Каждые полчаса отбивали склянки. Команда несла вахты и назначалась в наряды. Ежедневно объявлялась форма одежды, а появление на шканцах без формы не разрешалось. Дневальные и рассыльные носили боцманские дудки и "рцы". Сигналы дудок выполнялись как приказы.

Много лет прошло с тех пор, но я прекрасно помню эту морскую практику на "Товарище". Во время Великой Отечественной войны я служил на Северном Флоте и о судьбе "Товарища" мне ничего не было известно. Уже после войны я узнал, что он был разрушен попаданием нескольких авиабомб и затонул. Становой якорь "Товарища", установленный в городском парке г. Жданова, остался вечным памятником кораблю, на котором прошло школу целое поколение моряков.

Баллада о юнгах с "Товарища"

Уж кливера под ветром не звенят
В последний раз осмотрен такелаж.
Оставили "Товарищ" свой ребята —
На фронт ушел курсантский экипаж.
Их видели защитники Одессы
И огненного Крыма берега,
Прославленные скалы Херсонеса,
Десанты прямо в логово врага.
Сейчас там обелиски, где когда-то
Стояли насмерть на клочке земли
С бессмертного "Товарища" ребята,
Где с боем швартовались корабли.
Вздохнуло море от разрыва тяжко,
Над палубой пронесся смертный крик...
К ногам мальчишки в старенькой тельняшке
Матрос, рыдая, крепит колосник.
Команды посуровевшие лица,

Да всплеск воды за темною кормой...
Мальчишке никогда не возвратиться
Ни в мореходку больше, ни домой.
Его еще девчонка не любила,
Он знал лишь моря ласку и привет:
В шестнадцать лет — матросская могила,
Где ни крестов, ни памятников нет.
Над Черным морем нежные закаты
И песня улетает в небеса
Про тех, кто не вернулся в сорок пятом,
Про алые от крови паруса.

Александр ШАРУПИЧ

Барк "Товарищ" и парусник "Секрет"

Южный Крест там сияет вдали,
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня Корабли,
Да помилует нас.

А. ГРИН

Конечно же вы помните встречу Ассоль и капитана Грея. Кто же может позабыть то дивное ощущение счастья, когда мечта встречается с мечтой. Как же, как же, конечно! Так давайте еще раз отправим свое сердце на ту встречу.

Итак, Ассоль, дочь моряка Лонгрена с брига "Орион" живет в ожидании чуда, предсказанного ей сказочником Эглем. В Каперне, деревушке на берегу моря, никто, кроме нее, чуда не ждет. Надо полагать, что у них нет души, а поэтому все эти выдумки с кораблем под алыми парусами, им, занятым земными заботами, ни к чему. Девушка кажется им чокнутой. Мало ли на белом свете сумасшедших — одной больше, одной меньше, какая разница. Да и сам Лонгрен подлил масла в огонь, когда из чувства мести отказал лавочнику Менересу в помощи, из-за чего тот едва не погиб в штормовом море. Лонгрен опомнился, признался дочери в том, что его "черная метка" едва не погубила жизнь человека. Но это было запоздалое раскаяние.

Писатель Александр Гриневский и сам не раз оказывался в ситуациях,

когда вольно или невольно служил злу. Самым постыдным для агитатора партии эсеров Александра Гриневского было косвенное участие в бунте на крейсере "Очаков", но об этом я расскажу позже. Сейчас же вернемся к Ассоль. Она читает какую-то книгу, "но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами.

Она вздрогнула, откинулась, замерла; потом резко вскочила, с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. "Секрет" в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта; негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка; музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно известными всем словами: "Налейте, налейте бокалы и выпьем, друзья, за любовь...". Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события...".

Пусть Ассоль бежит, беспомощно протянув руки к высокому кораблю. Ей надо добежать в "теплое колыхание волн" и крикнуть: "Я здесь! Я здесь. Это я!".

Признаться, я, начиная разгадывать тайну "Товарища", надеялся на нечто похожее, "гриновское". Увы, события на паруснике "Лауристон" ("Товарищ") развивались совсем по иному сценарию.

Вернее сказать — начиналось все для экипажа и 139 курсантов Архангельского, Херсонского, Одесского морских техникумов прекрасно. После первого курса шестнадцати- и семнадцатилетние подростки ушли в трехмесячное учебное плаванье. Черное море ласково приняло их самих и благосклонно слушало их щебетанье на полубаке. Знаменитый боцман Адамыч назвал отличившихся "чали-моряк". Непонятно, но из уст Адамыча звучало интригующе. Скорее всего, "чали-моряк" — это искаженное "чилдрен", дети. Как бы там ни было, рейс был наполовину сбывшейся мечтой — они на палубе знаменитого парусника! Их капитан Алексеев — орденосец, не просто воевавший в Испании, но и помогавший вывезти в Союз золотой запас республиканцев. Испанцы хорошо заплатили Сталину за тех, "кто хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать". Александр Шарупич, паренек из Минска, был чист душой, как все они, идейные защитники завоеваний Великого Октября. Много позже доктор философии А. Шарупич, преподаватель одного из вузов Минска, признается мне, что постижение им правды истории затянулось, о чем он очень сожалел. Однако это отдельная и не моя тема. Оставим ее.

"Товарищ" вышел из Одессы 13 июня.

На рассвете 22 июня барк вошел в порт Новороссийск. Отшвартовался. Боцман Адамыч самолично выбил стопор из якорной цепи. Парусник крепко зацепился за земной шар. Вахтенный отбил склянки.

Было в мире ровно 4.00.

Самолеты Люфтваффе уже находились в воздухе. Юнкеры первой волны сваливались в пике.

Война!

В своем стихотворении "Баллада о юнгах с "Товарища" очень точно передал собственное ощущение того времени. Всех их, юнг, определили матросами на пароходы. Многие попали в морскую пехоту. Девушек-курсанток подобрали госпиталя, медсанбаты, санроты — все, что требовало самоотверженности и милосердия.

Саша Шарупич так и не увидит больше своего капитана. Алексеев в первый же день войны получит назначение в лоцманскую службу военноморской базы Новороссийск. К нему примчится обезумевшая от страха за жизнь мужа Татьяна. Немецкий летчик выследит их любовь. Бомба с Ю-87 расколется лоцманский катерок. Алексеева можно было бы спасти, окажись рядом нужные врачи. Специалисты-хирурги находились в Геленджике. Машины туда для капитана, который привез стране трюмы золота, не оказалось.

Невозможно понять и логики перевода "Товарища" из Новороссийска в Мариуполь. Чего туда, а не в Батуми или Сухуми? Казалось бы, думая о спасении барка, надо было бы вперед, подальше от наступающего врага, а не совать под нос в Мариуполь. Но какая логика на войне?! Какая могла быть мудрость среди общей паники, забросившей за считанные месяцы "непобедимую и легендарную" Красную Армию к берегам Волги под Сталинград?

Первые месяцы с начала войны отмечены особым трагизмом. Миллионы военнослужащих, попавшие в плен, были объявлены "врагами Родины". Приказ № 270 от 16 августа 1941 года, делавший их таковыми, имел длительное действие. Сам Сталин — безусловный виновник сокрушительных поражений — себя предателем не считал. Более того, позвонив генералу Коневу на Западный фронт, он выкрикнул в телефонную трубку:

— Товарищ Сталин не изменник, товарищ Сталин честный человек, вся его ошибка в том, что слишком доверился кавалеристам...

Одним из таких кавалеристов был маршал С. Буденный. Одно время он командовал Южным фронтом. Это о нем пели:

Буденный — наш братишка,
С нами — весь народ!
Приказ — голов не вешать,
А идти вперед!..

Под Моздокм лошадиный маршал бросил на танки Клейста несколько кавалерийских дивизий. Темные квадратные бурки, башлыки с алым верхом, шашки наголо. Немецкие пулеметчики рыдали от восторга — таких крупных мишеней они никогда не видели. Было и другое, похожее, — переправа вплавь на конях через Керченский пролив. Сколько там наших полегло, никто не считал!

Семена Михайловича я видел дважды. Первый раз в "эмке" на мосту через Сунжу посредине города Грозного осенью 41-го и в середине 80-х на съезде ВЛКСМ. Последняя встреча запомнилась особо. Одряхлевший герой стоял на трибуне, выкрикивая речь о преемственности боевых традиций партии и народа, затем гикнул и, схватив припасенную шашку, направился в зал. Передний ряд вздрогнул. Секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников сорвался со своего места в президиуме и успел поймать рубacu за фалды мундира. Газеты писали, что состоялась "передача эстафеты" поколений.

Юнга Шарупич, чьим домом стал пароход "Калинин", тоже имел отношение к "кавалеристам" — однажды пришлось перевозить кавдивизию. Отстояв вахту, юноша спустился в трюм. "Низ трюма находился глубоко под водой, — вспоминает Шарупич. — Мутный свет переносной лампочки-летучки, прикрученной к скобе трапа, едва освещал спокойно жующих и не ведающих, что они находятся под поверхностью воды, лошадок. Там, на берегу, их ждала тяжелая работа и так же, как людей, караулила смерть. Я погладил по загривку бурого мерина. Как бы в благодарность за ласку, тот ткнулся мокрыми губами в мои ладони. Быстро сбежав в каюту и прихватив весь мой двухнедельный запас сахара, снова спустился в трюм".

Воспоминания тоже могут быть родиной. Разные лики являют мне прожитые годы. О звонке Сталина Коневу с лукавыми объяснениями в адрес "кавалеристов" мне рассказал Константин Симонов, как бы в ответ на мою давнюю записку во время встречи в Киевском университете. Подробнее о своем отношении к Сталину К. Симонов расскажет в книге "Глазами человека моего поколения", которую Маша, дочка Константина Михайловича, подарит мне в 1991 году в редакции "Советской культуры", где мы оба работали. Но в данном случае все это присказка. Сказка тоже

печальна. Покамест юные моряки с "Товарища" воевали, само судно до второй половины сентября стояло возле пятого причала Новороссийска.

Бывший матрос с него, Григорий Семенович Гусак, откликается в начале 80-х годов письмом с характерным заголовком "Мариупольский позор". По его версии, барк был сдан немцам умышленно 9 октября 1941 года. Винол он Куцепалова, Лялекова, Лутаева. Так ли это на самом деле — судить не берусь. Дело "об измене Родине" Куцепалова обещают раскрыть в 2012 году. Тогда, очевидно, можно будет восстановить картину событий тех лет. Правда, если у кого-либо возникнет интерес к этой теме. Сомнения гложут меня еще и потому, что в огне той войны сгинуло столько людских жизней, что какой-то барк, а проще говоря, железная лохань с полутора десятком моряков на борту, могла навсегда кануть в Лету. Но мне почему-то кажется, что Природа припасла нечто, умеющее хранить тайны самой давней давнины. Я имею в виду — Воду. Когда-нибудь люди научатся читать информацию, в ней заключенную, и тогда, может быть, кому-то западет в душу сказочное видение парусника на горизонте. Слова на самом деле обладают материальной силой: придет черед — и слово "Лауристон" прорастет в чьем-то сознании. На всякий случай, для того, кто возьмется пройти курсом "Лауристана" — "Товарища", сообщаю несколько ранее неизвестных фамилий, присланных Григорием Гусаком из Таштагола, где он до недавнего времени жил по улице Октябрьской, 42, кв.19. Бывший стажер с барка вспомнил отрывок из "Судовой роли":

Евгений Викторович Куцепалов, капитан.

Алексей Михайлович Лутаев, механик.

Антон Федорович Евангелиста, инструктор первой вахты.

Сергей Голубятников, боцман.

Иосиф Адамович Хмелевский: боцман, 70 лет, ушел на шлюпке из Мариуполя в Ейск, оттуда в батумскую мореходку, где и умер в возрасте 82 лет.

Борис Леонович Хораш, старшина первой вахты.

Павел Павлович Патер, инструктор первой вахты.

Иоконемос, инструктор первой вахты.

Жан Степанович Журавский, старшина второй вахты.

Александр Юдин, старшина третьей вахты.

Михаил Козловский, матрос.

Андрей Мороз, матрос.

Пономарев, матрос.

Петр Петров.

Баранецкий, матрос.

Гусак Григорий Семенович, практикант второй вахты. Ушел из Мариуполя на буксире "Кальмиус" под обстрелом немецких танков, стрелявших с причалов Угольной гавани.

Елена, кок.

Николай, Костя, коки.

Варвара Тихоновна, буфетчица.

В основном все они жители Одессы.

Известно также, что Е. Обертас, впоследствии знаменитый капитан дальнего плавания, преподаватель мореходки во Владивостоке, вместе с группой матросов с "Товарища" перешел на недостроенный пароход "Ульянов", и все они избежали плена. В Москве я разыскал бывшего уполномоченного Черноморского флота, который руководил эвакуацией Мариупольского порта, В. Полковского. Он рассказал: "8 октября я прибыл в Мариуполь из Одессы. В моем распоряжении оставались считанные часы: враг быстро подходил к городу. Стали освобождать порт от самоходных судов, взрывать оборудование порта. Капитан порта В. Вакуленко перешел на катер "Кальмиус". Вместе с ним мы подошли к борту "Товарища". Приказал Куцепалову забирать документы, подготовить судно к затоплению и ждать нас. "Товарищ" стоял на канале, ведущем к заводу "Азовсталь". Когда стали стрелять танки, мы спрятались за "Товарищ". Палуба его была пуста. Где Куцепалов? Я терялся в догадках. Смеркалось, поднялся сильный ветер. Наш "Кальмиус" был переполнен беженцами. Надо было уходить в открытое море. Так мы и сделали. Позже прошел слух, что сдачу "Товарища" немцы снимали на кинолентку и показывали в Германии..."

Может быть, все так и было. Повторяю, может быть, поскольку из тех писем, что пришли ко мне, ясную картину событий, разыгравшихся 9 октября в Мариупольском порту, представить трудно. Ясно одно — экипаж барка постигла та же беда, какая ужалила миллионы людей, оказавшихся в плену. Отношение к ним было определено приказом № 270. Пленный — значит враг, изменник, предатель. Нет, вы еще раз послушайте, что кричит вождь генералу Коневу:

— Товарищ Сталин не изменник...

Будет о Сталине.

Вернемся к юнге с "Товарища" Александру Шарупичу. Как самую великую драгоценность юноша бережет чайную ложечку с монограммой: Д. Л. — Дмитрий Лухманов. Капитан Лухманов, снаряжая барк в дальнее плавание, помимо всего прочего заказал к чайному сервизу в кают-компа-

нии несколько сотен именных серебряных чайных ложечек. Они разошлись на сувениры. Свою ложечку Шарупич получил от Адамыча в Батуми в 1942 году и сохранил ее до конца войны. Мы совсем было сговорились с ним о randevu в Одессе, но тут грянул 1991 год. Пространство личной дружбы тоже распалось...

Однако я о другом. Пора вернуться к "Алым парусам" Александра Грина. Конечно же, юноша из глухомани, попав в Одессу, много чего повидал. И, как многих, его пленили парусные суда. Я не знаю, какое именно вошло в душу будущего писателя. Важно — какое вышло. А "вышел" парусник "Секрет".

— Александр Степанович! Я знаю, что Вы не любите кое-каких подробностей из своей биографии. Недаром ведь свою "Автобиографическую повесть" Вы написали зрелым человеком. И все же, ради всех святых, простите меня, мне трудно писать об этом, но без этого нам не сдвинуться с места.

Начнем.

Александр Куприн и Александр Гриневский познакомились в Севастополе поздней осенью 1905 года. Эсер Гриневский был тогда влюблен в Екатерину Бибергаль, тоже эсерку. Гриневский был особенно хорош как агитатор. Он хвалил Стеньку Разина, Емельку Пугачева, призывал к бунту матросов и солдат береговой артиллерии.

Бунт состоялся. Возглавил его безумец лейтенант Шмидт. Об этой истории почти все давным-давно известно.

Тайной осталась привычка Гриневского, тогда уже Александра Грина, напиваясь в кабаке возле Поцелуева моста, строить на селечнице из спичек остовы корабликов. И, залив водкой, поджигать. Иногда при этом ритуале присутствовал Куприн. О бунте на крейсере "Очаков" оба они предпочитали не говорить. Куприн-свидетель, Грин-соучастник. Зачем беречь душу!

Спичечные кораблики на селечнице горят медленно. Грин смотрит в синее пламя, а перед глазами — пылающий крейсер "Очаков". Он толкнул туда, на раскаленную палубу, людей. И вот из чувства вины и покаяния рождаются первые строчки "Алых парусов".

Покаяние — их гавань.

Как-то я попытался разобраться, в чем различие эсеров и большевиков. Оказалось — в сущей малости: первые были за индивидуальный террор, вторые — за массовый!

Человек, одетый в озноб, или Почему Александр Грин отказался провожать барк "Товарищ"

Как томик Грина,
За окном Мургаб
Все запускает в потолок
Мне лунный зайчик.
Ренат Исмаилов

Александр Гриневский, юноша из провинциальной Вятки, приехал в Одессу с одной мыслью — стать моряком. Прямо с вокзала, попетляв по незнакомым улицам, он, наконец, подбежал к волнам, ласкавшим к берегу.

— Здравствуй, море! — сказал подросток, храбро погружая болотные сапоги-ботфорты в ласковую синеву.

— Здравствуй, море! — крикнул он еще раз, зачерпнул обеими ладонями волну и подбросил ее вверх.

Когда глаза его ослепли от тысячи радуг, заключенных в капельках моря, он опустил их и прозрел: метрах в двадцати от того места, где он стоял, у Практической гавани, отдыхал парусник "Великая княжна Мария Николаевна". Принадлежит парусник Одесскому училищу торгового мореплавания.

Мальчик в нелепых сапогах с еще более нелепой рогожевой кошелкой, в которой среди белья, рядом с початой пачкой табака лежат краски для рисования экзотических берегов Ганга и фарфоровая чашечка — память о маме, умершей от туберкулеза. Пуще всего Саша бережет фарфоровую безделушку. Когда ее украли со всем другим нехитрым скарбом, он горевал так сильно, что едва не оказался в лечебнице для "людей со сломленными душами".

Море, парусник, Одесса... Осталось немного — поступить в мореходку. Однако прием учащихся был закончен. Он опоздал всего на три дня. И не стал однокашником многих великих капитанов дальнего плавания, в том числе и Александра Маринеско.

Впрочем, стать моряком ему тоже не было суждено. Причин тому много, но может быть, самая главная заключается в том, что юноша "не понравился морю"! Худющий, узкогрудый, нетерпеливый, самолюбивый, склонный к истерикам и, как утверждают почти все его биографы, нелю-

димый — такому нет места на корабле. Там не нужны вспышки нервных сил. Там нужна плавная рассудочность. Однако не верьте на счет нелюдимости. Она возникнет много позже и будет связана с тайной Александра Грина.

Следует помнить, что свою "Автобиографическую повесть" Грин писал взрослым человеком. Это далеко не документалистика. Грин местами умышленно то наговаривает на себя, то на отца, то уходит от важных вопросов, связанных с теми или иными эпизодами своей жизни. Так было "надо". Писатель Грин как бы заметал следы своего четырехлетнего пребывания в партии социалистов-революционеров сначала от царской охранки, а позже от ЧК. "Нелюдимость", "угрюмость", "необщительность", как мне кажется, маски.

Человек, любивший не просто выпить, но и загулять и на день, и на трое суток, не мог быть "букой". Он станет таким особенно после Октябрьского переворота. Новая власть тщательно уничтожала своих оппонентов по политической борьбе. Эсеры в тех проскрипционных списках значились под номером первым.

Смею утверждать, что выбор псевдонима "Грин" был связан со страхом быть избалованным в своем давнем пристрастии к эсерам. Думаю также, что бросок в Феодосию из Питера был также продиктован все тем же страхом. Отсюда, как мне кажется, его стремление забиться от властей подальше. Еще лучше, чем Феодосия, подходит Старый Крым. Думаю также, что необщительность Грина была связана с сознательной отчужденностью от людей: он боялся за них, за их возможное наказание лишь за то, что они были с ним знакомы. Грин бежал от людей во имя их же блага! Он никого не хотел подставлять! Примеров подстав такого рода — пруд пруди.

Иначе говоря, Александр Степанович являл своим поведением высшую степень порядочности!

Думаю, что ему очень хотелось побывать на "Товарище". Такая возможность вдруг открылась летом 1922 года. Константин Паустовский в "Книге скитаний" рассказывает, как однажды в редакции газеты "На вахте" появился Грин. Впрочем, слово Константину Георгиевичу: "Грин был высок, угрюм и молчалив. Изредка он чуть заметно усмехался, но только одними глазами — темными, усталыми и внимательными. Он был в глухом черном костюме, блестящем от старости, и черной шляпе. В то время шляп никто не носил..."

Сотрудники газеты суетятся, обмениваются репликами, не переставая

наблюдать за Грином. Его здесь хорошо знают. Никто не сомневается, что Грин примет предложение редакции отправиться спецкором в Петроград на проводы учебного парусника "Товарищ" ("Лауристон"). И вдруг ответ Грина:

— Нет! — твердо ответил Грин. — Я болею. Мне нужно совсем немного, самую малую толику. На хлеб, на табак, на дорогу...

Удивительна речь Грина. Человек, который обожал "жизнь приключений", отказывается от этих приключений! Да, конечно же, деньги ему нужны, но это только часть правды. Мотив отказа, как мне кажется, куда как глубже. Скорее всего, дело тут в том, что Грин опасается привлекать к себе внимание. Проводы "Товарища" — массовое зрелище. Соберутся репортеры, фотокорреспонденты, возможны интервью. Нет, нет. Никакой рекламы. Безвестность — его укрытие. Николай Тихонов, приятель по Петрограду, поздравит с днем рождения и юбилейной датой со дня начала творчества. Он загадочно скажет жене Нине:

— Это хорошо, что один вспомнил!

И еще штрих: после нескольких месяцев молчания Горького Грин перестает ему писать. Он словно догадывается, что письма пролетарскому писателю тщательно прочитывает жена сына Максима — сотрудница ведомства Ягоды. Коль же письма проскакивали мимо стукачки, то они все равно попадали к стукачу на жаловании НКВД — личному секретарю Алексея Максимовича...

...Примечательно, что в творчестве Грина нет ноток восхваления существовавшего режима. Это тоже опасно. Смертельно опасно: ибо сказано его приятелем Максимом Горьким: "Тот, кто не с нами, тот против нас". Окончательно формула неприязни звучит еще более зловеще: "Если враг не сдается — его уничтожают". Фраза Горького как бы заменила правовую норму. Произнесенная в чей-либо адрес, она становилась смертельным приговором. У романтика Грина был собачий нюх. Бывший эсер, порвавший со своими соратниками, Грин прекрасно ориентировался в приливах и отливах политической ненависти власти к своему народу. Выдумка — стала его миром, где на самом деле жила его душа, "потаенная свобода", по выражению Пушкина, уводила его то в Покет, то в Зурбаган, то в Лисс...

Когда же вдруг судьба предложила ему трап парусника "Товарищ", то он нашел вполне правдоподобное объяснение, чтобы отказаться. Он действительно был болен, ниц, но, повторяю, не настолько, чтобы только по этим причинам отказаться от восторга — вида поднятых парусов. Ассоль

уже родилась в его воображении, корабль для нее он найдет в другом месте.

Интересно, что парусник "Мария Николаевна" по своему классу был чайным клипером, а значит — родственником "Катти Сарк". Построен он был в 1866 году знаменитым мастером чайных клиперов Робертом Стилем в городе Гриноке. Почти двадцать лет "Хесперус", таким было его первое имя, стоял на шерстяной линии Лондон — Мельбурн. В 1899 году Россия купила его за 9 тысяч фунтов стерлингов, и стал он "Марией Николаевной". На этом клипере обучали морскому искусству торговых моряков. Первым капитаном на нем был выдающийся военный моряк, капитан второго ранга П. Балк, а затем Д. Лухманов. О нем, в частности, рассказывают такую историю. Лухманов любил шлюпочные гонки. Выглядело это так: с кормы выстреливался длинный бамбуковый шест, на конце которого укреплялся колокольчик. Надо было так провести шлюпку под парусами, чтобы, "срезая" корму судна, слегка зацепить вантой шест. Звенел колокольчик, что означало "благодарность" капитану за честь служить под его началом на прекрасном паруснике! Остается добавить, что чайный клипер "Мария Николаевна" в 1913 году оказался на Балтике. С той поры его никто и нигде не видел.

Также издалека, не ступив на его палубу, Александр Грин увидел и другой венценосный парусник — "Великая княгиня Ксения Александровна". Волею судеб этот барк оказался на Каспийском море. Будущий писатель искал и там свою судьбу. Однажды он увидел "Ксению Александровну", но никто из экипажа не стал и разговаривать с бомжем Гриневским. Они расстались: судно и человек. В книге В. и П. Митрофановых "Школа под парусами", изданной в Ленинграде в 1989 году, рассказано множество потрясающих историй о морях и их кораблях. О барке "Ксения" тоже есть немало волнующих страниц. К примеру, такая: построен он был не за границей, как водилось, а на Сормовском заводе российскими корабелями. "Волжанина" перегнали в Каспий для нужд мореходных учебных заведений. Астрахань — Баку — Махачкала... Сновали по вантам курсанты, отбивали вахтенные склянки, летели годы. Из Каспийского моря барк попадает на ремонт в финский порт Турку. Ремонт длится невероятно долго. Наконец было принято решение отправить "Ксению" в Одессу. Переход вокруг Европы. Первая мировая война. "Ксению" задержали в одном из портов Греции. Белогвардейцы дали барку новое имя — "Свобода". Команду составили гардемарины Морского кадетского корпуса, спасавшиеся от власти большевиков. Вскоре "Свобода" оказалась в озере Бизерта вместе с другими кораблями бывшего военного флота России. Где-то в начале 1921

года парусник получил еще одно новое имя — "Моряк". Обосновавшаяся в Бизерте колония российских моряков решила обучать своих детей морскому делу. Андреевский флаг на его реях поднимался до осени 1924 года. Затем парусник был отправлен на слом в Мензель-Мургибе.

И еще утекли годы.

Однажды мой приятель по "Комсомольской правде", блестящий писатель-маринист Николай Черкашин побывал в Бизерте. Потомки русских моряков все еще живут там. Из останков кораблей бывшего Черноморского флота они построили дома, лавочки, гаражи. На сооружение церкви пошел материал с крейсера "Очаков" и дерево с "Ксении".

Церковь Николая Чудотворца, покровителя моряков, открыта для всех желающих. На двери ее — бескозырка с "Очакова" и кусок полотнища Андреевского флота.

Когда-то очень давно юноша Гриневский встретил на Раздерихинском спуске в Вятке двух моряков, на бескозырках которых было написано: "Севастополь", "Очаков". Саша пошел по этой дороге и прожил на ней всю свою жизнь.

Как это было

В летнюю навигацию 1941 г. "Товарищ" должен был сделать два учебных рейса с практикантами мортехникумов, которые были разбиты на две смены. 13 июня 1941 г. судно вышло из Одессы с первой сменой практикантов. Командный состав был следующий:

капитан — Алексеев
старпом — Куцепалов
2-й помощник — Обертас А.И.
3-й помощник — Корзун Н.Н.
4-й помощник — Сергеев Л.И.
инструктор — Евангелиста
помполит — Лялеков
старший механик — Лутаев
боцман — Хмелевский И.А. (ему было около 70 лет)
нач. рации — Шевченко.

На борту была одна женщина — буфетчица. На "Товарище" не было машины, но стоял паровой котел, который давал пар для отопления жилых помещений и для палубных грузовых лебедок (лебедки паровые), и движок вырабатывал электроэнергию для освещения. Поэтому на

судне был стармех. Перед рейсом была установлена новая радиостанция, но смонтировать ее не успели, и в первые дни рейса радиосвязи судно не имело.

Поэтому о начале войны команда узнала, только когда вечером 22 июня судно пришло в Новороссийск. В пути никаких вражеских лодок, кораблей и самолетов не наблюдали. Когда судно пришло в порт, над ним прошли первые немецкие самолеты. Сразу же после швартовки капитан Алексеев передал командование старпому Куцепалову, так как был мобилизован. На следующий день был мобилизован 3-й помощник Корзун. Произошла передвижка:

капитан — Куцепалов
старпом — Обертас
2-й помощник — Сергеев
3-й помощник — Евангелиста.

Прибывшая через несколько дней Сергеева Л.Д. (жена Сергеева Л.И., но она тогда носила девичью фамилию Михалева), стала дублером 3-го помощника по судовой роли. Все практиканты были сразу списаны с судна и мобилизованы.

В течение июля-августа "Товарищ" находился в Новороссийске, т. к. не было указаний о том, куда перегнать судно. К Куцепалову и Обертасу прибыли жены с детьми, успевшие эвакуироваться из Одессы. Семья Лутаева не выехала из Одессы.

Новороссийск начали бомбить. Куцепалов посылал запросы в ГУУЗ, в Москву, и наконец получил указание перегнать судно в Мариуполь, который считался глубоким тылом. Было решено под парусами не идти, т. к. парусник с полным вооружением являлся хорошей мишенью для врага. 28 августа началась буксировка "Товарища" в Мариуполь. Буксир вел судно под прикрытием берега вдоль Таманского полуострова.

Переход длился неделю. В пути, в соответствии с приказом, велось разоружение судна, т. к. считалось, что Мариуполь — тыл, и там судно перестойт, пока идет война. Был убран такелаж, спущены стеньги.

В Мариуполь прибыли 3 сентября и продолжали разоружать судно. Работа эта велась 10 дней и, когда ее закончили, Куцепалов объявил о том, что получил новое распоряжение — перегнать судно на противоположный берег в район Ейска. Но сделать это было уже невозможно — буксиров не было, судно без вооружения стало беспомощным. А фронт приближался. (Быть может, полное разоружение судна — это работа Куцепалова, Лялекова и Лутаева, заранее сговорившихся сдать судно немцам?)

Судно стояло у пирса, команда фактически пребывала в полном безделье. Ловили рыбу, собирали фрукты в брошенных садах Мариуполя. Правда, после некоторого промедления начали снова вооружать судно. 25 сентября Обертас получил назначение капитаном на недостроенный теплоход "Ульянов", стоявший у причала Мариупольских верфей. Он пригласил Л.И. Сергеева на должность старпома, а Л.Д. Сергееву (Михалеву) — 2-м помощником. Е.А. Обертас была зачислена палубным матросом (на "Ульянове" 5 или 6 матросов были женщины). На "Ульянов" перешли еще три матроса. Остальные продолжали оставаться на "Товарище".

О последних днях барка уже после войны рассказал Обертасу бывший радист "Товарища" Шевченко. В начале октября в город входили немцы. Мелкие суда всех оставшихся в порту вывозили на другой берег, к Ейску.

Все, кто оставался на "Товарище", заранее собирали вещи, чтобы при первой возможности покинуть судно.

К борту "Товарища" подошел буксир, чтобы снять команду. Все перешли на буксир, кроме Куцепалова, Лутаева и Лялекова. Их звали, но они отказались. Когда буксир отходил, они стояли на палубе на юте, и Куцепалов вслед помахал рукой. Вот и все. Уходящий буксир немцы стали обстреливать.

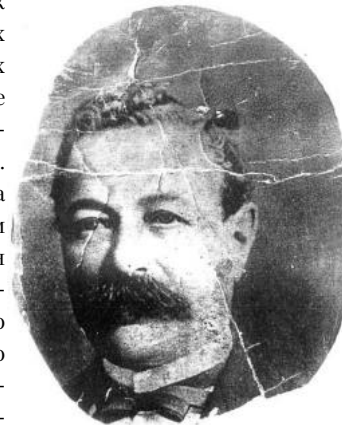
Как немцы использовали барк и когда и почему утопили — об этом данных нет...

P.S. *Поиски экипажа парусника "Товарищ" затянулись на многие годы. Однажды мне удалось бегло просмотреть папку с документами, обвиняющими Куцепалова и Лялекова в измене Родине. К сожалению, изучить эти материалы я не смог. Может быть, кто-нибудь из вас сумеет приоткрыть тайну трагедии на Мариупольском рейде осенью 1943 г.?*

Днепропетровск

Одесские Войновичи

Владимир Войнович обращался к своей родословной в нескольких книгах и довольно подробно рассказал о предках по отцовской линии: "Кажется, в 18 веке часть рода Войновичей (черногорцы) поселилась в районе Которской бухты (...). Отсюда члены рода уходили иногда очень далеко, служили разным странам (...). Мой прадед Шпиро (Спиридон Александрович) имел собственный торговый флот, ходил с ним в Россию. Его сыновья, все шесть капитаны дальнего плавания, в начале 1880-х годов со своими кораблями пришли в Россию и навсегда приняли русское подданство". Владимир Николаевич не уточнил, что "в России" прадед и его братья обосновались в Одессе. И произошло это не в 80-х годах, а немного раньше.



Прадед Николай Спиридонович. Он и его пять братьев — все капитаны дальнего плавания — в конце прошлого века привели свои корабли в Россию и приняли российское подданство.

Среди документов, относящихся к прямой линии (представителей которой В. Войнович перечислил с 14 века по сегодняшний день: "(...) Александр — Шпиро — Никола — Павел — Николай — и я"), самый ранний из обнаруженных в Одесском областном архиве датирован 19 сентября 1863 г. — это запрос градоначальника, не встречается ли препятствий на принятие в подданство России австрийского подданного Николая Войновича. Пристав отрапортовал, что препятствий нет. 30 сентября отправляется нечто вроде извещения: "Прошение австрийскоподданного Николая Войновича о причислении в одесские мещане с двумя паспортами



Прабабушка Анна, урожденная Комненич (известный сербский род).

Судно стояло у пирса, команда фактически пребывала в полном безделье. Ловили рыбу, собирали фрукты в брошенных садах Мариуполя. Правда, после некоторого промедления начали снова вооружать судно. 25 сентября Обертас получил назначение капитаном на недостроенный теплоход "Ульянов", стоявший у причала Мариупольских верфей. Он пригласил Л.И. Сергеева на должность старпома, а Л.Д. Сергееву (Михалеву) — 2-м помощником. Е.А. Обертас была зачислена палубным матросом (на "Ульянове" 5 или 6 матросов были женщины). На "Ульянов" перешли еще три матроса. Остальные продолжали оставаться на "Товарище".

О последних днях барка уже после войны рассказал Обертасу бывший радист "Товарища" Шевченко. В начале октября в город входили немцы. Мелкие суда всех оставшихся в порту вывозили на другой берег, к Ейску.

Все, кто оставался на "Товарище", заранее собирали вещи, чтобы при первой возможности покинуть судно.

К борту "Товарища" подошел буксир, чтобы снять команду. Все перешли на буксир, кроме Куцепалова, Лутаева и Лялекова. Их звали, но они отказались. Когда буксир отходил, они стояли на палубе на юте, и Куцепалов вслед помахал рукой. Вот и все. Уходящий буксир немцы стали обстреливать.

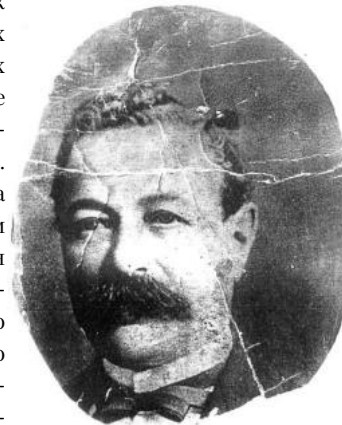
Как немцы использовали барк и когда и почему утопили — об этом данных нет...

P.S. *Поиски экипажа парусника "Товарищ" затянулись на многие годы. Однажды мне удалось бегло просмотреть папку с документами, обвиняющими Куцепалова и Лялекова в измене Родине. К сожалению, изучить эти материалы я не смог. Может быть, кто-нибудь из вас сумеет приоткрыть тайну трагедии на Мариупольском рейде осенью 1943 г.?*

Днепропетровск

Одесские Войновичи

Владимир Войнович обращался к своей родословной в нескольких книгах и довольно подробно рассказал о предках по отцовской линии: "Кажется, в 18 веке часть рода Войновичей (черногорцы) поселилась в районе Которской бухты (...). Отсюда члены рода уходили иногда очень далеко, служили разным странам (...). Мой прадед Шпиро (Спиридон Александрович) имел собственный торговый флот, ходил с ним в Россию. Его сыновья, все шесть капитаны дальнего плавания, в начале 1880-х годов со своими кораблями пришли в Россию и навсегда приняли русское подданство". Владимир Николаевич не уточнил, что "в России" прадед и его братья обосновались в Одессе. И произошло это не в 80-х годах, а немного раньше.



Прадед Николай Спиридонович. Он и его пять братьев — все капитаны дальнего плавания — в конце прошлого века привели свои корабли в Россию и приняли российское подданство.

Среди документов, относящихся к прямой линии (представителей которой В. Войнович перечислил с 14 века по сегодняшний день: "(...) Александр — Шпиро — Никола — Павел — Николай — и я"), самый ранний из обнаруженных в Одесском областном архиве датирован 19 сентября 1863 г. — это запрос градоначальника, не встречается ли препятствий на принятие в подданство России австрийского подданного Николая Войновича. Пристав отрапортовал, что препятствий нет. 30 сентября отправляется нечто вроде извещения: "Прошение австрийскоподданного Николая Войновича о причислении в одесские мещане с двумя паспортами



Прабабушка Анна, урожденная Комненич (известный сербский род).

Далее следует рапорт градоначальнику: "Представив вместе с сим в Херсонскую казенную палату о причислении в одесские мещане из австрийскоподданных

восходительства о снабжении его билетами на жительство, впредь до утверждения его в этом звании, при этом Дума докладывает, что он, Войнович, следующих примет: лет 35, росту выше среднего, волосы и брови черные, глаза карие, нос и рот умеренные, подбородок бреет, лицо чистое, а особых примет не имеет".

Как и почему принятие российского подданства заменилось причислением к мещанскому обществу — не выяснено. В 1867 и 1871 гг., при крещении сыновей Спиридона и Александра, Николай Спиридонович Войнович записан по-прежнему австрийскоподданным. В 1874-м, к этому времени возведенный в Личное почетное гражданство, при крещении Николая — как "ищущий русского подданства". Но гражданство получали уже Войновичи следующего поколения. Николай Николаевич стал русскоподданным только в 1896 г., когда учился на юридическом факультете Императорского Новороссийского университета.

По прямой — это максимальное приближение знаменитого писателя к Одессе. Больше сведений о дедушке не найдено. Что касается боковых

лата уведомляет, что австрийскопод-
63 г. причислен в одесские мещане.

1878 г. в Архангело-Михайлов-
щен Павел. "Родители: Почетный
Николай Спиридонович сын Вой-
ова дочь, православные. Восприем-
фей Николаев сын Войнович и же-
Томашевича Екатерина Родионова
вича.

ближение знаменитого писателя к не найдено. Что касается боковых

[illegible]

ветвей, то сохранились свидетельства более поздние: и просто занятные, и говорящие о давнем тяготении Войновичей к литературе.

Владимир Николаевич рассказал, что родной брат деда, Драгомир Николаевич (закончивший математическое отделение физико-математиче-

ского факультета Новороссийского университета) написал "Историю сербского народа", но опустил тот факт, что жил к тому времени в Бессарабии, книгу автор издал в Одессе, в типографии Шульце на Ланжероновской улице.

Другой брат, Спиридон Николаевич, врач, состоял членом Литературно-артистического общества, объединявшего, как сообщал путеводитель, немногочисленную одесскую интеллигенцию, и чья деятельность "сильно способствовала оживлению умственной жизни города". В это же время в клубе активно работали Бунин, Дорошевич, Жаботинский, Чуковский... Т. е., если он и не был знаком с ними лично, то уж слушал их выступления регулярно.



Дедушка Павел Николаевич,
железнодорожник
на станции Новозыбков.

Не все родственные связи прослежены и не известно, кем приходится В.Н. Войновичу некий Иван Войнович, но и не упомянуть, что во втором классе он учился вместе с Л. Троцким, тоже трудно.

Двоюродный брат деда Павла, Владимир Владимирович Войнович, был актером широкого диапазона: играл почтмейстера в "Ревизоре", Ганю в "Идиоте", Джека Чеснея в "Тетке Чарлея", Генриха Наваррского в "Варфоломеевской ночи", Ватсона, Раскольникова, даже как-то в дивертисменте пел.

В 1905 г. некоторое административное волнение вызвали троюродные братья Павла Николаевича. По духовному завещанию шкипера дальнего плавания Михаила Антоновича Войновича на душеприказчика Марка Антоновича Войновича было возложено раздать бедным жителям Одессы 200 рублей. (Для ориентации: в то время самодвижущийся экипаж, развивающий скорость до 30 верст в час, стоил 1800 руб., рояли и пианино — от 350 руб., билеты в театр Сибирякова — от 14 руб., в ложах до 30 коп. в двух задних рядах амфитеатра; вполне приличные домашние обеды — 35-40 коп., кружка пива — 5-10 коп., обед в благотворительной столовой

— 3-10 коп., сутки в ночлежке — 4-5 коп.). Этой суммой озабочился градоначальник Нейдгарт. Завязалась переписка. Половина завещанного к этому времени уже была роздана, оставшееся Марк Антонович отослал градоначальнику, чтобы тот сам пристроил эти деньги. Душеприказчик получил квитанцию, а в "Ведомости Одесского Градоначальства" пошло сообщение, что представленные М.А. Войновичем сто рублей Его Превосходительством переданы Одесскому обществу покровительства отбывшим наказание и бесприютным на одежду питомцам приюта.

Через три года Марк Антонович купил дом. Этот факт сам по себе не стоил бы упоминания, если бы не одно совпадение. В книге В. Войновича "Степень доверия" описана история несостоявшегося покушения на царя: в 1880 г. народовольцы рыли подкоп из бакалейной лавочки, помещавшейся в д. № 47 по Пушкинской улице. Так вот, это тот самый дом, который приобрел Марк Войнович. (Дом был снесен примерно в одно время с выходом книги).

Наиболее поздние сведения еще об одном Войновиче хранятся в другом архиве. В справке СБУ о двоюродном брате Павла Николаевича (до революции чиновнике канцелярии одесского градоначальника, яхтсмена), сказано: "Войнович Владимир Любомирович 1882 г. р., уроженец г. Керчь, серб, б/п, матрос п/х "Чичерин", проживал в Одессе, ул. Внешняя, 72. Арестован 4 мая 1927 г. одесским окротделом ГПУ по обвинению в контрреволюционной деятельности (ст. 63 и 10.81 УК УССР). По постановлению коллегии ОГПУ от 22 августа 1927 г. заключен в концлагерь сроком на 5 лет. Реабилитирован 28.02.96 (...)"



Бабушка Евгения Петровна, дочь полицмейстера
города Тирасполя (Бессарабия),
народная учительница, прожила 97 лет.

ПРОЗА

Владимир УФЛЯНД
Из жизни Ухорылых 93

Братья ШАРГОРОДСКИЕ
Художник из Нью-Амстердама 110

Александр БИРШТЕЙН
Живаго и Кукурузник 124

Олег ГУБАРЬ
Дядя Вова 128

Владимир ГРИДИН
Светлячки 133

По пути к Ставрову
Публикация Вадима АМУРСКОГО 148
Перикл СТАВРОВ *Мосье Жан* 155
Дорогой дальнею 159
Тэффи 165

Лена КУТИНОВА
Коловращение 169

Геннадий ГАНИЧЕВ
Эвридика 178

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ
Символична ли кастрация современников? . .193

Владимир УФЛЯНД

Из жизни Ухорылых (культовые рассказы)

Почти все имена изменены в интересах следствия

1. Петр-ключарь

Петр-ключарь, зевая и почесываясь, ковыляет при палочке на неистовый стук и крик. Кованое серебро ворот гудит.

Изображая церберское рычание, привратник достает из пояса золотой ключ и ковыряет в кованом из электрона замке.

В образовавшуюся щель первой просовывается с перерезанным от уха до уха горлом молодуха.

— Туда, милая, — указывает Петр на цветник, издали одуряющий ароматом на зависть мадам Шанель. У молодухи начинает быстро горло заживать.

— Осторожней, бабуля, — помогает ключарь голой синей старухе споткнувшейся. — Проходите, родные, не спешите, друг дружку не толкайте. Хватит места всем. Ждет Боженка. Заждался. А ты куда? — останавливает голого, окровавленного и грязного, но чем-то отличного от всех мужика. — Ты обратно давай. Тебе не время еще. Тамошний еще ты.

— Окстись, Харон Церберыч. У меня тут под языком застряла мелочь, — внезапно в рифму полученораздельно ноет нездешний. — Вот, держи лепту. Нешто я зря был наемни сжит со свету? — протягивает он пачку жеваных, похожих на капустные, листов апостола. — Здесь, может, лимон аккурат. Не отправляй только, ради Христа, в ад.

Впущенные тем временем на глазах белеют и молодеют.

— Кто тебе сказал, что ты того, уже не жилец? — отталкивает капусту вахтер райский.

— Дык меня легавые, в бяку стрелыцы. Отправили в мертвецы!

— Гони в шею его ты! — раздается внезапный Божий глас. — Оборзели совсем! Живых зачисляют мертвецы! Расследую это я уже!

Петр глушит тяжелым ключом рифмача по голове и сталкивает умолкшее тело ногой вниз. Тело устремляется к поверхности земной.

Бог вытаскивает том во много раз Святого Писания толще. И углубляется свидетельств в поисках о жизненных перипетиях жилья, выдать себя за почившего праведника пытавшегося. В этом томе, многотомника

одном из тысячи томов, вся подноготная последние несколько лет живущих. На какой-то странице Он узнает, что:

2. Однажды в одной

Однажды в одной отдельно взятой стране народ проснулся с чувством безграничной. В окна солнце заливало. С раскладушек вскочил народ. Сделал утреннюю зарядку. Быстро на улицы поспешил.

Кое-кто услугами бань воспользоваться намечал. Кое-кто самолетами Аэрофлота улететь планировал куда-то.

Но кое-кто по имени Ликолай шел вдоль ограды кладбища.

— Извините, — остановил его незнакомец. — Можно к вам обратиться и с вами поговорить?

— Пожалуйста, — остановился Ликолай, попросту Коля.

— Слушай, старик, — начал, оглянувшись кругом, незнакомец, — у тебя стакан пустой есть?

— Ну, допустим, — глянул на пролом в ограде Ликолай.

— Третьим будешь, — закончил разговор второй незнакомец, внезапно подойдя к стоящим.

3. Мой один вась-вася

— Мой один вась-вася, его Сеня, то есть Экстрасенс Зомбиевич звать, сказал, что с той недели завязал, — достал одновременно с рифмой из кармана пузырь первый незнакомец, имя которого тоже оказалось Коля. Точнее, Коллодий.

— В смысле врезывать? — недоверчиво спросил второй по имени Суггестий Ухорылых.

— В смысле вбацивать, — показал жевательное движение Коллодий, — пьет и внушает себе, что закусывает.

— Когда-то закусывал тушенкой, а теперь внушенкой, — мастерски срифмовал Суггестий.

— Не говори. Цены-то как гуйнули, — врубился второй Коля.

— Сто кусков Беломор, пузырь и плавленый сырок, — сосчитал в уме Суггестий. — Хоть пить и курить давай зарок.

— А Сеня пить не бросил. А вместо закуски закуривает.

— Смотри: бабеч прикольная из могилы выглянула, — указал за спины сопутыриков Ликолай.

— Ты вчера, небось, лишний пузырь запузырил, — принялся отколу-пить пробку его тезка.

— Разливай, Ликолай, — не шибко удачно срифмовал Суггестий, выставляя на могильную плиту рядом с ликолаевским еще два стакана, извлеченные из примогильного мусора. — А ты, Коллодий, что сидишь именинника вроде? — продолжил рифмовать он. — Ты давай закусь выдавай.

— Смотри: вытиран с усами во френче из могилы выглянул! — замер с кульком в руке Коллодий.

— Ты еще не пригубил, а мозги свои уже в ягодицы заглубил, — опять срифмовал Суггестий.

— Кыш! — перекрестился и махнул на наваждение Коллодий.

Видение с усами исчезло. Коллодий выложил из кулька жмень квашеной капусты и сервировал ее на обрывке газеты. Потом он полез под полу куртки за своим пузырем. В эту секунду закусь и посуда с бухлом качнулись.

— Кули ты стол шатаешь? — дал в морду Коллодий Ликолаю.

Тот левой зажал ссадину на щеке, а правой схватил стакан, чтоб удерживать его содержимое. Суггестий со вторым Колей прильнули выхлебать налитое.

— Смотри: динозавр из могилы лезет! — сипло выдохнул проглоченное Ликолай.

— Сам ты динозавр, — глянул в ту же сторону Коллодий.

Он увидел тощую грязную ногу. Нога из-под гранитной плиты тянулась к ополовиненному пузырю.

— Брысь! — сказал Суггестий.

Нога схватила пальцами бутылку и утащила.

Вместо ноги все трое увидели кольца громадного червя метра два диаметром. А длины... Червь бесконечно лез и лез из-под камня. На лице червя под шербатым носом висели черно-фиолетовые усы. Он выпил кровь, вылившуюся из носа Коли. Потом присосался ко второму оставшемуся, но тоже ополовиненному пузырю.

4. Ликолай и Коллодий

Ликолай и Коллодий лежали на спинах. У одного рот был заткнут грязным носком. У другого голова прижата тяжелым ботинком. Шуршали шины. Голос Суггестия Ухорылых был в рифму.

— Суки с рогами, зачем вы везете меня вперед ногами? Вы что: похоронить меня решили? Зачем вперед ногами положили?

Ему никто не отвечал. Он вертелся на резиновом полу, пытаясь ослабить путы на туловище. Обутый в тяжелые ботинки читал книгу, завалившуюся с прошлого дежурства.

— Вагон клеймен. Металлолом. Вой. Страстный глаз. Змея страшает. Взорвет маньяк. Забьет твой слон. Залетный к роду принуждает.

— Главное, оба пузыря только ополовинили, — думал Коллодий.

Суггестию удалось зубами открыть заднюю дверь. От рывка его выбросило из автомобиля. Пристроившаяся сзади "Ока" затормозила, но по инерции наехала на выброшенного, разорвав путы. Пока водитель "Оки" растегивал свой ремень безопасности, на улице возникла пробка. Машины сталкивались. ГАИ трубило.

Суггестий меж тем встал и поконделаял к ближайшему ларьку. Там он вытащил нечто вроде засохшего капустного листа.

— Не бзди, собака. Капуста не фальшивая. С гознака. Сегодня в поллучку дали сучары. Бери и гони пузырь бодяры.

Завороженный, как всякий настоящий русский, магией рифмованной речи, хозяин взял капусту и выдал пузырь.

5. Оба Коли

Оба Коли лежали связанные в комнате, увешанной крюками, цепями и другими приспособлениями для пыток. Один из хозяев комнаты смотрел по видеку порнуху или чернуху вперемежку с сериалом "Сто двадцать одно откровение осени" про генерала Бырдакова.

Второй вслух читал:

— Еда. Врубился я на след. В душе тупая мерзь трепещет. Как молвили. Тоскою плещет. Едри моли. Казак речет.

Третий писал:

Агамемнин Ликолай Пабович. Место работы — бомж. Место жительства — Стародевичье кладбище. Год рождения не помнит. Терраси-мов Коллодий Гвоздильевич. Бомж. Кладбище. Не помнит.

Любитель порнухи и чернухи поднял телефонную трубку.

— Угол Салтыковского и Щедринской? Ботинки фасона говнодавнего. С десяти примерно тридцати. Понял. Эй, кончайте, губари. Двигаем, пока он еще тепленький.

Пятидверная иномарка американской сиреной разгоняла вереницы моторных и пеших. Водитель выехал на трамвайные рельсы, чтоб выжать из иномарки скорость. Но тут перед радиатором возник усатый

щербатый старик в нижнем белье и замахал. В зубах он держал горящую трубку.

— Во персональный пенсионер расколдыбался, — удивился водитель.

— Йокнулся пенис! — высунулся из бокового чтец старой книги. — Ты что, пенс гребаный?

— Я не пенс, — вынул трубку из зубов несомненный пенсионер и УВОВ, а, может быть, и Гражданской. — Пенсы были наркомы Лаврентий, Вячеслав и Михаил, всесоюзный староста. Пенисы, или по-русски пенсны, на носы надевали. А меня даже в очках никто не видел.

— А чего ты в кальсонах, увов? — опустил стекло любитель порнухи.

— Раздели, — вставил трубку в усы пенс. — Назвали черножопым кавказоязычником и френч генералиссимусовский сняли. С бриллиантовой звездой. В тот двор убежали. Две их было. Школьницы. Пьяные вдугаря.

— Прихватим одного убитого по дороге. После поймал твоих правонарушительниц, — открыл дверцу составитель протоколов Зряха Буравин. — Ну и вонь от тебя, ваше превосходительство, — сморщился протоколист, когда старый впихивался на сиденье.

— Бомжи кое-чем все кладбище обдрили, — объяснил тот, не вынимая трубки. — Ай да парень-паренек! Дайте только парню срок, — запел он на мотив "Сулико", как только машина тронулась.

Возле ларька стояли несколько человек у тела Суггестия Ухорылых, залитого с головы до ног чем-то красным.

— "Все придет к концу, как день к закату. Потому, прождав меня сто лет, уберешь и праздничную скатерть, и кувшин с цветами на столе", — декламировал один с полным бухла стаканом.

— Он был временами не ниже Пушкина, — всхлипнул другой.

— Выше! — сквозь рыдания крикнул третий.

— Кое-кто говорил, что Пушкин был Ухорылых своего времени, — прорыдала женщина по кличке "мамка".

— "И не жди. А если ветер воет, то совсем не я тебя зову. Я, наверно, где-нибудь под хвоей серую, йоп твою мать, заслушался сову", — закончил декламатор, рыдая навдрызг.

— Кто это его так гуйнул? — указал на тело видеоман Хронид Резюмов.

— Я, — отодвинула рыдающих бухарей молодая красивая женщина.

— Врешь, — отмахнулся Хронид.

— Нет, не врёт, — дружно захрипела бухара, — сами видели, как она ему об голову располовиненный пузырь растучила. Он сразу кровью залился, лег, блин, и кончил жить.

— Имя, фамилия? — приготовился писать Зряха Буравин.

— Полимера Ухорылых, — дружно продиктовали очевидцы. — Только месяц как Суггестий с ней расписался. А его прежняя Аденоида два месяца назад убежала. Сказала, что он ее как мужчина не удовлетворяет.

— Проверим, — втокнул подозреваемую рядом с черножопым кавказоязычником Сфинктор Хлебедев.

Суггестия положили опять вперед ногами.

У перекрестка две школьницы бухали из горла что-то разноцветное. Одна во френче с бриллиантовой звездой. Другая в фуражке с золотыми листьями той же эпохи.

— Эй, пенс! Погляди. Не эти тебя стопорили?

Ответом было молчание. Хронид, Зряха и Сфинктор обернулись назад. Старика и Полимеры не было. Все дверцы в машине были заперты изнутри.

— Сбежал нарком с наркоманкой, — подытожил один, а двое других выматерились от сверхъестественности происшедшего.

6. В полночь

В полночь Суггестий Ухорылых захотел помочиться и похмелиться. Он поискал в карманах деньги или заначку бухла. Карманы исчезли вместе с одеждой. При полутемном свете лампочки он стянул простыню, покрывавшую с головой человека рядом.

— Проснись, сосед! Где тут мужской туалет?

Простыня открыла голую старуху, уже давно мертвую и окоченевшую. Суггестий подавил озноб страха и холода. Набросил на себя старухину простыню. Дошел до второго лежака. Приподнял белую ткань.

— Эй, друг, закурить не найдется?

На него невидяще глянула девушка с перерезанным от уха до уха горлом. Суггестий чуть не перекрестился. Но рука двигалась плохо. Смутно помнилось, что он упал. Потом взлетел. К каким-то воротам. Потом снова долго падал. Отключался и снова несколько раз включался.

Через десяток минут он обошел весь зал. Понял, что он в мертвецкой. На своем животе и руках ощутил запекшуюся кровь. Сортира не нашел. От невозможности культурно отлить заколотил кулаками в дверь. Он стучал так, пока дверь не открылась.

— Глядский жмурик, — обдал Суггестия паром и перегаром изо рта дежурный трупоекладчик и замахнулся обрезком трубы. — Ложись, пад-

ла гиблая, где положили!

Суггестий перехватил обрезок, вырвал у трупоположенца и шуякнул по черепу. Трупоположенец упал плашмя. Суггестий придушил его для верности. Стянул с него шматье и, еще дрожа, натянул на себя. Потом увидел сортир и помочился от души.

В кармане была связка ключей. Отпер наружную дверь и вышел на теплый по сравнению с мертвецкой свежий ночной воздух.

7. Оба Коли были

Оба Коли были на пыточных крюках вниз головами. Сфинктор убеждал их делать это не так истощно с помощью резинового приспособления в форме дубинки.

— Наблюдали ли неопознанные летающие объекты американского производства, в точности копирующие инопланетные тарелки? — прочел вопрос Зряха.

— Я самый главный мудака бывшего Эсэсэсэр! — краснел от прилива крови к голове Ликолай в ответ.

— Нет, я самый главный! Я еще мудее! — натужился Коллодий.

— Воздействовали на вас психотронной аппаратурой?

— Моя жена была самая ревнивая в мире! — выдавил Коллодий.

— Нет, моя была еще ревнивее! — перебил Ликолай. — Как приходил от делялей, она брала уют и звездеч между рог по крыше.

— Как выглядит аппаратура? — прочел Кронид.

— Две емкости. Одна на огне. Из нее змеевик в другую. Соседи им круглые сутки воздействуют, — понял вопрос Коллодий.

— Трудило! Это же самогонный аппарат! — поднял дубинку Сфинктор.

— Нет! Не самогонный! Психотронный! Действует. Как выпьешь, сразу вся крыша едет!

— Они танцуют по ночам интернациональный танец скок-поскок! — пропел Ликолай.

— Кто? — поднял инструмент Сфинктор.

— Они! — выдохнул Ликолай. Его старые штаны лопнули. Он упал с крюка и разбил голову об пол.

— Пользовался ли лечением так называемых остеопатов? — прочел Зряха. Сознание покинуло Ликолая. Коллодий тоже повис как дохлый.

— Вопросов бесчисленное количество, — подытожил Зряха — Ответов мало.

— Главное, кто этот пенс с усами и трубкой? — почесался дубинкой Сфинктор.

— И как он уволок интерпутану из тачки? — добавил Хронид.

8. Всякое доброе

— Всякое доброе дело надо начинать с молитвы — сняла рваные колготки Полимера. Открыв кран, она разделась и, читая "Верую во единого Бога", вымылась выше и ниже талии. Вышла из ванной.

— Скажи, рябенький, что есть красота?

— Антр ну, красота это то, что спасет мир, — услышала она певучий женский голос, немного грассировавший.

На кровати в мужском грязном белье лежала незнакомая красивая женщина и курила сигарету вместо трубки. Полимера удивилась. Не дав ей осознать происшедшее, незнакомка пробежала мимо в ванную.

— Я тоже прандр юн бэн, — на бегу она сбросила кальсоны без пуговиц у ног, на завязках, и рубаху без воротника.

Полимера вспомнила, как они со стариком мгновенно перенеслись из машины на лестницу ее дома. Старик, едва материализовавшись, полез ей под юбку, мешая достать из сумочки связку ключей. Полимера сказала, что надо вынуть тампакс. Старый вытащил руку и зажег трубку от бензиновой зажигалки, сделанной из латунного винтовочного патрона. Тампакс вынула в ванной. Но теперь, когда старик превратился в незнакомку, такая предусмотрительность была глупа. Вернее, была бы, если б грудь не почувствовала теплые влажные руки. В зеркале она увидела, что незнакомка подошла сзади и прильнула всем телом.

— Как тебя зовут? — спросила Полимера.

— Апелле муа Голодея, — целуя, сказала еще недавняя старик.

Они упали на кровать и стали возбуждать друг друга там, где обычно возбуждают только любовники и редко мужья.

Полимера уже предчувствовала скорое удовлетворение. Но раздался дверной звонок.

— Спрошу, кто это, — не сдвигая ноги, пробормотала Полимера. — Вдруг почтальон или насчет сдачи квартиры. Объявление сегодня повесила.

Голодея перестала сжимать ее голову ногами. Полимера встала и спросила у двери:

— Кто там?

— Это я, — раздался мальчишеский голос.

— Что тебе? — не открыла Полимера.

— Я хочу обладать тобой, — сказал тот же голос. — Я знаю, что ты шлепнула своего мужика. Открой. Я буду обладать тобой три дня без перерыва на обед.

— Я не могу тебе открыть. У меня подруга. Она не одета.

— Годится. Подругу я тоже буду иметь, — донесся из-за двери дискант. — По очереди. Сначала тебя, потом ее.

— Я сам тэба буду ыметь, — сказал с кровати голос старика с усами — Тры дня бэз обэда. А потом пошлю на Волгодон.

— Проститутка! — закричал мальчишка. — Мужика только что шлепнула бутылкой и уже с новым хлебешься, блин!

— А вот я сейчас тэба из золотого нагана убю, — произнес стариковский голос.

Не дожидаясь, звонильщик сам выстрелил. В двери появилось отверстие крупного калибра. Полимера обернулась. На кровати улыбалась и потягивалась Голодея. На лестнице слышались убегающие шаги. Полимера вновь бросилась в объятия гости.

— Ты хочешь со мной позабыться, Полина? — погладила ее под животом любовница.

— А нас не привлекут к тюремно-лагерной ответственности за то, что мы так сексуально обожаем друг друга?

— Что ты, ма шэри. Ведь даже когда была такая статья в кодексе, она угрожала только мужчинам за мужеложество. А с сексом между женщинами еще при строительстве социализма было покончено.

9. Суггестий почуял

Суггестий почуял, что добрался до своего дома. Пахло знакомой мочой. Пару раз он заруливал в чужие, похожие пахнувшие лестницы. Это была своя. Он ввинтил лампочку, выкрученную в мертвецкой. Штукатурку бороздила картина, изображающая совокупляющихся мужчину и женщину. Надпись под картиной повествовала: "Кисуля манюня сладкая самая пошлая ученица 81 школы". В слове "пошлая" буква ш была подчеркнута и заменена на д. А д и л были потом заменены на т и н. Прежде этих поправок не было. Суггестий хотел уничтожить их, но кто-то спускался навстречу.

— Стой, живописец сопливый! — цапнул он за рукав мальчишку. — Что бежишь, как Лев Толстой из Ясной Поляны?

— С мертвецами не разговариваю, — подхватил оторванный рукав мальчишка.

— Это кто мертвец? Это я мертвец? Ты докажи сперва, а потом обзывайся, стервец! — рассердился Суггестий.

— И докажу, — вытащил огромный пистолет мальчишка по имени Сека или Филя. По прозвищу Многочлен. Его полное имя, данное родителями, было Сексофил. Он выстрелил в Суггестия. Тот или еще не окончательно оттаял от заморозки или от падения с Небес, но пули не почувствовал. Он отобрал пистолет у Многочлена и дал ему пинка под зад.

— А твоя Полимера с требарем хлебется! — падая с лестницы проорал Сексофил.

Суггестий нажал спусковой крючок, как учили в армии, но не застрелил противника. Кончились патроны. В двери квартиры он обнаружил отверстие.

— Живописец, мать его глядь! Придется в дырку глазок вставлять.

В отверстие виднелись висящие на вешалке кальсоны с тесемками. Таких у Суггестия не было. Один из ключей мертвецкой связки подошел. Дверь открылась. Суггестий не обнаружил своих шлепанцев и босиком поспешил на кухню. В холодильнике стоял ополовиненный пузырь какого-то импортного бухла.

— Без меня хахеля приняли и пузырь ополовинили, — пришло на ум Суггестию двустиише.

Из комнаты послышался смех. Один смех был Полимерин. Другой тоже бабий, но не знакомый. Голая Полимера и неизвестная тоже голая лежали на кровати клубком. Суггестий сел за стол и начал вспоминать свои стихи.

— Один-единственный ребенок сожжен в неделю скарлатиной. Муж на чердак полез с петлей ременной, когда, обмерив, гробик скотили. Тогда жена, взглянуть боясь в его глаза, замученные илом, прости — призналась — но была дочь не твоя. Ведь я тебя ни разу не любила... та-та-та-та, — забыл дальше Суггестий, — та-та-та-та-та. Ту-гу-гу-гу... сказал: я это знаю! — закончил автор.

— Что вы будете пить? — налила неизвестная голая полстакана тягучей бормотухи.

Голая Полимера придвинула тарелку с чем-то иностранным. Не то твиксом, не то воймиксом, не то тампаксом.

— Похмелился наконец, — выпил Суггестий и указал на гостью. — А это что за бабеч?

— Мой подарок к твоему дню рождения, — погладила незнакомку ниже талии Полимера. — Ты же сегодня как будто родился второй раз.

— Да, — согласился рифмоплет, — без всякого вреда получил сейчас пулю вот сюда. Хорошо, что не в ухо и не в рыло. А вчера ты мне пузырем приварила. А перед этим на Стародевичьем осьминог вроде динозавра вылез из могилы и чуть не слопал нас на завтрак. В метро мужик вез домой от центрального отопления радиатор, уронил и вывел из строя эскалатор. А возле метро попал в давку. Коммунисты орал: президента Олкозельцера в отставку! Всем, у кого есть доллары, отрежем яйца и головы!

— Мы хотим вам понравиться, милый поэт, — едва не поцеловала его незнакомка. — Только от вас какое-то амбре. Вам не угодно принять ванну?

— С удовольствием попарюсь в ванне, — начал раздеваться Суггестий, — только я хочу туда вместе с вами.

— Какой он любострастник! — обняла Голодея Полимеру. — Зовите меня просто княгиня! — крикнула она вдогонку любострастнику.

— Взял я в супруги уродку, — запел в ванной Суггестий на мотив "Очи черные", — звезда у нее похожа на меховую пилотку. А у княгини между ног штучка, как у генеральской дочери была сучка китайской породы тиквондо, выщипана от и до!

— Я ее не выщипываю, — откликнулась княгиня, — только брею и стригу.

— Правильно, княгиня, — одобрил певец. — Ты баба благородная. Зачем напрасно мучить животное детородное? Я бы тебе своего черепана одноглазого вставил. Вот только он еще не оттаял. Прямо как ледяной.

— Такой же твердый? — поинтересовалась княгиня.

— Прямо-тки костяной, — подтвердил Суггестий.

— Дай-ка я посмотрю твою тиквондушечку, — повернула княгиню к себе Полимера.

— А я хочу посмотреть на твою пилоточку, — донесся из комнаты голос гостьи. — Давай я тебе сделаю из пилоточки розочку или бантик. Побрею тут и тут.

Раздался выстрел.

— Да ведь там патронов нет! — выскочил из ванной мокрый Суггестий. — Зачем взяли пистолет?

— Мы не брали, — сказали сложившиеся валетом дамы.

— Что же по-вашему, на старости лет мой черепан стреляет как пиздолет? Снова раздался выстрел. Стреляли с лестницы в дверь.

— Многочлен, требанный в фокстрот! Кончай дырывать вход! — заорал Суггестий.

Дверь начали выламывать.

— Спрячемся, — подала идею княгиня. — Влезем все вместе в ванну и пустим горячую воду, чтоб не замерзнуть.

Дверь взорвали. В проем, стреляя из автоматов, вбежал почти десяток в красных чулках, натянутых на лица.

— В комнате пусто, — огляделся один.

— На кухне ни души, — толкнул дверь ногой второй.

— В ванной никого, — распахнул дверь и отодвинул пластиковую занавеску третий.

— Я слышал, как они орали, — удивился взорвавший дверь.

— Пахнет бабами, — понюхал первый ворвавшийся.

— Жареными, — понюхал другой.

В ванной трое прилаживались друг к другу, составляя композицию сложного смысла. Суггестий хотел трахнуть княгиню, но промахнулся и трахнул Полимера.

— Надо бы полистать "Ветви персика", индийское наставление. Что делать, когда черепан выбирает неверное направление. Оно у меня под подушкой лежит. Как забуду ночью, вынимаю, читаю и делаю, как по науке надлежит, — смутился промахнувшийся.

Полимера вылезла из ванной, чтобы достать книгу.

— Я тебе не рекомендую надевать халат, — предостерегла княгиня.

Но Полимера пренебрегла предостережением. Все-таки десять мужиков, хоть и в чулках.

В комнате один из налетчиков нюхал недопитую бутылку. Увидев выходящий из ванной пустой халат, он отвалил челюсть под чулком, но опомнился и потянулся за автоматом. Во взорванную дверь, стреляя, ворвался еще десяток. На этот раз в зеленых чулках на мордах.

Красномордые сразу начали отстреливаться. Зеленомордые бросили связку гранат. Стены запятнались кровью и красными ошметками.

На месте каждого разорванного в клочья красночулочника возникали тут же несколько в таких же чулках с такими же автоматами. Зеленые еще свирепее палили и косили их очередями и рвали гранатами.

Красным становилось тесно, но они не переставали множиться. Зеленые истратили еще несколько связок гранат, разрушили в квартире остат-

ки перегородок. После этого изменили тактику и начали хватать красных за ноги и бить головами об капитальные стены и углы. Красночулочники визжали на языках давно исчезнувших народов. Один из них огрел своего врага подушкой. Другой запустил в зеленочулочного книгой "Ветви персика".

Зеленочулочные окончательно ожесточились. Они так молотили остатками мебели, что красночулочные мельчали на глазах.

Соседи снизу стучали в потолок, видимо, шваброй. Соседи сверху, вероятно приникли ушами к полу. Соседи справа и слева поворачивали ручки замков, задвигали задвижки, набрасывали дверные цепочки.

Последний красночулочник получил ножкой от стола по голове. Его разъяли на куски и спустили в унитаз. По знаку одного из них зеленочулочники все превратились в зеленый дым и вылетели в разбитое окно.

— Уж и не знаю, чем бы теперь вечер завершить, — налила из чудом уцелевшей бутылки в чудом оставшуюся кружку княгиня. — Не сходить ли в казино?

— Мои последние колготки уволок, бельдюги! — всплеснула руками Полимера.

— Во мелочники породы скобарской! — сплюнул порошок штукатурки Суггестий. — Не иначе эти зеленомордые из группировки казанской. Да и из тамбовской группировки на что попало кидаются. За копейку красномордые удавятся.

— А твои кальсоны не взяли, — нашла их Полимера у бывшей двери на кухню. Одной кальсоны, правда, не было.

— Ты бесподобна и без колготок, — осмотрела Полимеру княгиня. — Я бы порекомендовала тебе чулки с резинками. А лучше с подвязками. А к ним можно маленькие панталоны, — сделала из воздуха женские прозрачные трусики изощренная модница.

— Не маловаты? — усомнилась Полимера.

— Примерь.

— А кальсон у тебя целых нет в заачке? — вытащил из осколка пепельницы окуроч Суггестий. — А то мой одноглазый мерзнет как снайпер на водокачке.

Княгиня сотворила шерстяные итальянские кальсоны с муляжкой на ширинке.

— У меня есть на примете одно казино, — надел кальсоны хозяин снайпера, — бывший секретарь райкома открыл в бывшем райкоме партии не так давно. Теперь он депутат от партии любителей советской сырковой массы. Но туда только на баксы.

— Какие пустяки! — протянула ему смокинг княгиня. — Портмоне с ассигнациями в кармане.

Прикинутые не хуже, чем на обложке свежего журнала, они вышли в бывшую дверь квартиры. Сосед попытался высунуться над цепочкой.

— Ваши гости уже ушли?

Полимера увидела на лестнице кровь и мозги и спохватилась. Она вынесла несколько ведер с разведенным стиральным порошком и выплеснула на стены и ступени.

— Кто это там наверху все ссыт и ссыт? — раздался старушечий голос с первого этажа. — Никак нассаться не может? Видать, ссударь из новых!

Суггестий в ответ громко задекламировал:

— Ты предо мною виновата в том, что под праздник Покрова звала прохожего солдата в мою фамильную кровать. Ты предо мной всех виноватей в том, что в полночный голый жар солдат прохожий на кровати в твоих объятиях лежал.

— В казино, верно, ездят на иномарке, — предположила Полимера.

— Же не компран па ле мо "иномарка", — схватила княгиня убегающую в подвал крысу. — Но сделаю попытку.

Она пнула жестянку, которая валялась на асфальте. Жестянка из-под пива "Хейнекен" превратилась в белый "Мерседес".

— Вы умеете править бензиновым ландолетом? — обратилась княгиня к болтавшейся на хвосте крысе.

Крыса отрицательно завертелась.

— А почему ты такая тощая?

— Новая отменная порода домашних животных современная. Шерсть на усах густая. За стройность тела называется русская борзая, — определил Суггестий.

Крыса утвердительно запищала.

— Я умею сигналить, как "Мерседес": пам-пам! — вспомнила Полимера.

— А я могу монотонно храпеть наподобие мотора, — обрадовался Суггестий.

Княгиня превратила крысу в водителя.

— Сигнальте и храпите, — уселась она рядом впереди.

— Хррр, — захрапел Суггестий.

— Пам-пам! — засигналила Полимера.

Иномарка поползла. Княгиня опустила стекло. В салон влетел свежий ветер и вопль из окна одного из верхних этажей.

— Ой, умерщвляют! Ох, губят! Ох, лишают здоровья и благосостояния! Ооой! Умираю! Умерлааа!

— Эта долгожительница каждый вечер и каждое утро уже несколько лет кричит, — успокоила Полимера. — А все жива, курва.

— Миллиардер — всем ребятам пример! — похлопал себя по карману Суггестий. — Выиграю — махну на Запад, приобрету в окрестностях Парижа замок. Посажу у веранды незабудки и буду нюхать три раза в сутки.

— Прибавьте скорость, милостивый государь, — оглянулась в заднее стекло княгиня.

Сзади из легковой машины, кажется, шведской марки высунулся некто в берете и красном чулке на лице и целился из автомата в шину их мерседеса.

— Вззз! — взвыл Суггестий так, что выблевал пулю, всаженную в него Сексофилом.

— Ква-ква-ква! — закричала Полимера.

Бывший борзая крыса повернул руль сначала направо и мгновенно влево. Пули из автомата вспилили асфальт. Задняя машина рванула вправо и врезалась в осветительный столб. Один из загоревшихся пассажиров сумел выскочить. Фонарь со столба упал ему на голову и разбил на куски. Машина взорвалась.

— Небось Сталина на ветровом прилепили, — засмеялся бывший борзая. — У, брокеры! Мало вас Меченый Минеральный талонами сушил.

10. Милиция и коммунальная служба

Милиция и коммунальная служба убрали труп перед входом в казино. Суггестий и Полимера перестали выть и кричать. Суггестий сказал "тппруу!". Мерседес остановился напротив светящейся витрины. Двое пятнистых в бронежилетах распахнули стеклянные двери. Распорядитель выскочил из подсобки с подносом фирменного бухла и хрустальных рюмок.

— Бонжур, месье жлобинье, — глотнул три бульки Суггестий. — Хорошая погода в вашей вечно солнечной стране!

Все трое радостно поклонились ему.

Между тем две леди уже сделали свои ставки на рулетке. На красное и черное. Суггестий поставил тоже, купив фишки на всю наличную валюту. И выиграл тоже. В честь этого он снова слегка бухнул.

— Люблю хорошую игру! А где тут играют в очко, секу или буру? — огляделся он.

Крупье женского пола в просвечивающей блузке пригласила его к столу. Там сидели монолитные жлобинье молчаливого образа поведения.

— Голодея сказала, что твои карты сегодня: тройка, семерка и туз. Ставь побольше, — приютилась за спиной Суггестия Полимера.

Суггестий поставил на кон кучу фишек. Княгиня одобрительно опустила неправдоподобно длинные ресницы. Суггестий взял карту и увидел тройку.

Его противники оценили мысленно кучу фишек. Но большинство прибавили. Куча утроилась или почти учетверилась. Вторая карта у Суггестия оказалась семерка. Он вывалил в кучу все свои оставшиеся фишки. Все жлобинье, кроме одного, бросили свои карты. Куча фишек была во весь зеленый стол. Последний противник взял третью карту и слегка посинел.

Суггестий взял третью карту и, не глядя, бросил все три свои на стол с криком "Очко!" Стал грести к себе всю кучу фишек.

— Где очко, жидяра? — опомнился посиневший. — Тройка, семерка и дама!

— Че дама? Че дама? — сгребал фишки Суггестий — Туз тебе в рот, а не дама.

— Пиковая дама, — сказала крупье в блузке насквозь.

Суггестий уже мысленно нюхал незабудки.

— Тебе что, плохо платят за труды? Не можешь одноглазого черепана отличить от трепаной тыквонды? — все еще видел он туза.

— Соси своего черепана! — отбрила крупьерша. — Сам ты одноглазый. Дама пик с семеркой и тройкой. Это у вас в Крыжополе считается очко?

— Она права, — взяла Суггестия за лацкан княгиня. — Второй раз за двести пятьдесят лет у моих протеже за зеленым столом карта не пошла. Но ты не бздую. Завтра отыграемся, если будет фарт.

Подошел пятнистый.

— Вашу тачку угнали, пока вы тут понт наяривали. Вроде два полтергейста на водилу макарова наставили.

— А вы что же?

— А что я вам, в сторожы нанимался?

11. От гадюшника

— От гадюшника опять тачку угнали, — надел бронежилет Хронид.

— На углу Салтыковского и Щедринской школьница базлает. Видимо, насилуют, — прицепил под мышку калашникова Сфинктор.

— Сначала на угол? — включил мотор Зряха.

Школьница увидела казенный автомобиль, перестала визжать, но руку из-под юбки не вынула.

— Кто тебя трахнул? — снял автомат с предохранителя Хронид. — Какой он из себя?

— Усатый с хвостом, — всхлипнула потерпевшая.

— С хвостом, конечно, с толстым, зздоровенным, — согласился Зряха. — А откуда он выскочил?

— Из подворотни. В которую въехала иномарка.

— Какая иномарка?

— Не знаю, как называется. Вроде, мерзобес. Выскочил из жестянки и мне в трусы. И зубами впился.

— Куда он девался, садомазохист этот?

— В мусорный бак прыгнул.

Кронид прошел очередь мусорный бак. Из него выпрыгнула тощая крыса с жестянкой, брякающей на хвосте, и метнулась в подвал.

— Вот он! Держите его! — загорланила школьница и исчезла в другую сторону.

Санкт-Петербург



Художник из Нью-Амстердама

Художник жил на Манхаттане. У него была бритая голова, большой лоб и миндалевидные глаза. Казалось, что он родился от брака Сократа с одной из женщин Модильяни, взяв, естественно, лоб от папы...

Увы, такого брака быть не могло, поэтому его родителями оказались черноморские евреи, мудрые, как древний философ, и прекрасные, как парижские куртизанки.

Черноморские евреи рождали биндюжников, писателей, великих мошенников, гениальных ученых, рыбаков, аргентинских скотоводов, членов Кнессета, сенаторов, американских пиратов, одного тореадора и одного художника с Манхаттана, того самого, с модильяневскими глазами... Он жил на Манхаттане, смотрел на небоскребы и рисовал всегда одно и то же — окно поезда. Окно никогда не менялось — менялся только пейзаж за ним.

За окном мелькала то тосканская деревня, то одесский порт в июне, то рулетка в Монте-Карло...

Однажды художник написал Эмпайр Стейтс Билдинг, но он почему-то оказался на Греческой улице в Одессе...

Но чаще всего за окном мелькала мама.

Поезд мчался мимо кухни, где мама готовила котлеты, мимо очередей, где она стояла за рыбой, мимо двора, где она сушила белье.

Иногда мама отвлекалась от дел и улыбалась художнику с Манхаттана.

Художник хотел остановить поезд, но тот никогда не останавливался, а летел куда-то вперед и летел...

Тогда он бросал кисть, брал пару морковин и начинал готовить сок. Или делал сок из апельсина. Или выдавливал лимон. Он знал — когда в следующем письме мама спросит, что он кушал, — ему будет что ответить. И мама останется довольна!

И только еще раз поинтересуется, что же все-таки такое "авокадо"?

С этим авокадо вышла целая история.

В одном из писем он упомянул об этом самом авокадо. Черт его дернул написать, что здесь, в Штатах, он впервые познакомился с авокадо!

Мама об авокадо никогда не слышала. Она никогда их не видела и не подозревала об их существовании.

И что самое главное — мама читала между строк. Все там читали между строк — только так можно было чего-то понять.

И сам художник всегда читал между строк и только совсем недавно научился читать нормально.

Читать по-английски, да еще между строк — это было для него чересчур!

Но мама — мама продолжала читать по-старому.

— Не связывайся с адвокатами, — ответила мама, — это сволочи! Они тебя обдерут, как липку! Ты помнишь нашего Ландау?

Художник помнил. Он помнил, как Ландау забрал у мамы всю получку и дал ей такой совет, что... А, чтоб он сгорел! Но причем Ландау к авокадо?

И художник объяснил маме, что авокадо — это фрукты.

— То, что я тебе и писала, — ответила мама. — Это еще те фрукты! Можешь мне не рассказывать. Ты помнишь Киселева?

Художник помнил и Киселева. Из-за него они все чуть не поехали в гости к папе. В этом бы не было ничего страшного, если б папа в то время не был в тюрьме.

И художник опять объяснил маме, что же такое авокадо.

Но сколько он ни объяснял — мама читала между строк. Что вы хотите — она по-другому не умела.

Она умоляла написать, что случилось и почему он нашел этих подонков?..

И тогда, с Гарри, бизнесменом, который торговал с Москвой, он послал маме один авокадо — больше американец не взял.

Художник умолял Гарри рассказать маме все об авокадо и показать, как его надо есть.

Но американец, не выдержав местной пищи, еще в Ленинграде, в "Астории", сожрал этот авокадо и наболтал маме всяких глупостей...

Мама поняла, что дело серьезное, и затребовала вызов! Причем на туристскую поездку.

— Я умею говорить с этими фруктами, — писала она, — мне хватит двух недель!

И тогда художник переснял статью об авокадо из Британской Энциклопедии, заказал перевод, заплатив большие деньги, заверил его у нотариуса — иначе бы мама не поверила — и послал все это в Одессу. Но и энциклопедию мама читала между строк. Вычитав, что авокадо в основном растут в Израиле, она позвонила!

— То что, ты решил переехать на Святую землю — я поняла. Но учти, даже там полно этих сволочей. Ты помнишь Ландау? Так он там!..

Художник понял, что этой проблемы ему не решить. И он нашел адвоката.

И выиграл этот процесс! Мама наконец все поняла и только просила тщательно мыть эти злополучные фрукты...

Вот так он и жил — рисовал, тщательно мыл авокадо и вспоминал море в июне.

И ждал счастливых минут. И эти минуты приходили. И обычно часа в три ночи. И обычно — по телефону. И всегда — по коллекту.

Но кто не оплатит счастливых минут!..

И всегда эти минуты доставлял ему его антрепренер.

Антрепренер жил в Европе и говорил на пяти языках. Причем сразу. Было ощущение, что он великолепно владеет каким-то средневропейским языком, который сам изобрел и которым сам пользовался. Язык был уникален — его понимали все, даже японцы, даже бедуины и даже глухие, не говоря о художнике, который уже начинал кумекать по-английски.

Главной отличительной чертой этого языка были нежные чешские интонации.

У антрепренера был бескрайний живот, необъятная борода и великолепный аппетит. Можно было подумать, что его родителями были Гаргантюа и Пантагрюэль. Познакомились они на выставке художника в Нью-Йорке.

— Мамичка! — восклицал антрепренер, глядя на полотна. — Вы есть гений, мамичка!

Художника никогда до этого не называли ни гением, ни мамичкой, и он был польщен.

— Вы покупаете картины? — спросил он.

— Что вы, мамичка, — замахал тот руками, — я организатель!

— Что-что? — не понял художник. Он тогда еще не знал средневропейского.

— Организатель, — повторил антрепренер, — и открыватель! Я открываю художников.

— Меня не надо открывать, — заметил художник, — меня давно открыли. Шампанское открыто — его надо пить.

— Мамичка, — сказал антрепренер, — вы — очибайтесь. Это закрыть можно раз и навсегда. А открывать можно много. Разве вас открыли для Европы?

— Не думаю, — сказал художник.

— Так я вас открою. Летом. В Базеле. В банке! И отрастите усы, как у Дали.

— Это еще зачем? — поинтересовался художник.

— Для лучшей продажи, мамичка!

— Ни за что! — возразил художник. — Так можно зайти далеко! Так можно продавать картины, в чем мать родила...

— На крайний случай подойдет и это! — заметил антрепренер. — Ждите звонка!

И улетел в Европу.

Ко всему прочему, антрепренер, как он утверждал, был еще и сюрреалист. Видимо, поэтому он и звонил только ночью.

Услышав звонок, художник вскакивал и, все кроша на своем пути, неся к аппарату.

— Будете говорить по коллекту? — слышал он обычно в трубке.

Он не спрашивал, с кем — по коллекту ему звонил всего один человек в мире. Даже его старая мама не позволяла себе такого. И даже когда дело касалось такой серьезной проблемы как авокадо, она звонила за свой счет.

— Буду! — отвечал всегда художник. — По коллекту, так по коллекту.

— Он разорит нас, — бросала всегда жена художника, — это три дня моей работы!

— Почему ты не спишь, — спрашивал обычно художник, — когда спит весь Нью-Йорк?!

Жена не успевала ответить, так как в трубке слышалось уже что-то средневропейское.

— Добже ивнинг, — говорил, как правило, антрепренер, — в диманшу ваша приватная вернисажа!

Или "приватная вернисажа" бывала в "динстаг", или в "мондей".

— Когда вылетаете, мамичка?..

После таких разговоров художник больше не спал... Он начинал тут же складывать чемоданы, заставлял жену среди ночи гладить рубашки и грохотал рамами, хотя до вылета часто было еще пять-шесть дней...

Художнику не терпелось к тому окну поезда, которое он так часто рисовал на Манхаттане.

В самолете он всегда пел и рисовал стюардесс. И рисовал пилота, и штурмана, которого чуть не сбил с курса.

Попробуйте не сбиться с курса, когда надо сидеть в профиль... Но художнику было наплевать, сбит курс или нет, сядут они в Париже или в Лондоне. Лишь бы в Европе.

И каждый раз он открывал Европу, словно Колумб Америку.

— Здравствуй, Европа! — говорил он еще с трапа. И казалось, что вся Европа, во всяком случае, Западная, отвечала ему:

— Здравствуй, художник из НЬЮ-АМСТЕРДАМА.

Потому что, хотя он и жил в Нью-Йорке, но всем говорил, что обитает в Нью-Амстердаме.

И на то были свои причины. В этом названии для него сочетались и Нью-Йорк, и Голландия.

Художник обожал Голландию. За то, что она пригрела Спинозу, за Рембрандта с Саскией и за голландский сыр. Нет, за сыр он больше любил Швейцарию, потому что нигде не было такого "грюйера" и такого "тартара". И нигде не было таких Альп, такого Женевского озера и такой демократии, за которые он тоже любил Швейцарию. Правда, когда речь шла об озерах, всегда всплывала голубая Финляндия. И он любил ее тоже.

Короче — художник любил Европу. Иногда ему даже казалось, что это евреи открыли ее — иначе почему ж она называется ЕВРопа...

А Голландию он любил за голландского консула в Москве. Консул действительно был весь голландский — он курил голландский табак, носил голландский костюм, и в кабинете его пахло голландским сыром.

Он был похож на шкипера, которого бурей, прямо с "летучего голландца", занесло в посольский кабинет.

У художника в то время было только одно голландское — сопли, которые текли от дикого московского холода и только что испытанного страха. Потому что, когда пронесишь на своем теле архив через советского майора, который тебя видит до трусов и дальше, — испытываешь страх... Если бы не худоба художника, он бы не смог разместить на себе весь архив. К счастью, майор не заметил, как быстро растолстел будущий художник из Нью-Амстердама, до этого они не были знакомы.

Художник вошел к консулу смело — он знал, что голландцы приучены к живописи.

Консул предложил художнику стул.

— Сколько вам надо денег? — спросил он.

В основном отъезжающие приходили к голландцу за деньгами. И он давал — кому двести, кому пятьсот... Он давал щедро. Может, потому, что деньги были израильские.

Все с удовольствием дают советы и распоряжаются чужими деньгами...

— Сколько вам надо? — повторил голландец.

Несмотря на повторение, художник неправильно истолковал вопрос.

— Я не собираюсь их продавать, — ответил он.

— Чего? — удивился голландец.

Художник начал раздеваться. Он снял пиджак, рубаху и взялся за брюки.

Консул видал многое на своем веку, кроме мужского стриптиза в посольстве.

— Что вы делаете? — спокойно спросил он.

— Распаковываю архив, — ответил художник и стал выкладывать на стол свои эскизы, наброски, тетради, блокноты и акварели. — Вот, шестьдесят лет жизни и сорок лет творческой деятельности. Это мой архив! Вся моя жизнь на вашем столе.

— Что вы имеете в виду?

— Они выпускают мое тело и хотят оставить здесь мою душу.

Консул затыкнулся трубкой.

— Что вы предлагаете? — спросил он.

— Через три дня это тело, — сказал он, — покинет эту страну! Тело поедет поездом. Вы можете переправить душу дипломатической почтой?

— Какое отношение имеет душа к дипломатии? — улыбнулся консул.

— Не будем обижать вашу уважаемую профессию, — заметил художник, — может, душа и не имеет отношения к дипломатии. Но к некоторым дипломатам?

— Что вы имеете в виду? — спросил консул.

— Вас, — ответил художник. — Мой глаз не ошибается. Вы — душевный дипломат.

— С чего вы взяли?.. Нет, нет. Когда-то, может быть, когда-то...

— И сейчас тоже, — заявил художник.

— Не-ет... Все прошло... Вот когда я был шкипером...

— Вы были шкипером?! — вскричал художник.

— Еще каким!

— Значит, вы возили контрабанду?!

Консул поперхнулся.

— Никогда, — сказал он, — ни разу!

— Ни разу?!!

— Ну, один раз, по глупости! И это была рыба! Которую мы, к тому же, не продали.

— Послушайте, — сказал художник, — если вы перевозили какую-то тухлую рыбу, неужели вы не можете перевезти мое творчество?!

— Нет! — громко произнес консул. — Нет!

— Хорошо, — печально ответил художник и достал кисть, — хорошо. Сейчас я набросаю ваш портрет, и вы сами увидите, какой я художник и какой вы добрый.

Он достал холст.

— Сядьте в профиль.

— Но там очередь.

— Я не Рембрандт, но художник! Пятнадцать минут у вас есть?

Пятнадцать минут бывший шкипер сидел в профиль к будущему художнику из Нью-Амстердама. Он делал страшные гримасы, чтобы художник не нашел в нем ни грамма добра.

Через четверть часа художник протянул ему портрет.

— Вы видели когда-либо более доброе лицо?

Бывший шкипер не видел. Он был изображен во фраке, на капитанском мостике фрегата, глядящим на горы бумаги, высящиеся на палубе.

— Что это? — спросил он, указывая на кипы.

— Мой архив, — ответил художник.

Бывший шкипер бывалым взглядом оглядел архив.

— Это все? — спросил он.

— Все!

— М-да... — он набил трубку. — Наша Голландия, мой дорогой, очень маленькая страна. Сорок одна тысяча квадратных километров. И у нас маленькая дипломатическая почта. Ваших бумаг нам хватит на месяц.

— Я не тороплюсь, — ответил художник. — И потом, если маленькая дипломатическая почта спасет большого мастера — разве это плохо? У нас вот большая дипломатическая почта, а какой от нее прок?

Консул долго молчал. Наверное, в этом не было ничего удивительного. Говорят, голландцы любят помолчать.

— И это тоже дипломатической почтой? — спросил он, указывая на свой портрет.

— Это вам, — улыбнулся художник.

...Никогда художник из Нью-Амстердама не был дипломатом, но его самые дорогие вещи тряслись вскоре в дипломатическом багаже...

И вот, когда ему особенно не писалось, и за окном поезда, которое он рисовал, вдруг появлялись мрачные картинки, он откладывал краски, брал стул, лез на шкаф и начинал перебирать свой архив. И перебирая его, он и увидел, как постарела его мама.

Там, в Одессе, он часто навещал ее, приходил, сидел на кухне, и пока она стряпала ему, он ее рисовал. Раза два-три в неделю... Лет тридцать... Не замечая, как она стареет. И вот здесь, в Нью-Амстердаме, вдруг заметил. Заметил, как она согнулась. Была стройной — и вдруг, будто ветер подул... И только здесь, на Манхаттане, так далеко от нее, он это увидел.

Он смог проследить, когда появились первые морщины и когда она впервые одела очки. И когда черные волосы сменились седыми.

Художник слышал, как мама спрашивала его: "что ты получил сегодня

в школе, мой мальчик" и "почему у тебя разбиты коленки", и "почему б тебе не стать инженером, как все нормальные люди". И "береги себя, сыночек" и "не лезь под пули", и "постарайся вернуться назад"...

А потом, когда он вернулся — "почему б тебе не жениться? Она такая красивая девочка" и "почему ты рисуешь этих голых теток", и "почему у тебя такие грустные глаза?".

И, наконец, "пиши"...

И вот за этими-то вопросами, за этими "почему" и "отчего", она и постарела...

И он писал своей постаревшей маме, и рассказывал ей все, даже про авокадо...

...Звонок раздался, как всегда, в три ночи. И, как всегда, в кредит. В темноте он еле нашел трубку.

— Будете говорить по коллекту?

— Это он, — простонала жена. — И ты опять потащишься в Европу.

— С чего ты взяла? Мы ж еще не знаем, что он предложит.

— Мы не знаем... Ну, ну... Потащишься — и опять не продашь ни одной картины!

— Кто знает? — сказал он, — Раз на раз не приходится.

— У тебя именно раз на раз!

— Почему? В прошлую поездку чуть было не продал.

— Чуть было... Ты опять будешь писать невесть что, каких-нибудь нимф, как тогда, и наш дом снова превратится в филиал 42-й улицы с табунами голых метисок.

— Кто виноват, что этот цюрихский воротила обожает метисок? — спросил художник.

— Почему же он их тогда не купил?

— Их ненавидит его жена, — ответил он.

— Она что, расистка?

— Я думаю, здесь иная причина...

Они б еще, может, долго так перебрасывались, если б в трубке не раздался нежный баритон антрепренера.

— Добже ивнинг, мамичка, — произнес он, — диманшу ваша приватная экспозиция!

— Где? — спросил нетерпеливо художник. — Why?

— Свитцерланд, — ответил антрепренер, — малюйте виноградники!

— Зачем? — удивился художник. — С какой стати?

— С такой, — просто ответил антрепренер.

— Но почему? Что это такое? В прошлый раз я вынужден был рисовать лесбиянок, до этого — тюленьих детенышей, теперь виноградники! Я не разбираюсь ни в первом, ни во втором и ни в третьем!

— Мамичка! — взмолился антрепренер, — Евреев, которых вы малое-те, не треба в горах.

— В каких горах?!!

— В Альпах, мамичка!

— В Альпах?!!

— Вернисаж в горах, мамичка. Виноградари не разбираются в евреях. Они разбираются в виноградниках.

— Но я в них не разбираюсь!

— Пойдите на базар, мамичка, посмотрите виноград, подороже, и повесьте его на дерево.

— На дерево? — переспросил художник, — Вы уверены, что он растет на дереве?

— А почему бы и нет? Если яблоки и грушки на дереве, то где, по-вашему, быть винограду?

— Где хотите, — ответил художник, — я нарисую его, где вы скажете.

— Добже! Только рисуйте покрупнее, не как лесбиянок. Учтите, горцы покупают виноградник, а не картину! Побольше винограду на одной картине.

— Как я успею столько винограду к диманшу?! Можно к сандэй?

— Мамичка, — вскричал антрепренер, — что вы такое говорите? Диманш и сандэй — это же "ля мэм шоз"! Одно и то же! Нэ спа?

— Я не сплю, не сплю, — бросил художник, — я хотел сказать: сэтэрдэй! Сэтэрдэй — это что? Это какой день?

— Саббат, — ответил антрепренер, — шаббат шолом! А сандэй — это диманш-шолом. Чикаем диманш-шолом, мамичка.

— Не могу, — закричал художник, — не успеваю!

— Диманш-шолом — вся аристокраця в горах, мамичка!

— Но почему горы? — жалобно спросил художник, — Как я туда, простите, заберусь?

— На авионе, — парировал антрепренер, — я нашел авиону!

— Для меня?!!

— И для аристокрацы! На вернисажу — в авионе!!! Вы где-нибудь слыхали такое, мамичка? Малюйте горы — и мы станем миллиардерами!

— Горы или виноград? — уточнил художник.

— Виноград в горах! — ответил антрепренер, — и не ниже трех тысяч метров над уровнем моря!

— Боже, что вы со мной делаете. У меня горная болезнь. Вы не можете организовать выставку пониже? Где-нибудь в низине.

— Абсолютно аусгешлоссен, — произнес антрепренер, — картины на восхождении. Аристокраця тоже...

...Той же ночью художник начал рисовать горы и виноград. Только Бог и жена знали, чего ему это стоило. Он всегда мечтал писать море и евреев, а средневропейский антрепренер толкал его в горы, к винограду, к лесбиянкам...

Он писал горы, невысокие — он боялся, что на высоких у него закружится голова. На вершинах росли диковинные деревья. С деревьев свисал виноград, по три доллара за кило. Такой он видел на нью-йоркском рынке.

А потом он нарисовал маму. На нескольких вершинах она собирала виноград, и вокруг нее стояли виноградари с библейскими лицами. Он так и назвал картины — "Мама в горах", "Мама на перевале", "Мама, покоряющая Мон-Блан".

— Скажи мне, — вздохнула жена, — когда ты уже расстанешься с этим папичкой? Пять раз ты мчался в Европу. И что?..

— Погладь мне, пожалуйста, рубашки, — попросил художник.

...Вернисаж открылся на уровне трех с половиной тысяч метров. На вернисаже были горные стрелки, проводники, спасатели, егеря, один пастух и несколько баранов.

На альпийской траве, в кислородной маске и выглаженной рубашке, сидел художник.

— Где аристократия? — приподняв маску, спросил он.

— Катастрофа, — объяснил антрепренер, — авиона задела за гору. Аристокраця в шпитале...

Мама художника перестала собирать виноград на картинах.

— Сынок, — печально говорила она, — зачем тебе бараны в горах? Спускайся в долину. Спокойно поешь и брось, наконец, этого папичку. Это хвороба, а не папичка!..

— Послушайте, — сказал художник, — вы просили виноград — я нарисовал виноград. Но, тем не менее, у меня такое впечатление, что сейчас опять не купят ни одной картины.

— Не купят, — ответил антрепренер.

— Вы можете объяснить, почему? Разве это не виноград? Или это не Альпы?

— Потому что это абсурдная живопись, мамичка. Я вас просил реализм, а вы мне дали абсурд. А они ничего не понимают в абсурде!!!

— Где? Где вы взяли абсурдную живопись? Покажите мне ее!

— Виноград на дереве — по-вашему, не абсурд.

— А где же он растет?

— На кустах мамичка!

— Вы-таки хвороба, — сказал художник, — спустите меня вниз. Я хочу вниз!

— Нема авиона, — развел руками антрепренер, — могу предложить вам горные лыжи. Это "Росиньоль". На них вы спуститесь часа за два.

— Куда, — спросил художник, — на тот свет? Так туда я спущусь гораздо быстрее.

— Тогда ждите лета, — посоветовал антрепренер.

До лета было далеко, и художник решил спускаться сам. И не на лыжах — на мягком месте. Как суворовские герои.

Это был кошмар. Он обгонял лыжников, подъемники, личный вертолет, хищных птиц, обвалы, делая сальто, кульбиты и периодически свободно паря.

И все время он слышал вздохи мамы.

Да, это был кошмар. Три месяца после этого он рисовал и ел стоя. На предложение сесть он вежливо отвечал:

— Спасибо, я постою.

За время спуска он потерял семь кило и вместо Швейцарии спустился в Италию, где был арестован карабинерами...

...Он не мог слышать об антрепренере и ничего не хотел знать.

Он смотрел на Манхаттан и понял, что тот красив. И не подходил к телефону, когда звонили в три часа ночи.

Жена пекла ему пироги и делала котлеты, такие же, как когда-то мама. Он даже нарисовал ее. Правда, она получилась похожей на маму.

Жена, похожая на маму, парила над Европой. Она летела над Виа Кондотти, над Сэн-Жермен де Прэ, над Лазурным берегом, над казино Монте-Карло и даже над этими проклятыми горами.

Так продолжалось полгода.

Потом вдруг художник начал просыпаться ровно в три часа ночи. Это было как болезнь. Потом пошли осложнения. Он начал снимать трубку.

Он слушал гудки, вздыхал и вешал ее. Затем он начал разговаривать.

— Согласен по коллекту, — говорил он и чего-то ждал...

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если б однажды, ровно в три, не раздался звонок. Художник прыгнул, как барс.

— Где вы были? — рявкнул он, — и почему не звонили?

— Во-первых, я звонил, — ответил антрепренер, — а во-вторых, у меня живот. Врач прописал мне шесть раз в день есть, остальное — спать! Я спал и готовился к санаторию. Сейчас я в санатории.

— Понятно, — сказал художник, — кого мы рисуем — язвенников, желудочников?

— Цыган, — ответил антрепренер, — малюйте коней и цыган!

— Папичка, — поинтересовался художник, — вы в каком санатории — желудочном или в нервном?

— Вы не знаете цыган, маэстро, — заявил антрепренер, — вы не знаете, как они любят свободу! Это удивительный народ!

— Вы-то их откуда знаете? — поинтересовался художник.

— Они тут разбили табор. Звучат песни, горят костры! Чавела, мамичка! Они раскупят вас, и мы станем миллионерами!..

И художник принялся рисовать цыган.

— Идиот, — шумела жена, — куда ты едешь? Тебя украдут.

— Я ценен только для тебя, — отвечал он, — и потом, я не конь...

Цыгане у художника получались — ведь он жил в Одессе, недалеко от Молдавии, где когда-то кочевали Земфира и Алеко. И он писал табор за табором. в воздухе витали огни и свобода...

...Выставка была под открытым небом.

На вернисаже, по зеленому лугу, как у великого одессита, ходили женщины и кони.

Затем они расселись по кибиткам и укатали.

— Уже? — спросил художник.

— Вы разве не знаете, что это кочевой народ, — заметил антрепренер, — они долго не могут на одном месте.

— Да, но выставка?

— Собирайте живо ваши картины, — приказал антрепренер, — я знаю, где они разобьют свой новый табор...

На новом месте все повторилось...

Так они кочевали около месяца.

Художник пил вместе с ними бессарабские наливки, скакал через костер, кричал "чавела", стонал "Очи черные", заливал вином скатерть белую и орал "поцелуй меня — не отравишься"!

Мало-помалу он сам становился цыганом, и однажды почувствовал страстное желание украсть коня.

Но что бы он с ним делал?..

Он скакал, пел и в тайне ждал, что кто-то купит хоть одну картину. Ждал он долго. Наконец, одно полотно украли.

Художник был рад.

— Значит, я нарисовал прекрасного коня, — сказал он.

И они вновь поехали за табором. Но в этот раз табору все-таки удалось от них смыться.

Кроме украденной, больше ни одной картины не купили.

— И знаете, почему, мамичка?! — злорадно спросил антрепренер.

— И не хочу знать.

— А потому, — продолжил он, — что вы вместо цыган намалевали евреев!

— Что хотел, то и намалевал, — заметил художник.

— Даже у ваших коней еврейские глаза, — кричал антрепренер, — посмотрите, сколько в них печали. Их что, ведут на убой?

— Не ваше дело, — отпарировал художник, — куда их ведут.

— А ваши цыганки?! Это же ваша мама. Она что — цыганка, я вас спрашиваю?

— Мою маму я вас прошу вообще не касаться.

— Нарисовали, понимаете ли, еврейский табор, и хотите всучить его цыганам. У них своих болячек хватает.

— Что вы понимаете в цыганах, — бросил художник, — чавела?!

— Мамичка, — примирительно сказал антрепренер, — когда вы уже поймете, что евреи сегодня не товар, и что когда заказывают цыган — не надо малевать библейские лица.

— Так вы немножечко антисемит? — пропел художник.

— Я, к вашему сведению, немножечко еврей! — загорелся антрепренер, — но не дилетант, как вы, а профессионал! И кто, наконец, организатор экспозиционных — я или вы?!

— Что? — не понял художник. От волнения он забыл среднеевропейский язык.

— Кто организатор, я спрашиваю?!

— Послушайте, организатор, — вдруг сказал художник, — оставьте меня в покое! Мне надоели ваши лесбиянки на конях, ваши горы с виноградом и виноградари с цыганками! Я писатор, вы разумеете, писатор!

Художник неожиданно заговорил по-среднеевропейски.

— Я пишу картины и не умею писать товар, Верните мне мои карти-

ны и оставьте себе ваш товар. И кончен бал. Мне надоели ваши вернисажи в диманшу и ваша аристокрация в горах. Где мой билет на Нью-Амстердам?!!

И художник улетел.

А антрепренер попал в шпиталь. У него опять заболел живот. И никто не мог найти, где болит. Иди найди, когда его живот превосходил по размерам среднюю прибалтийскую дюну...

...За окном у художника был Манхаттан. На окне — морковный сок. И он мог рисовать все, что хотел. Но почему-то не писалось. Неожиданно он начал вновь есть авокадо. Говорил со сна по-среднеевропейски. Читал "Цыган" Пушкина. Будил жену криками "чавела" и однажды сам у себя украл портрет коня.

Иногда он все-таки думал, как ему хорошо, как спокойно, не надо лезть в горы, не надо спускаться прямо в лапы полиции, не надо заставлять маму собирать виноград на вершинах и носиться в поисках табора.

Но во сне он опять летал над Мон-Бланом, прогуливался с лесбиянками по Виа Венетто и пил кофе со сливками "аристокрация".

Однажды, глубокой ночью, он встал, побрился, надел лучший костюм, нацепил "бабочку" и собрал чемоданы. Затем он подошел к телефону и набрал номер.

— Где вы, мамичка, — услышал он в трубке, — я скучаю по вас...



Живаго и Кукурузник

Сказочка такая была, помните, наверное. Про Колобка... Как он от волка ушел, от медведя ушел, а уж от лисы...

К чему я это? Да, ведь — вот как странно получается. Живаго от Шалашника Разливного ушел, от Генералиссимуса ушел, а Кукурузник его все-таки достал.

Мне могут возразить, дескать, не казнили же, не посадили, не сослали даже...

— Подумаешь, — скажет кто-то, типа Собакевича, — мол, нервы надо крепче иметь!

Но откуда у поэта нервы? Ведь это же струны, на которых играет он миру о своей любви и грусти.

И окружает поэта печаль просторная, как небо на ветру.

"Жизнь прожить — не поле перейти"... Особенно, если жизнь эта при вождах, обрушивающих на нас социализм. Любый живший (и живущий) тут искалечен его обломками. И я, автор, пришедший к размышлениям своим по полю жизни. Не исключено, что минному...

Итак, Шалашник в Разливе Живаго погубить не успел. Тут, видимо, многие подсутились. И Каплан — косоглазая киллерша, забывшая право: "Не умеешь — не берись!". Хорошо, хоть вообще попала.

Вероятно, и Арман, одарившая вождя своей национальной болезнью. Опять же, цветочки на ее могилке поливать надобно, еще священников побольше расстрелять... Ох, а на все время-то нужно!

Опять же, те теребят, эти... ходоки, эсеры, соратники. И для каждого слово придумай, легендочку развей. Для потомков...

В общем, масса дел, архисложных и архисрочных...

С миру по нитке...

Генералиссимус Живаго не трогал. Возможно, просто не до того было. То коллективизация, то борьба с оппозициями, а их не сосчитать, потом война, а после войны опять борьба. С разрухой, с ленинградцами, с врачами, с безродными космополитами... Забот полон рот!

Но как-то позвонил, Сам! Правда, о жизни и смерти поговорить с Живаго не захотел. И то — кто больше вождя знал о смерти? Так что, разговоры таковые — пустая трата времени.

Опять же, космополиты...

Кстати, под понятие — безродный космополит — Живаго очень даже подходил! И родственники в Оксфорде! Живые! Но проскочил Живаго. Самого Генералиссимуса проскочил...

Видимо, как говорил, сперва у вождя руки не доходили, а потом он сам, слава Богу, дошел.

А возможно, Генералиссимусу очень понравилась эпиграмма на злейшего друга Шалашника, которую написал Живаго.

Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной.
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.

Впрочем, сказанное можно отнести и к самому Генералиссимусу...

И Кукурузник Живаго спервоначалу не трогал. Он вообще понятия не имел — кто это такой. Малограмотным, на всю голову, был Кукурузник.

Собственно, так тогда велось. Кто малограмотней — тот выше. И голова полегче — вниз не тянет.

Кукурузника интересовали международные дела. Да еще как! Очень он это дело любил. В гости куда съездить, туфлями по столу постучать... Хотя, туфлями он только один раз и постучал. Уж больно жали! Новые пришлось в гости к мировой общественности надеть, не разношенные. А они жали, гады, да так, что спасу нет. А тут такой случай! И туфли, наконец, скинуть можно, и свой протест мировому империализму выразить.

Только империалисты эти и примкнувшие к ним слабовольные демократы порыва души не поняли, не оценили. Вернее, оценили, но в довольно-таки крупную сумму. Хорошо, хоть не Кукурузнику платить, а государству.

Опять же, туфли, после всего, снова надевать пришлось. Так что обидно до слез!

Большое зло затаил Кукурузник на империалистов и их пособников. Тем более что еще одна причина имелась. Уж больно Кукурузник Нобелевской премии добивался, И для себя, и для Плагиятора Донского. (Был такой "писатель", прославившийся романом, украденным у другого, и доносами, написанными собственноручно). Нобелевская премия — это тебе не Ленинская! За нее, кроме денег настоящих, почет и уважение во всем мире. Деньги можно державе вернуть, в компенсацию за туфли, а почет себе оставить. Такого почета на всю жизнь хватит!

Эх, мечты...

А Нобелевскую премию совсем другому дали. Какому-то Живаго...
А еще за роман, опубликованный за границей. У империалистов... У тлетворных западников...

— А это кто такой? — в ярости Кукурузник.

— Поэт! — отвечают, разузнав.

Да, чтоб какому-то рифмоплету за его куплеты премию такую дали, а Кукурузнику — шиш! Такого и быть-то не должно!

Показать этому Живаго Кузькину Мать!

Это команда такая у Кукурузника имелась, типа — Фас! — у собачников. Ну, и кинулась свора собачья на Живаго, лая и подвывая.

У псов свои резоны имелись. И назывались они так:

— Зависть.

— Невежество.

— Ненависть.

— Бездарность.

— Трусость.

— Простота.

Названий-кличек много больше, но разве имена всех шавок запомнишь! Да и много чести... Опять же, о те времена множество собак под одной кличкой ходило.

И началось!..

Обо всех и говорить не стоит. Да и противно. Да и жутко, до чего люди дошли. Вина на них страшная...

Были и такие, кто промолчал. Даже не знаю, как их назвать.

Нашлись и приличные люди. Среди писателей, я имею в виду. Немного... Гораздо меньше промолчавших. Может, с десяток... Хотя, на такую страну и десяток приличных людей-писателей немало! Очень даже немало!

Множество кар братья-писатели, поддержанные "всем советским народом", предлагали.

Среди самых мягких, сторяча, выслать Живаго решили просить у правительства. Даже, вроде, попросили. Потом, правда, обратный ход дали. Рассудили примерно так:

— Будет Живаго на проклятом Западе жить-поживать, как им и не снилось, а им тут гнить при родном социализме! Несправедливо!

Короче, передумали. А зря! Им и в головы не пришло, что Живаго Родину любил. Не так, как они, а по-настоящему. Любил и дорожил ею. Они-то душу готовы были продать за заграникомандировки.

Передо мной стенограмма заседания Союза писателей, Того самого, на котором Живаго из членов этого самого Союза исключили. Лучшего поэта России! Величайшего!

Смотрю на имена выступавших. Бездарь, бездарь, бездарь... Все бездари? Увы, нет! Так почему же? Говорил уже — у своры много имен.

А что Кукурузник? А Кукурузник телеграммы получать стал. Из других стран. И в огромном количестве! Раньше только из соцлагеря приходили. да и то на праздники, а тут — лавина!

Обрадовался сперва Кукурузник, а как читать начал — разозлился. Все о Живаго писали!

Потом его идея осенила. Да такая классная, что он ею с Политбюро поделился:

Хочешь, чтоб тебе почаще писали — начни всяких Живаго прижимать!

На всякий случай слегка свору свою попридержал. Не успели псы-горемыки затравить Поэта сразу. Ну, да он сам, вскорости...

Ну почему, Господи, не сбылись слова, к Тебе обращенные?

И убитый гимназистик молил.

И убитый красноармеец молил.

И Живаго молил:

— Воззовет ко Мне, и услышу Я его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его; долготой дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое.

(Пс. 90)



Дядя Вова

Вова Великанов любит животных и Маму. Мама любит Вову заимообразно, а к животным равнодушна. Собственно говоря, она равнодушна и ко всему остальному. И если бы время от времени ее не донимал волчий аппетит, она была бы, вероятно, счастливейшим существом в мире.

Аппетит играет с ней в жмурки в масштабах отдельно взятой напрокат у жизни малогабаритной, но все же вполне достаточной для явного преимущества аппетита, квартиры. Вовина Мама не умеет за ним угнаться, а он то и дело набрасывается исподтишка и из-за каждого мало-мальски габаритного предмета на пожилого человека, совершенно игнорируя его гуманитарные права, и старуха перманентно сочиняет все более убедительные петиции, взывая о защите своего человеческого достоинства в соответствующие международные правозащитные инстанции, каковые (петиции) Вова периодически отправляет как бы по назначению, а на самом деле — в мусоропровод, который (мусоропровод) уже по уши забит туманными волеизъявлениями, а потому по лунным (а равно безлунным) ночам в нем раздается какое-то настырное несытое завывание, напоминающее гуд ветра в проводах из песни "Темная ночь", слова которой Вовина Мама помнит так же хорошо, как и то, что хочет поесть моментально. Поэтому Вова пресекает непрестанную кулинарную беседу упреждающим: "Мама, ты поела?". И сознавая эту единственную свою неперемнную обязанность, старуха истово рапортует: "Кушала, кушала". Хотя уверенности в сказанном не испытывает категорически.

Возвращаясь домой, Великанов застает ее то на полу, то на потолке, то на стенах, куда она забирается в поисках хлеба насущного, который преспокойно, но без всяческого аппетита, а потому совершенно безуспешно, караулит ее в окрестностях древнеегипетского холодильника "Саратов-2". Вова ссаживает Маму с какого-нибудь Пика Коммунизма в потертое залапанное кресло, присоединяется на обглоданный подлокотник и, тихонько причитая, гладит виновато склоненные ломкие седины. И не слышит ничего другого, кроме извиняющегося: "Володенька".

Да я в точности и понятия не имел, что это так, что именно "Володенька". Хотя был интуитивно убежден в абсолютной достоверности своего предположения. И, как умею, расскажу о причинах этой моей убежденности. Причины, надо заметить, курам на смех. Но что же еще никого не рассмешило в этой жизни? Похороны Падди Дигнама?.. Так и оставим в по-

кое литературные знаменитости и разные прочие Айриштаун, Рингсенд и Брансвик-стрит и направимся на вечернюю Путанэнштрассе ибн Дерибасовскую. Туда, где спокон веку почетное место транспаранту: "ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖАТЬ НАРОДУ". Где на каждом фонарном столбе повесилась какая-нибудь сердобольная сестра типа "Привет участникам! Олимпиада". В смысле Оля, я тоже ее знаю, в смысле тоже участник. Она родилась в восьмидесятом, в тот год ("кстати, о животных..."), когда и Мишка Олимпийский, и "родаки" не нашли ничего лучшего как. Но эта спортсменка олимпийского резерва уже без перспективы взойти на пьедестал того же почета. Поэтому вполне может нас тренировать. А вот когда услышал за спиной по-сиротски пронзительное: "Дядя Володя! Дядя Володенька!", стало мне как-то невтерпеж неудобно рядом с таким уж, казалось бы, родным и закадычным Великановым. И я стыдливо ускорил шаг, покуда он там с разухабистыми малолетками объяснялся, почему-то больше похожий на Деда Мороза при исполнении, нежели на лупоглазого папика при беспределе. Я тогда просто обстоятельств не знал. Кое-каких.

Вовка Великанов любит животных и Маму. Мама всегда при нем. Лежит в кармане. Он достает ее оттуда по сто раз на дню. Нажимает несколько клавиш и спрашивает: "Мама, ты поела?". Вопросает иногда с интервалом в десять минут. И Мама неизменно отвечает: "Да кушала, кушала. Сию минуту". А то вдруг сама запоем в кармане электронным голосом: "Ты меня ждешь, ты у детской кроватки не спишь...", с рефреном: "Ты скоро?". На что Великанов неизменно отвечает про производственное совещание, чем веселит всю честную компанию.

А животных у Вовы нет. И не было никогда. А очень хотелось обнимать кого-нибудь и гладить не против шерсти, поскольку его самого — не очень-то. Вот он и бродит по (кругом) упомянутой "штрассе", где полно экзотической твари по паре. Для совместного фотографирования. Пойдешь направо — с питоном и вараном песнь заводишь. Налево — с бабуином говоришь. И даже с шиншиллой. Я же вам уже рассказывал, как нас по пьянке снимали с последней (то есть фотографировали, не путать), потом совали оплаченные самим же Великановым снимки, а он еще отнекивался: "Да не снимал я никакую Шиншиллу! Я тогда Олимпиаду снял!". Раз у него что-то там такое иммунолог нашел и посоветовал познакомиться с эхинацеей. "Эхинацея? Кто такая, — откликнулся Вовка, — почему не знаю?"

Думаю, из-за этой-то страсти неутоленной Фауна с Флорой к нему и прибились. Две помянутые малолетки, писючки, если называть вещи по

именам. Но если по именам, так это он, Великанов, байстрючек нарек. Потому что Фауна в девичестве звалась просто Файной, а Флора — соответственно Лорой. Они Вовку беззастенчиво доили по мелочам, а он им выдвигал один и тот же меморандум насчет сбережения чести смолоду. На что Фауна отвечала: "Так это — у кого есть". А Флора прибавляла: "Было бы что беречь, так берегла бы, — и после паузы, — в сберкассе". Тогда снова подхватывала ехидная Фауна: "В сберкнижке на предъявителя".

А зацепил он их хрестоматийно. Поначалу поймал меня. И давай привычно кормить, вроде паллиатива Мама. Я, кстати (или нет), тоже хожу голодный от свежего воздуха, а не в пример старухе, которая чуть съест и тут же запомнит, что ела. В смысле — не что конкретно съела, а что этот пищеприемный процесс состоялся в принципе. "Ну что, Кубарек, — это он так нежно меня величает, — как ты насчет пожрать? Как всегда?". "Да, — говорю, — хорошо бы чего-нибудь перекусить. Горло". Ну вот. А потом до того накушались, что до шиншиллы дошло. Короче, Великанова чуть новые ментурионы не нагрели на "зелень" (и ведь без всяких тебе приятных и вместе полезных услуг), насилу отбились от рук. И от меня Вовка отбился. А после одна из этих малявок: "Мужчина, который час. Дядя, дай закурить" и все такое. И вот же везунчик: его двадцать раз уже должны были облапошить чертовки эти профессиональные, так нет же, они с ним жалостливые, поскольку насквозь видят. Знают, что у него Мама, которая всегда впроголодь. Что он и есть подлинный кормилец. Да, так он ведь всегда в номерок какой-нибудь древнеримский притащит — в гостиницу "Спартак", или "Клеопатра", или "Цезарь". А тут — домой! Маме: "Это мои сотрудницы". Мама: "Такие молоденькие?". Вова: "Практикантки". Практикантки: "Мы по направлению. Повышаем, тетенька, квалификацию". А наутро обнаружилось, что весь запас цейлонского чая умыкнули. Заготовленный Вовкой для Мама на зиму. Что-то около килограмма. Повысили, так сказать, квалификацию в сопутствующей профессии. В общем — рецидив хронической болезни с осложнениями. А еще через недельку на "штрассе" они ему попались, да еще взялись насмехаться и рожи корчить: "Дядя Володя! Дядя Володенька! Приходи на палку чая!" и такое прочее. А что же Великанов? Ни за что не догадаетесь. Он тут же завалился в крутой супермаркет "Цейлон", набрал уж самого отборного, такого, что только на подарок, и им выносит. Шалавки подойти боялись, а он пакет на парапете подземного перехода оставил. За так. Он этот питомник потом всегда подкармливал за так. И не только этот.

Вот ведь бредом из какой-нибудь кухмистерской. Еда — она дифферен-

цированное развлечение. Олимпиады при ней не к месту. Как и прочие двухместные соревнования. К месту только Вовкина Мама, которая в кармане со своим — калорийным, а не колоритным — лейтмотивом. Да, так вот бредом это мы устало, "сыто отдуваясь и удовлетворенно цыкая зубом". Вовик готовится к депортации из центра на обочину города, домой то есть. То есть, пора Маме есть. Как вдруг "вне моего пути, но вслед за тем, как у меня дорогу разузнала" на горизонте — два "погибших, но милых создания", то есть две создания, явно в прогаре, как принято говорить, невестребованные равнодушным социумом. Безучастно присели на терраске второразрядной кафешки, пригорюнились так, что сердце кровью обливается ("У кого есть", — как говорит Фауна). Завидев Великанова, растеклись, расслоились, расплавились не улыбкой даже, нет, гримасой, пожалуй, глаза только одни лучезарные. И Вовка энергично тащит всех в "Сосулку", где отогреваемся тем более. И он же, елки-палки, снова похож на лучшую из версий Деда Мороза. "Погибшие" по собственному выбору заказывают пионерские напитки (они же на работе!) и непредумышленно строят мне глазки (они же в образе!). Болтаем совершенно по-человечески, без задней мысли. Вношу предложение организовать Городской клуб девственников имени Надежды Константиновны Крупской. "Но милые" предлагают Сару Бернар или Жорж Санд. Вспоминаю вслух, что мой товарищ Феликс К. заведомо выдвинул две другие кандидатуры: Анны Зегерс и Инессы Арманд. Вова голосует за Фанни Каплан. Наверное потому, что в его терминологии она тоже Фауна. Я вспоминаю о Розе Люксембург и Кларе Цеткин. Великанов мимоходом констатирует: "Что-то Мама давно не звонила". Принимаем еще по сотке "Немирова". "Погибшие" явно похорошели в моих глазах. Одна скандирует за мной, будто стихи повторяет: "То бишь, любишь, говоришь?". Другая что-то высматривает на противоположной стороне сквозь оконный витраж: "Из подворотни вышло четыре лица кавказской национальности...". Вова: "Что-то Мама...". "Но милые" повествуют о предыдущей ночи: всю дорогу гудели с какими-то прибалтами, вместо того чтобы. А те острили этак своеобразно, специфически. Комментирую: "Насильственно извлекаемые из трусов шуточки?". "Но милые": "Они тут чего-то строят. Из говенного силикатного кирпича". Я: "А что, он летает хуже огнеупорного?". Вова: "Что-то Мама...". Поем: "У Дяди Вовы в саду созрели вишни... А Дядя Вова с Тетей Олей нынче в бане...". Да здравствует безответственность! "Немиров" давно принял бутылочную форму, а голова квадратную. "Погибшие": "Жрала б... Жалость... Жало я... Да кружком говно лежалое...". Я: "Мир. Труд. Май-онез...". Вова: "Что-то... давно не...".

Откуда взялись Фауна с Флорой, Бог весть. Размахивают руками перед Вовкиным носом, который в форме баклажана (закусочный вариант) и по цвету приближается к нему же. Что-то такое несут они, как им и положено, нечленораздельное. Великанов подхватывается взрывообразно. Сформировавшееся мигом радиоактивное облако срывает с насиженных насестов и нас, мы едем-едем-едем в далекие края. Все вместе, то есть получается вшестером. Как только в машину втиснулись. Впрочем, я не вполне уверен, что это было. В смысле — какое транспортное средство. Но вот же именно тот случай, когда все средства хороши. Мы везем с собой кота, чижики, собаку и прочую скотинку... А Мамы дома таки да нет. Нигде. По всему периметру квартиры. По всей полезной площади, включая железобетонные стены и балкон. Парочка из флористическо-фаунистического питомника: "Мы на огонек зашли, а тут...". Сознание вернулось ко мне внезапно, и я направил курвятник в полном составе на все четыре стороны. То есть, мы пошли искать по всем направлениям. Без особой, вообще говоря, надежды. Не говоря уже об остальных "белых подругах". Часа через полтора безрезультатно сошлись близ парадной — как тот злой волшебник из "Алладина", которого сначала послали на все четыре стороны, а после все эти четыре ипостаси склеились в одну злостную прежнюю. И немедленно выпили. Потому что "погибшие" сказали: "Да какая сегодня, к черту, работа...". А "но милые" прибавили: "И вообще... Ну ее в жопу... Работу в смысле...". Я сказал: "Бедный Вовик". Прозвучало как "Бедный Йорик".

Зато наверху застали мизансцену поистине душераздирающую. В кухне, прямо на цементном полу, задрапированном одним жалким коммунальным линолеумом, сидела другая сладкая парочка — Великанов с Мамой. Сидели, привалившись друг к дружке, и гладили друг друга по никудышным, прямо скажем, прическам. "В кладовке нашел, — с хрипотцой выдал Вовка, — думала, это такой большой холодильник". Вовкина Мама мельком глянула на нас: "А, практиканты...". И снова уткнулась в Великановское плечо: "Володенька...".

Я ведь знал, знал!..

Светлячки

Рассказ

И все-таки, все-таки впереди огни!
В.Г. Короленко

Кто из писателей заметил, что приказ всегда приходит неожиданно?

Я вспомнил Виктора Некрасова, когда мне позвонили и почти категорически предложили: надо ехать на поле. Пожалуйста... выручай, мол, коллектив!

Действительно, это как гром с ясного неба. Тут ты распределил свой завтрашний день, все твое существо уже нацелено на то или другое дело. И сидишь накануне под телевизором хоть и расслабленно, но уже обреченно.

А такая телефонная встряска — ей-богу, не легче фронтового пакета, к тому же — не об отступлении, как было там, в романе про Сталинград, а поистине — о наступлении. Раз нужно быть на огороде — на том коллективном поле, где разбиты наши участки. И быть в качестве самом уязвимом — сторожа!

Да, ведь там воруют. Кто-то приходит и копает то картошку, то бураки с луком. Чтобы это предотвратить, оборудовали сторожевой пост — в форме контейнера, который специально завезли на край поля и обставили всем необходимым — от спальных мест до лесенки, чтобы лезть на крышу и наблюдать с нее за десятком участков с разными насаждениями, пусть и весьма хилыми...

Правда, раньше считалось, что в таком контейнере будет сидеть специально нанятый человек — из местных жителей, что ли, который и знает каждого возможного вора — из своих же — и которому за это хорошо вроде бы платят — теми деньгами, что уже собирали среди нас, членов Ассоциации. И даже не раз доводилось видеть и слышать, как у раскрытых створок контейнера кто-то копошится и громко отзывается. Ну, так в чем же дело — сорвалось ли это?

"Выручай, пожалуйста... — стояла в моих ушах просьба того, кто ведал огородами нашей Ассоциации — из сборища гулаговских жертв и их близких. — Так получилось... Надо завтра в поле — и с ночевкой. Не откажи, дорогой!"

Откуда взялись Фауна с Флорой, Бог весть. Размахивают руками перед Вовкиным носом, который в форме баклажана (закусочный вариант) и по цвету приближается к нему же. Что-то такое несут они, как им и положено, нечленораздельное. Великанов подхватывается взрывообразно. Сформировавшееся мигом радиоактивное облако срывает с насиженных насестов и нас, мы едем-едем-едем в далекие края. Все вместе, то есть получается вшестером. Как только в машину втиснулись. Впрочем, я не вполне уверен, что это было. В смысле — какое транспортное средство. Но вот же именно тот случай, когда все средства хороши. Мы везем с собой кота, чижики, собаку и прочую скотинку... А Мамы дома таки да нет. Нигде. По всему периметру квартиры. По всей полезной площади, включая железобетонные стены и балкон. Парочка из флористическо-фаунистического питомника: "Мы на огонек зашли, а тут...". Сознание вернулось ко мне внезапно, и я направил курвятник в полном составе на все четыре стороны. То есть, мы пошли искать по всем направлениям. Без особой, вообще говоря, надежды. Не говоря уже об остальных "белых подругах". Часа через полтора безрезультатно сошлись близ парадной — как тот злой волшебник из "Алладина", которого сначала послали на все четыре стороны, а после все эти четыре ипостаси склеились в одну злостную прежнюю. И немедленно выпили. Потому что "погибшие" сказали: "Да какая сегодня, к черту, работа...". А "но милые" прибавили: "И вообще... Ну ее в жопу... Работу в смысле...". Я сказал: "Бедный Вовик". Прозвучало как "Бедный Йорик".

Зато наверху застали мизансцену поистине душераздирающую. В кухне, прямо на цементном полу, задрапированном одним жалким коммунальным линолеумом, сидела другая сладкая парочка — Великанов с Мамой. Сидели, привалившись друг к дружке, и гладили друг друга по никудышным, прямо скажем, прическам. "В кладовке нашел, — с хрипотцой выдал Вовка, — думала, это такой большой холодильник". Вовкина Мама мельком глянула на нас: "А, практиканты...". И снова уткнулась в Великановское плечо: "Володенька...".

Я ведь знал, знал!..

Светлячки

Рассказ

И все-таки, все-таки впереди огни!
В.Г. Короленко

Кто из писателей заметил, что приказ всегда приходит неожиданно?

Я вспомнил Виктора Некрасова, когда мне позвонили и почти категорически предложили: надо ехать на поле. Пожалуйста... выручай, мол, коллектив!

Действительно, это как гром с ясного неба. Тут ты распределил свой завтрашний день, все твое существо уже нацелено на то или другое дело. И сидишь накануне под телевизором хоть и расслабленно, но уже обреченно.

А такая телефонная встряска — ей-богу, не легче фронтового пакета, к тому же — не об отступлении, как было там, в романе про Сталинград, а поистине — о наступлении. Раз нужно быть на огороде — на том коллективном поле, где разбиты наши участки. И быть в качестве самом уязвимом — сторожа!

Да, ведь там воруют. Кто-то приходит и копает то картошку, то бураки с луком. Чтобы это предотвратить, оборудовали сторожевой пост — в форме контейнера, который специально завезли на край поля и обставили всем необходимым — от спальных мест до лесенки, чтобы лезть на крышу и наблюдать с нее за десятком участков с разными насаждениями, пусть и весьма хилыми...

Правда, раньше считалось, что в таком контейнере будет сидеть специально нанятый человек — из местных жителей, что ли, который и знает каждого возможного вора — из своих же — и которому за это хорошо вроде бы платят — теми деньгами, что уже собирали среди нас, членов Ассоциации. И даже не раз доводилось видеть и слышать, как у раскрытых створок контейнера кто-то копошится и громко отзывается. Ну, так в чем же дело — сорвалось ли это?

"Выручай, пожалуйста... — стояла в моих ушах просьба того, кто ведал огородами нашей Ассоциации — из сборища гулаговских жертв и их близких. — Так получилось... Надо завтра в поле — и с ночевкой. Не откажи, дорогой!"

Я еще сопротивлялся, хотя и было трудно отказывать хорошему человеку. Но поставил условие — чтобы ехать не с утра, а во второй половине дня, едва ли не к вечеру. Да, тогда я успею справиться с другими делами, которые наметил раньше. И пусть там будет еще кто-нибудь... ладно, а?

Мне пообещали это: мол, дежурство на двоих — с напарником (не с женщиной ли?). А что касается времени — желательно не слишком поздно. И мы еще поговорили о поездах, идущих в конце дня туда, где огорды. Порядок!

Пригородные поезда — наше важное подспорье, потому что иначе добираться в такую даль — километров за 50 — было бы совсем нелегко.

А тут еще — бесплатный проезд, как полагается и нам — бывшим экам.

Обычно я ездил в Еремеевку, где находится участок для репрессированных, пораньше. Тогда и народу не очень много, и приезжаешь до наступления жары, а уехать можно после обеда, справившись с огородной возней. Полуденным поездом в сторону Раздельной уже хуже: садятся те пригородные жители, которые ездил на деловой Привоз, где успели распродать свой товар. Но все же удавалось и так вернуться до вечера, пусть даже меньше доводилось что-то сделать. Ну, а как будет теперь, если ехать необычно — к вечеру?

Признаться, не думалось, что это выйдет сложно — чуть ли не с комплексами.

Какое-то особое чувство я испытал, появившись на вокзальном перроне около шести часов вечера. Как ни привыкай там, но это неожиданно, как женщина!

Людей уже немного, и все хоть и устали за день, но как-то особо оживлены — из-за возвращения домой. Даже позавидовалось, что едешь тут, наоборот, из дому — к тому же в нечто неудобное, в огородную глушь, а тем более в неизвестность. Да и просто угнетает, что с кем-то надо проводить время... и как там преклонишь голову на ночь? Но еще не хотелось думать про добро, какое уже выросло, а к тому же про каких-то якобы нападающих... еще чего!

Я смотрел в окно, когда поезд тронулся, и стало неудобно едва ли не при одном перемещении закатных солнечных лучей по вагону — с немногочисленными, но назойливыми пассажирами — вроде девчонки сбоку, задремавшей рядом с моими коленями. Не помню, когда еще я так куда-то уезжал, но и не сказать, что возникло такое щемящее чувство, будто тебя отправляют куда-то...

Или, пожалуй, не так ли я и смотрел по сторонам на неприглядные на-

громождения строений, шпал и деревьев, когда меня везли вместе с другими эками в глубь страны — в неведомую Мордовию? И не просто тогда сжимал свою торбу, а и стал шарить в ней — не только перекусить, а и отвлечься...

Стало слегка тоскливо, когда на ближайшей большой станции — Дачной — сошло много пассажиров. Вышли даже молодожены с сонной девчушкой, и я вдруг пожалел, что больше никто рядом не будет касаться меня. А за окнами уже не было солнца, и тени — сильно покосившиеся — скользили лишь по верхушкам деревьев. Но совсем меня затомило, когда резко обозначились в багровом закате деревенские телевизионные антенны. Да, кстати, что там сегодня вечером пойдет по "Останкино"? Или даже по 7-му каналу, хоть я обычно смотрю его с некоторым пренебрежением? Уютные будни, что ни говорить!

Вот уже синева — сбоку, вдоль железнодорожных путей. Это напомнило и самое горькое, что было в одесском тюремном окне. Чуть не строки впервые:

Самое печальное на свете —

За решеткой видеть синий вечер...

Ну, вот. Не хватало только этого — и подобных комплексов! Ничего себе — простая огородная поездочка! Вот угодил мне полевой староста Виктор...

Когда же я высадился на своей станции, то душа еще больше сжалась. Там сейчас совсем никого не было. Знаменитая Еремеевка, из которой в конце 20-х годов угоняли целый эшелон кулаков — в том числе местных немцев, выкопавших у переезда колодец с невиданной редкостью — гранитной плитой на дне!

Хорошо еще, что на узкой платформе с хрустящим мелким гравием стояла молоденькая, по-домашнему одетая стрелочница с неразвернутым флажком. И я позавидовал ей — с возможностью зайти в свою дежурку и пить в ней казенный чай, а то и смотреть тот же телевизор — наверняка имевшийся там...

Дальше — привычная дорога вдоль станционных путей с засыпкой промасленным гравием. Но как здесь сейчас этот железнодорожный пейзаж смотрится заново! Горько несет дегтем от промазанных стрелок. За картофельным участком лежат прохладные тени, а ботва — иссохшаяся и желтая — сиротливо сбилась по обочинам. И даже жалкими выглядели собачонки, обычно резво бегающие у своих ворот. Хорошо еще, что не лаяли — наперекор засыпавшим курам!

Идти надо было долго — минут двадцать, но за это время попалась на встречу лишь одна машина. И тоже мелькнула мысль: она едет домой, а поэтому и спешит, взметая прохладную пыль. А ты, как зэк, топай в свою темную глушь!

Еще издали я стал вглядываться в заросли, за которыми начиналось это огородное пространство. И тут меня охватило беспокойство: а есть ли кто-то?

Но знать бы, кого именно я встречу — и не только в человеческом облике!

Совсем неожиданная встреча с прошлым — и еще каким!

И даже с залогом на будущее...

Сторожевой контейнер — вполне удобная штука. Он как-то вместителен и даже уставлен мебелью — столом с табуретками и двумя топчанами. Из него распахнута дверь — металлическая и гремящая от прикосновения, а ее уже запирает тот, кто хотел, оказывается, в одиночку идти "на досмотр".

Некий пожилой дядька довольно приветливо встретил меня и даже помог уложиться с прихваченными из дому вещами. Я свалил их на мою постель — матрас, покрытый тряпьем, как бывало и на давнишних нарах, а напарник тут же показал и на такое добро как вода на столе в холостяцком ведре. И, похоже, он оказался вроде бы разговорчивым и довольно своим, даже участливым: и предвидел все мои вопросы — насчет опасности здесь, на ночном поле, и в отношении сна среди ночи. Ничего себе вроде бы тип — кстати, совсем не женщина, как я опасался! И думалось ли, что бывает нечто хуже?

Так что, я медленно, но верно успокаивался, слушая его, хоть и не успел узнать, как зовут такого сторожа. А он, похоже, сам спешил говорить.

— Опасно ли здесь? А как вы думаете... всякое бывает. Вон прошлую ночь, говорят, стучали в контейнер. Да, среди ночи, часа в два или три — грохот, крики с угрозой и все такое. Мол, выходи, такой-сякой... надо почитаться. Буквально — из-за каких-то денег... требовали старые расчеты, что ли. Неуютно было слушать, а рука так и просилась... по старой привычке. А то еще случается, что всю ночь мчатся мимо мотоциклисты — то ли милиция, то ли даже кавказцы, черт их дери... Но иди знай — кого это носит прямо у твоей головы... вот бы сюда гранату! Особенно напугали наших женщин, когда те тоже ночевали здесь. Вламывались так с руганью, как водится, что женщины заявили: больше сюда — ни в какую силу! Пусть, мол, мужики сами тут охраняют добро! А поэтому ему пришлось,

хотя он не умеет ответить по-блатному. Так что и оставил основную работу, а вернее — общественную службу...

Сразу хотелось спросить: что... сам не из бывших заключенных? Да, вроде бы, не просто не блатывается, а и... Речь вполне культурная, но и вообще напористая — даже не вставишь свое слово. Или слишком намолчался наедине?

Я уже плохо слушал такого напарника, смутно вглядываясь в то, что открывалось передо мной: крутые стебли подсолнечника, туго свитые стволы с крупными листьями — кабачки, а там и нечто неразличимое — капуста или бураки... От всего этого тянет влажным терпковатым духом, тут и там что-то шевелится — птицы ли укладываются на ночь, ползают ли лягушки с жуками. Все же неуверенно знаем мы природу, окружающую нас... а ведь это основа на земле! И только четко я различил, как в темноте провисли провода электропередачи, да и то — уходящей куда-то к темневшему вдалеке поселку, а здесь не работавшей. У нас же в контейнере светила самодельная лампа — "летучая мышь" с сильно закопченным стеклом. Не было ли так в лагерных палатках, когда тоже выгоняли на полевые работы под надзором конвоиров со свирепыми псами?

— Кстати, пса у вас нет... не дали? — спохватился я. И тут же насторожился: интересно, как этот тип отнесется к такой примете лагерной жизни?

Но мои слова напомнили ему о другом — обходе наших участков. Да, это необходимо перед тем, как укладываться в контейнере на ночлег — слава Богу. И теперь обрадовала даже такая возможность — влезть на постель вместо нар!

Хорошо, что мы не стояли больше, а пошли — в самый настоящий ш м о н. И меня довольно уверенно вел тот, имя которого я уже не старался узнавать. Так что в полутьме смутно открылись один за другим соседние участки тех членов нашей Ассоциации — бывших жертв политического заключения, — что нас здесь по-своему сближало. Вот как неожиданно судьба держала всех вместе, что бы ни происходило вокруг в этой новой жизни! Вопреки чьим-то попыткам помешать — разорить наши участки или как-то придрататься к нам... и даже с псами!

Так я думал, всматриваясь в смутно встававшие справа и слева жидкие заросли и с трудом различая ограждения между ними. Хотя мой напарник уверенно ступал на утопанные дорожки, по-прежнему не переставая говорить и то и дело оборачиваясь ко мне. Мол, вот как приходится ходить и высматривать — не пробрался ли кто-либо... много теперь развелось таких охотников... и даже приходится опасаться всех! Что ни гово-

ри — своеобразная война... и не отличишь ее от той — Отечественной, когда враг был более открытым, не прятался или уклонялся от схватки. Кажется, он по-прежнему разговаривал не просто казенным языком, и я раза два споткнулся, наткнувшись на горбочек. Но совсем остановился, когда услышал что-то про бои под Одессой... вот как!

— Да, надо доложить вам... Бывало всякое! Шли с боями в метель — и прямо через лиман. А пробиться успели раньше... наше подразделение вошло еще девятого апреля. Представляете — к самому подходу основных частей! Так что успели захватить, что надо было... а вернее — кого именно. Вот!

Я слушал с недоумением, почти не слыша лая собак вдалеке. Когда сделали разворот от нашего поля, разговор оборвался: потянул ветерок с подозрительным дымком, и напарник, что называется, наострил уши — замер с вытянутой шеей, как цапля. "Приказ об отступлении приходит неожиданно..." — снова вспомнилась классическая некрасовская фраза. Но интересно, был ли этот фронтовиком — в настоящих боях, как герои Керженцев и его вестовой Валега, а не... Впрочем, был ли вообще в лагере, хоть и является здесь представителем нашей Ассоциации? Я уставился на него подозрительно, тоже наострив уши, или что там случилось. Но было тихо, и мы пошли назад.

Теперь я шел впереди — и больше на ощупь, как тоже при отступлении. Но было приятно, что можно идти по мягкой земле, можно дышать прелым влажным воздухом и можно любоваться, как природа отходит ко сну. Да, я могу это теперь, а хороший писатель из-под Сталинграда лежит в чужой земле и не дышит даже чужим воздухом... А ведь он тоже брал Одессу в апреле 44-го!

Тут я наткнулся и на другой признак этой сельской ночи. Хотя о нем умолчал даже такой говорун, как бравший Одессу до подхода главных частей. Наткнулся на то, что ошеломило даже больше всех ночных опасностей.

Это вышло, когда мы, вернувшись к своему контейнеру и с грохотом распахнув его громоздкие металлические створки, приостановились возле него, чтобы подышать напоследок свежим воздухом перед входом в спертую духоту неприветливого, почти лагерного нутра.

Кажется, напарник замолчал, тоже залюбовавшись вечерней прелестью поля, где уже почти ничего нельзя было разобрать. А я поймал себя на том, что он по-прежнему никак не упоминал про лагерь, как это обычно бывает среди эков, и что даже не касается нынешней политической

жизни, хотя так делают и самые ленивые. И уже готов был шагнуть к своему топчану с тряпьем.

— Смотрите... — вдруг встрепенулся сосед. — Ничего себе... светит! — и его говорливый голос зазвенел, как при офицерской команде. Что же там?

Оказывается, что-то в темной массе листвы у ближайшей грядки. Не понять, что там росло, но ясно виднелось нечто светящееся. Этакое яркое мигавшее пятнышко. Как живое, оно светилось. Ну и прелесть!

Напарник еще добавил, что это светлячок, и я дрогнул от такого слова. Похоже, оно что-то напомнило мне, что-то затронуло. И кому тут расскажешь? А в голове выстроились сразу звуки — тоже прерывистые, как мигание.

Так звучали "Светлячки" — в знаменитой когда-то вещи одного немецкого композитора. И ее даже пели старые люди — и чуть ли не на специальные слова.

Впрочем, разве я сам не играл "Светлячки", когда был в духовом оркестре? До этого я слышал это по радио из-за границы, а потом, помнится, увидел перед собой и ноты на пюпитре с этим коротким симпатичным словом.

Кстати, это было в ту же пору, когда происходило действие романа "В окопах Сталинграда". Виктор Некрасов — он же лейтенант Керженцев — со своим уморительным ординарцем сидел тогда на волжском берегу, а потом поспешно собирал пожитки, вплоть до постиранных портянок, спеша отступать.

Я же был по эту сторону фронта — во вражеском тылу. В тогдашней Одессе стоял зной — и тоже хотелось по-солдатски выкупаться, а я сам готов был собирать пожитки, хотя на пляж не было доступа — по запрету румын.

Но приходилось идти на тамошнюю досадную службу — в перерыве между студенческими занятиями в консерватории, замершей на каникулы, как обычно.

Наш оркестр обычно располагался на бульваре — сбоку от лестницы с Дюком. И я, сидя на стареньком нетвердом стуле, старался изредка смотреть на видневшуюся за ступенями бухту, где торчали редкие мачты и откуда почти не доносились буксирные гудки, всегда волновавшие раньше. Лишь когда наш дирижер — старый, с испытанным добрым лицом, похожий на китайца, — терял терпение, пялясь в мою сторону, я хватал пересохшим ртом мундштук своего кларнета и заглядывал на пюпитр с разложенными там нотами. Играть как можно меньше "для них" — так я

себе всегда говорил, но все же это приходилось. И особенно, когда попадались вальсы Вальдтейфеля или вот эти "Светлячки".

Музыка Пауля Линке — в ней было что-то мягкое и вкрадчивое. Она звучала, как тот же далекий, невероятный мир, о котором часто рассказывала мама. Мир, где жили тихие и добрые люди, где светло, несмотря на подступающую темноту. Ту самую, в какой и появлялись они — эти жучки... О!

Да, в самом деле. Ведь что такое светляки — просто жуки, ничего особенного! Как это значится в энциклопедическом справочнике: из семейства жуков... длина до 1,8 сантиметра... ночные насекомые... около 200 видов. А их эффект — в "светящемся органе", который имеется обычно "на конце брюшка". Правда, это "только у самок"... вот как! А у мужичков... почему нет?!

Но знать — как много будут значить и они — эти женские куцые жучки. И не просто по оперетке того композитора, о ком — ни слова в Энциклопедии!

Вообще, я знал другую знаменитую вещь у Пауля Линке — его браваурную песню, которую часто передавали по радио перед войной. "Берлинский воздух" — так по-дурацки называлось это воспевание немецкой столицы с грубыми, тяжеловесными повторами и затейливыми завихрениями у флейт, когда это звучало с хором и оркестром в солдатских "вуншконцертах". И я всегда злился!

Но тут — полная противоположность... Этакая задумчивость, воспевание вечерней неги и даже сладострастия. То, что пела мама с русскими словами:

Чуть окутал ночи мрак... поля и нивы,
Все влюбленные спешат... в наш край родимый!

И еще о том, что, мол, там трудно затеряться, потому что "светлячки повсюду". Ну и так далее — вплоть до старинного мещанского умиления:

Ох, светлячки, светлячки —
Жизнь вы нам озаряете...

Не выдержав, я слегка буркнул — напел начало этих "Светлячков". Но когда сбоку никак не откликнулись, пришлось даже как-то посочувствовать:

— Жаль, теперь нет таких нот... Даже в знаменитом магазине "Аккорд"! — А... что на Дерибасовской? — все же отозвался сосед. Мол, он знает его. И не столько то, что там продается, сколько... его заведующую!

Тоже помня, я зябко пожал плечами и хотел уже удалиться внутрь контейнера. Но сбоку послышалось: ведь известная особа... такая симпа-

тичная, в летах — сплошь седая, солидная. Когда-то знакомы были по службе. Давно!

Я невольно усмехнулся: может, тоже вместе заходили в Одессу тогда — в апреле Сорок Четвертого? И снова подумал о писателе, купавшемся здесь в море, которое было, по его воспоминаниям, "очень холодное". Не по контрасту ли с тем, как одесситы тогда встречали вступившую Красную Армию?

Когда я так вслух высказался, то услышал, что, наоборот, здесь было не очень горячо среди настроенных по-разному. Недаром и вступали в город особые подразделения — чтобы вовремя о б е з о п а с и т ь. Сам там был!

Я оторопело глянул на этого явно служаку — из "особых". И тут же поразило — насчет упоминания про заведующую магазином "Аккорд" на Дерибасовской... значит, и она была тоже — чтобы кого-то "обезопасить"... а? Так почему же потом оставалась лишь на такой работе — с музыкальной книгой?

Тут напарник усмехнулся — пожалуй, впервые за все время. Хотя это нелегко было заметить — в полутьме вокруг, даже при светлячках.

— Ну, как же... Ее в свое время уволили. По пятому пункту! Порядок!

Тогда я снова поразился уже вслух — насчет его здешнего дежурства.

— А вы как... какое отношение к нашей Ассоциации? Да, не сам ли попал туда — п о с т а т ь е?!

Отмахнувшись, тот прошел мимо меня в контейнер и что-то забормotal.

Я не сразу разобрал, что речь идет о муже его дочери, ради которого и пришлось выйти сюда. Мол, зять попросил — у самого деловая командировка!

Мне довелось тоже повозиться за другого — потянуть створки, запирая их. Хотя, признаться, никогда не приходилось этим заниматься, особенно в наших лагерях, где хватало других специалистов по закрыванию помещений...

Быстро загасив и "летучую мышь" — совсем закоптелую лампу, — мы улеглись впотьмах, явно настороженные и чуть ли не отстранившиеся друг от друга.

Да, было не по себе — и от подробностей прошлой жизни тогда, в 44-м году, и от случайных откровений про старую музыку. И хорошо еще, что я не признался при таком старом "особисте" — как я еще исполнял этого Линке!

Дело было в том же нашем духовом, как и тоже на бульваре. Вернее, мы в тот день, что называется, р а б о т а л и в другом обычном месте —

в Горсаду, на выстроенной тогда навесной восьмиугольной эстраде. Как всегда, дули в свои дудки, то и дело меняя вальсы на увертюру "Если б я был королем" или даже грандиозную "Ночь на Лысой горе" Мусоргского — на пустяковую новинку "Палома". Вокруг сменялась разная публика — от интеллигентных старичков, проходивших из бесплатной столовой на Садовой, до девок, тут же цеплявших "немчиков" — особенно со значком "KRIM" на груди. И с новой группкой немецких солдат наш осоловелый от духоты дирижер, озорно блеснув опухшими китайскими глазами, кивнул, чтобы взять "Берлинский воздух". Мы рванули эту залихватскую музыку и сами встряхнулись, едва вокруг запели:

Ach, so schön berliner Lüft, Lüft, Lüft!

Этот "Берлинер люфт, люфт, люфт" еще долго стоял в моих ушах, хотя немецкие слушатели вокруг нас становились все мрачнее — из-за дел на Восточном фронте. Даже с появлением на улицах бывших танкистов Роммеля — в песочной тропической форме (кокетливые безрукавки с черными галстуками и ботинки под штаны со складкой!) — их не утешала и зовущая "Лили-Марлен"!

Но, спрашивается, поверили ли бы в мое невыносимое тогдашнее состояние явившиеся в первые дни апреля — впереди наступавших регулярных частей — слишком бдительные "особисты" вроде нынешнего и особенно — пережившая повальную гибель своих предков еврейка из будущего "Аккорда"? Потому и отчасти мне пришлось **о т т я г и в а т ь с я** на торфе и камне в 60-е! И пусть попробует кто-нибудь меня в чем-то упрекнуть теперь, при СВОБОДЕ!

Я готов был все же вскочить с топчана и все это высказать безымянному напарнику по дежурству на здешнем поле. Но он, кажется, уже похрапывал, а издали вон грохотнули колеса мотоцикла — может быть, и милицейского. И тут мне вспомнился тот ночной дежурный, который был в нашей тюрьме — наоборот, при ярком свете, так как в камерах лампочки, как водится, не отключаются... Именно — про такой же свет мне и напомнил тот тюремный "мусор"!

Если без позорных кличек — он совсем не заслуживал ее. Потому что оказался вполне терпимым тогда, в мою начальную пору заточения. А именно — и до души утешил, когда вдруг однажды после ужина сунул мне в открытую форточку то, что я тогда впервые увидел за решеткой, — книгу. Да, по моей просьбе, высказанной следователю, мне была передана просто книга... Чудо!

Правда, то были не какие-нибудь веселые рассказы Чехова или не

мудрый Лев Толстой. Всего лишь Короленко, которого я, признаться, с детства недолюбливал. Но можно ли было привередничать в моих тогдашних условиях? И, кстати, не намек ли это на то, как другим тоже приходилось в этом мире?

Рассказы. О Сибири, о каких-то заимках, о реке, которая тянется через льдины. И в одном из них — вспыхнувшие в темноте огни, как это ни было удивительно. Огни вдоль берега, которые то исчезали, то вновь появлялись.

Огни — эти своеобразные светлячки в гнетущей сибирской жизни! Ну, как не обрадоваться этому? Пусть и приходилось щуриться от ненужной лампочки.

Так вот — вокруг все же существуют огни, пусть и в виде светлячков. И даже только у особ женского пола. К тому же седых евреек. Снова вспомнив "Аккорд", где не было нот, я уснул.

Все же это был беспокойный сон.

Сперва собачий лай — эта ночная классика! Псы, которых не было у нас, зато бесновались где-то на стороне. И я тоже хотел звать их "мусорами".

Потом я вскочил, когда что-то бахнуло по стене у моей головы. Не бросили ли просто камнем? Или действительно пытались ворваться внутрь те, кто давно приметил такое добро — 20-тонный контейнер, взятый порту?

Когда же створки загремели — из-за выхода наружу по своей нужде тоже беспокойного соседа, то я пожалел, что не курю, — иначе отвел бы бессонную душу. Снаружи блаженно хлынул свежий, полный запахов и шорохов воздух, и мне с завистью подумалось: вот бы тоже встать и побродить, ступая по влажным, живущим своей мрачной жизнью, грядкам, но и тщательно обходя светлые создания. В самом деле — что за чудо придумала природа, создав этих жуков!

Делая вид, что сплю, я не стал откликаться на вопросы своего соседа: не озяб ли я? Все же заботлив он, этот коварный тип, хоть и посочувствовал зятю — с таким дежурством вместо него! А интересно — чем провинился его будущий член семьи, попав в заключение... и не знал ли я его раньше? Понемногу мои мысли начали путаться, и я уже стал видеть другого зэка — того Виктора, который попросил меня на это ночное дежурство. А вскоре уже подумалось и о другом Викторе — Некрасове, который теперь, после Сталинграда, очутился в Париже... кстати, там ведь бродил и нынешний Виктор — якобы тамошний шпион, чтобы отхватить потом

целый четвертак по суду! В конце концов, вместо Парижа у меня замелькал и Берлин с его в о з д у х о м, черт бы его побрал. И не проснулся ли я от испуга, что меня с моими музыкальными оккупационными воспоминаниями услышит нынешний сосед?

Тоже встав со злости, я вышел и впотьмах чертыхнулся — на всю очаровательную, полную лунного света и каких-то деревенских вспышек ночь. И все же ясно сообразил: вот... теперь пришла свобода, когда я даже получил — вместо лагерного срока — этот участок бесплатной земли со всеми благами — вплоть до изумительных светлячков, этих поистине Божьих тварей, но... Не сидит ли тут же под боком — буквально на топчане — тип из старого мира?

Вспомнив, что раньше по зонам убивали впотьмах соседей, я спешно лег.

Увы, я проснулся поздно, пропустив и восход солнца — это высшее счастье!

Рядом уже не было ни храпевшего или подозрительно бродившего соседа, ни даже тех светлячков, которые напоминали и про маму, а теперь слепо исчезли.

Как ни противно было что-то есть, я пожевал прихваченный бутерброд. И вдруг вспомнил ту селедку — кусочек с белыми кишками, которую давал нам на завтрак дежурный "мусор". Боже, неужели это наваждение и впредь со мной?

"И все-таки, все-таки впереди огни..." — вспомнилось мне из книги.

А когда появился с тяткой в руках сосед, я поприветствовал его.

Было не по себе, что я долго валялся и ел, пока он работал. Вскочив с непрожеванной пищей, чтобы тоже чем-то заняться, я все же не удержался от унылой интеллигентной привычки — заговорить... и о чем еще — про Мироздание! Вдруг, думая об исчезнувших светлячках и как-то содрогаясь от испуга, что их можно потревожить и едва ли не повредить им, ворочая той же вульгарной тяткой, я сходу выпалил: а помним ли мы, кстати, что наша Земля под благодным Солнцем — это прежде всего планета... и кого бы, говоря по существу: п л а н е т а н а с е к о м ы х ?! Да, мол... даже не то, что там придумал еще не знавший мировой войны, пока не погиб на ней, другой достойный писатель — Сент-Экзюпери, написавший "Планету людей"... черт бы их побрал — этих людей, таких разных и недружных! Ну и не стоит ли нам как-то иначе относиться к истинным нашим з е м л я к а м, если уж так выражаться... чтобы беречь их, что ли... этих существ меньших... как это по-чеховски — братьев, а? Я разговорился, как и было раньше с другим.

— ...и что прикажете — тараканов тоже? — неожиданно огрызнулся мой напарник. — В том числе... страшно и сказать — вшей с клопами — нечисть, как и человеческую, да?

У него при свете было окаменевшее, с росинками трудового пота лицо, а в глазах — словно прицел, как раньше просилась душа. Вот... не такие ли и впрямь ставили к стенке, когда им доводилось... тогда, после освобождения Одессы... говорили же, что в порту этакое было! И не только с приехавшими на судах власовцами, а и... просто пленными, да!

Я потянулся к оброненной тятке, готовый, не дай Бог, схватить ее. Или прямо помахать, как было раз на торфболоте в мордовской глуши, ломом, — из-за кормежки на 30-градусном морозе... И где бы я был с тех пор, спрашивается? Не состоять бы никогда в Ассоциациях жертв репрессий и не ходить по огородам, где сверкают даже впотьмах огоньки, похожие на короленковские.

Кстати, как там теперь выглядит и моя делянка на этом огороде? Не наведать ли ее, а то ли даже поработать — до ближайшего поезда отсюда? Я все же прихватил тятку, на ручке которой было вырезано "Виктор". Видно, собственность того, кто посылал меня сюда — на такое опасное дежурство.

Снова вспомнилось, что я так и не знаю имени соседа по такому сложному дежурству. "Я имени его не знаю... — досадливо мелькнула оперная фразочка из Чайковского. — И не желаю знать его-о..." И тут же невольно усмехнулся.

Конечно, теперь все поле — в легкой парной дымке над грядками и с нагромоздившимися вдоль горизонта крепко сбитыми облаками — казалось другим.

Не прислушиваясь к металлической возне внутри контейнера того Безымянного, я вдруг подумал, что не помню имени и той заведующей из "Аккорда", к которой не раз обращался, приходя в магазин за нотами. А жаль... и вот бы с ней поговорить тогда — и не только на музыкальные темы. Может быть, мне доводилось встречаться и с ее родными, когда их пригоняли на Слободку — в гетто, где рядом я тогда жил? И разве в меня тоже не замахивались другие — вроде румына, когда я бросил булку хлеба в колонну угоняемых?

Я еще возился на грядках — круто поросших свеженьким, даже симпатичным бурьяном, который тут же сваливался вместе с землей, словно умерщвленные портовые пленные, когда услышал сквозь легкий гул на дороге оклик:

— ...и надолго ли запряглись? Есть предложение — слегка взбодриться! Кричал Безымянный, махая мне зажатой бутылочкой. Похоже, рядом с ним был еще кто-то... не Виктор ли, случайно? И не он ли и привез выпивку?

Выходило: мы двое — на одного. Не так ли перевешивает теперь и наша Ассоциация — с большинством не просто тех, кто страдал, а и уверовавших в какое-то добро в новом обществе, пусть до настоящей жизни еще далековато?

Я нехотя зашагал туда, где уже сооружался какой-то столик рядом с холостяцким переполовиненным ведром. Суетливо потирая ладони, Виктор подслеповато, сквозь старые разлезшиеся очки осматривал разложенную закуску — в основном то, что припас с собой, оказывается, мой ночной напарник.

— Как говорится... даешь наркомовские! — азартно воскликнул тот — своей наезженной, слишком знакомой скороговоркой. — Да, приехали, товарищи!

И даже крикнул, хотя никак не предполагалось в нем такого азарта — пить.

Мы с Виктором передернулись от этого — "товарищи". А когда я положил к ногам славно поработавшую тяпку "Виктор", то ее хозяин расхохотался.

— Сам украл здесь, когда тоже сторожил... А как теперь иначе?

Мы дружелюбно хмыкнули и потянулись чокаться стаканами.

Хотя известно было, что он предпочитает вино — по-актерски.

Да и разве не приобщился к французскому питью, когда удрал из Одессы?

Дружно крикнув от выпитого, мы болтливо потянулись к скромной закуске: мол, хорошо пошла, родимая, и тут Безымянный показался как-то ближе.

— Кстати, — не выдержал я, принимая от него кусочек колбасы. — Что там было с вашим... который тоже загремел на срок... с зятем, а? Авось, тоже не так серьезно, как у бывшего актера? — и толкнул в бок Виктора.

Не сразу ответив — с опаской подавиться, тот сперва покачал головой — еще с жесткой стрижкой и с небольшой проседью: мол, не слишком, но... И все же замахнулся с пренебрежением по адресу того, кто запятнал его дочь. Мол, разве не видел — в чью семью попал... мальчишка такой? Охломон! Да!

Оказалось, в пору Брежнева. Из-за анекдотов про того известного дурака, бабника и пьяницу... При этих словах Виктор поморщился и буркнул:

— Не надо обижать! Главное — был хороший актер! Почти украинский! Да!

Он еще не мог забыть, что работал до войны в Одесском украинском театре, но изменил ему, когда при оккупантах ушел в Русский, а оттуда пошли остальные скитания — вплоть до перемещенных лиц на Западе... И срок!

Настала пора допивать остатки из нашей скромной чекушки. И тогда, как всегда, не удержался самый болтливый из нас, хоть и забыл про светлячков.

— ...подводя итоги, я предлагаю. Не только за этот огород, не только за его хозяина — Виктора Михайловича, а и... как говорится, за дружбу! А? — и уже взлетела торжественная рука, как на старом добром партсобрании.

Но тут что-то заскрежетало, взвыло и ухнуло. Прямо на контейнер валялся через канаву мотоцикл с мелькнувшими на милицейских фуражках звездами.

Мы вскочили, роняя остатки водки. Вот — милиция всегда бережет!

— ...от пьянки! — попробовал шутить Виктор, подхватывая мое классическое выражение. Но от него отмахнулись и стали сквозь зубы выяснять: кто мы?

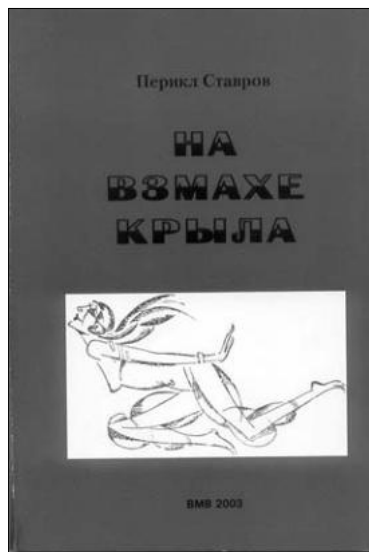
Пожалуй, это был трудный, хоть и элементарный вопрос. И мы оглянулись между собой, как бы заново оценивая друг друга. И действительно — что за нагромождение разных судеб... и за что еще нас наказывать... или как там?

— А баб нету? — ухмыльнулся старший, на сиденье. А другой свернул руль.

Они отъехали, но мы смотрели вслед, как приговоренные.



По пути к Ставрову



При финансовой поддержке Греческого фонда культуры в Одессе вышла книга стихов и прозы П. Ставрова. В этой связи заместитель директора Одесского литературного музея Алена Яворская задала несколько вопросов одному из составителей и комментаторов этого сборника, сотруднику русской редакции Международного французского радио, ведущему передачи "Литературный перекресток" Виталию Амурскому.

— Возвращение в Одессу литературного наследия умершего в эмиграции, во Франции, Перикла Ставрова представляет собой событие исключительного интереса. Дело в том, что до последнего времени имя это было известно в нашем городе лишь немногим историкам литерату-

ры и библиофилам. И вдруг — каскад стихов, прозы, интересных воспоминаний... Не могли бы вы рассказать, как получилось, что его творчество оказалось в центре вашего внимания? Легко ли было отыскать в Париже такие старые публикации?

— Своим "открытием" этого незаслуженно забытого писателя, поэта я полностью обязан своему другу и коллеге, одесскому журналисту Евгению Голубовскому. Обладая редким экземпляром выпущенного в Париже в 1933 году поэтического сборника Ставрова "Без последствий" и намереваясь опубликовать по возможности полный корпус его поэзии на родине, несколько месяцев назад он обратился ко мне с вопросом: нельзя ли найти во Франции второй сборник мастера — "Ночью"? Заодно была высказана просьба — узнать что-либо о судьбе Ставрова... Признаюсь, ничего толком ответить сразу на это я не мог. Впрочем, сняв со своей полки известную антологию русской зарубежной поэзии "На Западе", составленную Юрием Иваском, и полистав ее, я нашел там четыре стихотворения Ставрова. Стихи, на которые прежде я как-то не обращал внимания



Сотрудники и авторы парижского журнала "Числа", 1934 г.
Стоят (слева направо): М. Ларионов, Б. Поплавский, В. Мамченко, В. Яновский, А. Руманов, Ю. Фельзен, Ю. Мандельштам, Н. Оцуп, Г. Раевский, В. Смоленский, С. Стасин, Ю. Терапиано, А. Гингер, В. Варшавский.
Сидят (верхний ряд): С. Шаршун, Д. Кнут, С. Прегель, Е. Бакунина, Л. Червинская, И. Одоевцева, Д. Мережковский, Г. Адамович, З. Гиппиус, Г. Иванов.
Сидят (нижний ряд): П. Ставров, А. Алферов, Ю. Софиев, Б. Дикой, А. Буров, В. Злобин, Л. Кельберин.

(возможно, потому, что они как бы растворялись в большой книге). Теперь, при более пристальном знакомстве, они показались мне интересными, а главное — как-то неожиданно — близкими мне по духу... Это было начало. Со сборником "Ночью" все получилось довольно просто. Я нашел его в парижской русской библиотеке им. Тургенева. Правда, поскольку вышел он до войны и был зарегистрирован в разделе редких изданий, возник вопрос, как сделать с его страниц ксероксы? В самой библиотеке копировальной машины нет, брать на дом редкие издания оттуда нельзя. Выручило исключительно доброе, доверительное отношение ко мне главного библиотекаря Татьяны Гладковой. Не просто библиотекарь, а большой знаток эмигрантских изданий, научный сотрудник, давно и серьезно занимающийся историей русских книг, журналов и газет за рубежом, узнав о цели, с которой мне потребовался ставровский сборник, она в порядке исключения позволила мне взять его на небольшое время для соответствующей работы в копировальной мастерской. Идентично оказалось

с несколькими старыми эмигрантскими журналами. Со своей стороны, я обязался (и, естественно, сдержал слово) — ни в коем случае не повредить хрупкие от времени страницы и обложки. В библиотеке им. Тургенева в общей сложности мне удалось найти примерно десяток публикаций Ставров, то есть, практически все, что там имелось. Далее начиналась зона, полная неизвестности. В частности, о жизни этого бывшего одессита, о том, как он попал во Францию. Несколько заметок в разных справочниках на этот счет были довольно скудны...

Зная, что Ставров скончался в феврале 1955 года, я решил полистать русские эмигрантские газеты этого периода, надеясь найти там какие-нибудь публикации, проливающие свет на его судьбу. В библиотеке Института славяноведения, где несколько лет назад хранилось довольно большое их число, теперь, как выяснилось, остались лишь "крохи". Основной газетный свой фонд они передали Библиотеке современной международной документации в Нантере. Однако до того как отправиться туда — это один из северо-западных пригородов Парижа, — я все же разыскал в Институте славяноведения номер газеты "Русские новости" от 18 февраля 1955 года, где был опубликован небольшой некролог "П.С. Ставров", подписанный инициалом С. Кто скрывался за этой буквой, выяснить мне не удалось. Впрочем, это была "первая ласточка". Расчет мой оправдался. Найденная позднее в книжном хранилище Нантера, в нью-йоркской газете "Новое русское слово" того же периода, статья Юрия Терапиано дала по-настоящему яркое представление о Ставрове.

Что касается Библиотеки современной международной документации, в которую я получил допуск как журналист, то именно она явилась основной сокровищницей, где мне повезло разыскать целый ряд рассказов и воспоминаний Ставрова, напечатанных в Америке, снять с них копии (когда это было возможно — на машине, а подчас просто-напросто от руки). Вообще, несмотря на замечательную систему хранения, находящиеся сейчас в Нантере многие газеты, в частности, номера 40-50-х годов, не только читать, но даже перелистывать было непросто. Печатавшиеся на очень некачественной бумаге, пожелтевшие, сильно потемневшие места, особенно на изгибах, их страницы стали такими же непрочными, хрупкими, как сухие табачные листья или крылья бабочек... Но, право, какое удовольствие испытывал я, погружаясь в запечатленную в них эпоху, изредка встречая там тексты Ставрова!.. Увы, многих номеров по интересующему меня послевоенному периоду не хватало. Это не значит, что в них непременно были его публикации. Но — быть могли... Я шел в своем

поиске фактически вслепую, то есть, не имея никаких сведений на этот счет. Назвать это работой? Да, безусловно, это была в известной мере большая, трудоемкая работа, на которую я тратил немало времени в читальном зале, и на дорогу — в один конец больше часа езды от дома... Причем, не один раз. Но занятие это освежало чувства, мысли, я испытывал от него духовный подъем. Говоря о таких поисках и находках, я хотел бы добавить, что рядом полезных советов информационного характера меня поддержал давний работник русского книжного магазина "Объединенные издатели" Алик Хананье, а также один из очень серьезных знатоков и историков русской эмиграции во Франции Андрей Корляков. Именно он, например, дал мне фотографию авторов и сотрудников русского парижского журнала "Числа", на которой запечатлен и Ставров. Снимок этот довольно хорошо известен, неоднократно воспроизводился, однако — никогда в таком четком, качественном виде, как у Андрея. Дело в том, что в его личном собрании находится оригинал, сделанный с негатива, а не какая-то повторенная многократно, потерявшая резкость перепечатка... Вот так, если угодно, с миру по нитке, оказалась соткана теперь "рубашка" ставровского литературного наследия. Естественно, тут я не касаюсь одесских поисков и находок...

— А в Национальной библиотеке Франции разве нет старых русских газет, журналов?

— Конечно, есть. И не только там, но в других местах. Тем не менее, чтобы всерьез кропотливо заниматься их просмотром, выборкой отдельных публикаций, нужно время. В моем распоряжении его было не очень много. Не сомневаюсь, однако, что все, что мне удалось разыскать, в купе с тем, что разыскал и собрал Голубовский, на сегодняшний день представляет самое полное, лучшее собрание стихов Ставрова и разбросанных по разным периодическим изданиям его публикаций в прозе.

— Ставров упоминается в "Дневниках" Зинаиды Гиппиус, в мемуарах Нины Берберовой "Курсив мой", в опубликованных письмах Георгия Адамовича, в "книге памяти" Василия Яновского "Поля Елисейские"... И все же, кажется, при всем том, творчество его оказалось, по существу, забыто историками эмиграции и литературоведами... Чем это можно объяснить?

— Действительно, несмотря на то, что имя Ставрова встречается у многих известных литераторов, составлявших цвет первой волны русской эмиграции (встречается, впрочем, в основном мельком), найти рациональное объяснение, почему он оказался обойден должным внимани-

ем тех, кто писал, пишет об этой эмиграции, мне трудно... Следует учесть, конечно, что Ставров исключением не является. По-настоящему полной, серьезной работы, в которой синтезировался бы разнообразный накопленный разными специалистами материал о русских писателях и поэтах, живших и работавших в изгнании, пока не существует. Есть отдельные статьи, исследования о том или ином авторе, о литературных группах — целостная же панорама этой части русской творческой интеллигенции еще не создана. Замечу, тот же Яновский, живший в Париже до войны, великолепно знавший обстановку в среде русской эмиграции, писал: "Вообще, когда перелистываешь старые журналы, внимание привлекают зачастую не "ведетты", а имена поэтов, стоявших "в тени", вроде Заковича, Дряхлова, Ставрова...". Ну, со Ставровым сейчас ситуация стала меняться... А многие ли читали, знают упомянутых Заковича и Дряхлова? Я сам знаком с их творчеством лишь по некоторым антологиям. Собственные же их книги мне не встречались никогда. И это — за многие годы жизни во Франции! Что же говорить о русском читателе на родине, который в советскую эпоху был вообще лишен возможности приближаться к творчеству земляков-эмигрантов. Лишь в последние десять с лишним лет у такого читателя появилась возможность наверстать упущенное. Но упущенного оказалось, увы, очень много... Прекрасно, что в Москве стали издавать литературное наследие исключительного поэта и прозаика, умершего (покончившего с собой) в 1935 году Бориса Поплавского, а, допустим, Анна Присманова — поэт Божьей милостью! — мелькает пока лишь как бы мимоходом на страницах отдельных антологий... Жаль! Думаю, в судьбах поэтов и писателей эмигрантов, в частности "парижской ноты" (я предпочитаю: "парижского цеха"), многое предопределилось случайностями. Ставров как поэт и писатель, на мой взгляд, работал на очень хорошем уровне. Его язык чист, образы рельефны, в каждом произведении есть своя идея, мысль... Все очень пластично. Вероятно, по "гамбургскому счету" Ставрова можно занести в категорию литераторов "второго ряда". Однако при этом не следует забывать, что в "первом" находились не какие-то случайные фигуры, а величины поистине огромные: Бунин и Зайцев, Мережковский и Гиппиус, Цветаева и Ходасевич, Георгий Иванов и Маковский, Ремизов и Бальмонт!.. В дружеский круг Ставрова входили молодые поэты и прозаики, печатавшиеся, как и он, в "Числах", "Современных записках", "Русских записках", "Новоселье" и других изданиях; он бывал на воскресных встречах в Кламаре у Бердяева, общался с такими крупными французскими писателями как Андре Мальро, Клод Аве-

лин, Дриер ла Рошель (это подтверждает Терапиано); поддерживал товарищеские отношения со своими, получившими всемирную известность земляками, Ильей Ильфом и Евгением Петровым... — представить себе, что это оказалось случайностью, невозможно. То есть, в Ставрове я совершенно определенно вижу большую, яркую, многогранную личность.

— Что может дать современному читателю чтение поэзии и прозы Ставрова? Насколько творчество его актуально?

— Хорошая, нравственно чистая литература — а этими качествами отмечены многие страницы Ставрова — актуальна и нужна всегда. Я понимаю, что говорю банальные вещи. Но на сегодняшний день, когда на русском книжном поле все смешалось — рядом с гениальными стихами Ахматовой и Мандельштама, например, оказались откровенно придурковатые сочинения Веры Павловой (за которые она, впрочем, получила престижную российскую премию им. Аполлона Григорьева!) или искусственные словесные фокусы Пригова; когда русским писателем, продолжающим прямо "традиции Гоголя и Достоевского" некоторые литературоведы, а особенно часто — западные слависты, без стыда величают апологета трупологии Мамлеева, когда сексуально извращенная тематика, и еще больше — ругань романа "Голубое сало" обеспечили Владимиру Сорокину чуть ли не национальную славу, о которой не мог бы даже мечтать Михаил Булгаков... — на подобном фоне (увы, он не замыкается лишь названными именами), думаю мне, появление любой публикации, в которой сохраняется не просто нормативная лексика, но родниковый русский язык, подлинные культурные традиции — можно и нужно лишь приветствовать.

— Не сгущаете ли вы несколько краски?

— Субъективность мне не чужда, но при этом, уверяю вас, я никому ее не навязываю. Для меня несомненно — русская современная литература не замыкается названными именами. В ней есть прозаики и поэты, не утратившие культуру слова, мысли, этики... Тем не менее, альфу и омегу этой литературы сегодня определяют не они, а скорее (в лучшем случае, то есть без экстремизма разных толков и порнографии), Пелевин, Маринина, Акунин... Но возьмем, к примеру, последнего. Знаете, я с удовольствием читаю в метро его книги о сыщике Фандорине или о приключениях монахини Пелагии, жду появления продолжений таких историй. Тем не менее, давайте согласимся, это не литература, а цирк. В цирке интересно побывать. Оставаться же там постоянно или очень долго даже признательному зрителю — нелепо. Так вот, когда Акунин соблюдает "правила

игры", приглашая меня, читателя, в заманчивые лабиринты своих стилистически тонко сплетенных повестей, в свой детективный "цирк", я отношусь к этому надлежащим образом, то есть с должным уважением к профессионализму автора. Когда же, однако, имя Акунина появляется в печати и на театральной афише рядом с Чеховым, и знаменитая "Чайка" превращается в объект непрошеного соавторства, тут, простите, чувство юмора меня оставляет... Я называю это профанацией литературы, искусства. Загримированная литературная посредственность, безусловно, чувствует себя хорошо прежде всего там, где нет требовательного читателя и критика.

Немного, если позволите, об этом. О русских в Париже, о "русском" довоенном Париже существует довольно большая литература, от Тэффи и Дон-Аминадо до Одоевцевой, Терапиано, Андрея Седых, Гуля, Бахраха или, скажем, упомянутого уже Яновского... Но вот, что удивительно — вместо того, чтобы обратиться непосредственно к их книгам, которые сейчас почти все перепечатаны с западных изданий в России, читатель стремится получить эти же истории в сладковато-наивных пересказах Бориса Носика!.. Тут, впрочем, для меня заключается загадка читательской души. Вернее, я понимаю это лишь как одно из конкретных проявлений резкого снижения у русского читателя критических критериев, вкуса. То есть, говоря о разных аспектах современной русской литературы, я действительно не могу избавиться от ощущения, что ситуация в целом очень и очень незавидная. Наличие в ней Битова, Аксенова, Жванецкого, Евгения Попова, Маканина, Улицкой, еще горстки серьезно работающих авторов (я — о тех, кто, слава Богу, находится в здравии), ободряет, но нарушенного в целом баланса не восполняет. Возвращаясь к Ставрову, полагаю, его творчество следует считать частью подлинной, выдержавшей испытание временем, скромной внешне и глубокой по сути русской культуры. Даже если ее остается не очень много, она необходима.

— **Где похоронен Ставров, в каком состоянии находится его могила?**

— Судя по некрологам, под Парижем, на кладбище городка Брюнуа. Я начал поиски его следов поздней осенью прошлого года. Мысль о поездке на это кладбище возникла сразу же, как только выяснилось это место. Однако затем решил отложить поездку до теплых дней начала лета, когда сумерки наступают позднее, земля сухая, можно не спеша походить по дорожкам, поискать надгробную плиту или крест. Возможно, что-то сохранилось. Делать какие-либо прогнозы мне не хочется.

Мосье Жан

"Асфальт и герани, красные, бледно-розовые, на чистеньких клумбах. На Украине такие на широких, битой глины "призбочках" по деревням. Цветы на асфальте, последний отклик полей... какие, впрочем, поля в Сэн-Мартэне, больше асфальта, чем полей. Мишу бьет по асфальту ножкой, кричит "alerte", когда летят авионы. По-русски "alerte" — тревога, кажется. Мишу никогда не скажет — тревога... добри вечор, рара, qu'il dit. Пять. Не забыть бы пять поручений Жанины. Как она кричала, когда я ей нож под сердце подводил... Как ей понять такое".

Кричала не Жанина. Кричала, истошно визжала свинья Маша, кося белесыми, проснувшимися от ужаса глазками на страшные приготовления для страшного дела. Дело было, впрочем, простое, житейское. Мосье Жан заколол вчера свинью для засола на зиму и для "черного рынка". Мишелю нужны ботинки — раз, Жанине — меховая шубка — два, и прочее, и прочее.

В дороге делать нечего. С игрушечного вокзала в темноватый вагон, а там сиди и жди, пока попадешь в нужную тебе точку. Дремать можно, крестословицы решать, позевать, скользить взглядом по мелькающим в окне видениям.

Мысли текут лениво. Вот соседка даже рот раскрыла, задумавшись, и вздыхает по временам.

Оттого и мосье Жану можно побыть Иваном Николаевичем, студентом с философией или юнкером с благими порывами. Мосье Жан тоже не исчезает, конечно. Красная полоска летнего загара на лбу, слишком грубые руки, костюм деревенского конфексионера, — но есть остатки военной выправки и некая мечтательность взгляда.

"Да и мне, собственно, как понять такое. Вчера — дорогая Маша, а сегодня — на крюке подвешена... даже глядеть страшно. Это жизнь, как говорится. Эх, жалко, Маша, что жизнь не наша... Философствуешь, а поручения забудешь... Хорошо, если с этим Кривцовым дело слажу, — а если нет... Маша ждать не может".

Поезд бежит (бег неважный, едва ли сорок в час), вагоны скрежещут на поворотах, по стеклам бегут, нарастая, исчезают мгновенно капли дождя. Рыжие поля, неожиданная зелень огородов, игрушечные, смешные домики.

* Рассказ П. Ставрова получен редакцией из Парижа.

игры", приглашая меня, читателя, в заманчивые лабиринты своих стилистически тонко сплетенных повестей, в свой детективный "цирк", я отношусь к этому надлежащим образом, то есть с должным уважением к профессионализму автора. Когда же, однако, имя Акунина появляется в печати и на театральной афише рядом с Чеховым, и знаменитая "Чайка" превращается в объект непрошеного соавторства, тут, простите, чувство юмора меня оставляет... Я называю это профанацией литературы, искусства. Загримированная литературная посредственность, безусловно, чувствует себя хорошо прежде всего там, где нет требовательного читателя и критика.

Немного, если позволите, об этом. О русских в Париже, о "русском" довоенном Париже существует довольно большая литература, от Тэффи и Дон-Аминадо до Одоевцевой, Терапиано, Андрея Седых, Гуля, Бахраха или, скажем, упомянутого уже Яновского... Но вот, что удивительно — вместо того, чтобы обратиться непосредственно к их книгам, которые сейчас почти все перепечатаны с западных изданий в России, читатель стремится получить эти же истории в сладковато-наивных пересказах Бориса Носика!.. Тут, впрочем, для меня заключается загадка читательской души. Вернее, я понимаю это лишь как одно из конкретных проявлений резкого снижения у русского читателя критических критериев, вкуса. То есть, говоря о разных аспектах современной русской литературы, я действительно не могу избавиться от ощущения, что ситуация в целом очень и очень незавидная. Наличие в ней Битова, Аксенова, Жванецкого, Евгения Попова, Маканина, Улицкой, еще горстки серьезно работающих авторов (я — о тех, кто, слава Богу, находится в здравии), ободряет, но нарушенного в целом баланса не восполняет. Возвращаясь к Ставрову, полагаю, его творчество следует считать частью подлинной, выдержавшей испытание временем, скромной внешне и глубокой по сути русской культуры. Даже если ее остается не очень много, она необходима.

— **Где похоронен Ставров, в каком состоянии находится его могила?**

— Судя по некрологам, под Парижем, на кладбище городка Брюнуа. Я начал поиски его следов поздней осенью прошлого года. Мысль о поездке на это кладбище возникла сразу же, как только выяснилось это место. Однако затем решил отложить поездку до теплых дней начала лета, когда сумерки наступают позднее, земля сухая, можно не спеша походить по дорожкам, поискать надгробную плиту или крест. Возможно, что-то сохранилось. Делать какие-либо прогнозы мне не хочется.

Мосье Жан

"Асфальт и герани, красные, бледно-розовые, на чистеньких клумбах. На Украине такие на широких, битой глины "призбочках" по деревням. Цветы на асфальте, последний отклик полей... какие, впрочем, поля в Сэн-Мартэне, больше асфальта, чем полей. Мишу бьет по асфальту ножкой, кричит "alerte", когда летят авионы. По-русски "alerte" — тревога, кажется. Мишу никогда не скажет — тревога... добри вечор, рара, qu'il dit. Пять. Не забыть бы пять поручений Жанины. Как она кричала, когда я ей нож под сердце подводил... Как ей понять такое".

Кричала не Жанина. Кричала, истошно визжала свинья Маша, кося белесыми, проснувшимися от ужаса глазками на страшные приготовления для страшного дела. Дело было, впрочем, простое, житейское. Мосье Жан заколол вчера свинью для засола на зиму и для "черного рынка". Мишелю нужны ботинки — раз, Жанине — меховая шубка — два, и прочее, и прочее.

В дороге делать нечего. С игрушечного вокзала в темноватый вагон, а там сиди и жди, пока попадешь в нужную тебе точку. Дремать можно, крестословицы решать, позевать, скользить взглядом по мелькающим в окне видениям.

Мысли текут лениво. Вот соседка даже рот раскрыла, задумавшись, и вздыхает по временам.

Оттого и мосье Жану можно побыть Иваном Николаевичем, студентом с философией или юнкером с благими порывами. Мосье Жан тоже не исчезает, конечно. Красная полоска летнего загара на лбу, слишком грубые руки, костюм деревенского конфексионера, — но есть остатки военной выправки и некая мечтательность взгляда.

"Да и мне, собственно, как понять такое. Вчера — дорогая Маша, а сегодня — на крюке подвешена... даже глядеть страшно. Это жизнь, как говорится. Эх, жалко, Маша, что жизнь не наша... Философствуешь, а поручения забудешь... Хорошо, если с этим Кривцовым дело слажу, — а если нет... Маша ждать не может".

Поезд бежит (бег неважный, едва ли сорок в час), вагоны скрежещут на поворотах, по стеклам бегут, нарастая, исчезают мгновенно капли дождя. Рыжие поля, неожиданная зелень огородов, игрушечные, смешные домики.

* Рассказ П. Ставрова получен редакцией из Парижа.

Вскоре, однако — мимолетные провалы туннелей, изъеденные проказой стены, широкая паутина путей на унылой мокрети.

Белый пар клубится в тяжелом небе, редкие ключья задерживаются, растекаются под черной, сожженной сажей крышей.

Визг, скрежет. Приехали.

Парижский же вокзал — не то, что вокзал деревенский. Затертый, заплыванный пол, однообразное шарканье ног по обширным плитам. Тонкие, голого железа колонки уходят в скучную высь. Тяжелая клажа, суета, бег на месте. Храм железнодорожной скуки.

Мосье Жану достаточно скуки своей, деревенской. Вечер за вечером, вечера, как тяжелый свинец. Два месяца, как погасли лампочки, не хрипит больше радио, потух внешний мир.

Покидая вокзал, мосье Жан облегченно вздыхает. Подбодриться, забыть, расправить неуклюжесть движений, дельце обделать, окунуться в дела. Просыпаются также мысли Ивана Николаевича. В кафе-ресторане, где назначено свидание, есть русская водка. Встряхнуться немного, quoi. Предвидится легкий туман, приятное настроение, новые деньги, случайности жизни. Потом — потом, отчего же, можно вернуться с утренним поездом. Мосье Жан бодро переходит площадь в установленном месте. Он рад концу короткого путешествия.

"Отчего только в кафе с музыкой. Тоже выдумал. Машинным телом торговать под звуки веселого вальса. Узнать его надо — маленький, серое пальто, русая борода, будет русскую газету в руках держать. В Сэн-Мартэне же газет не читаю. Мир сотрясается, а Ивану Николаевичу полагается в навозе копать. Конечно, Жанина, Мишу, своя земля, но все же... День за днем, а выходит целая жизнь... зацепиться не за что, то ли высшее счастье, то ли туман какой-то".

Аперитив перед завтраком — отвлекает от неожиданных мыслей. Публики в кафе еще мало. Оркестр на возвышении тихо пикирует, настраиваясь. За столиком торчат одиноко ожидающие девицы.

"Странное тоже занятие — с утра сидеть, поджидая, чтобы подобрал кто-нибудь. Сидят, торчат, и о чем они думают, поджидая, — монументальная пустота... Сон какой-то..."

Зал оживляется все же. Замелькали белые пятна салфеток на сереньких столиках. Мосье Жану очень захотелось продать Машины останки.

"Маша не может ждать... Отчего он не идет, право..."

Вертелась входная дверь, мелькали серые пальто, серые шляпы, а русой борода Кривцова все не было.

Кривцов подошел как-то сбоку, помахивая русской газетой.

— Кажется, свидание с вами... вы...

— Да, да, простите... узнал бы и без газетки.

— Разрешите представиться...

"Узнать не трудно, борода русая, а кто теперь носит бородки — глаза рыбы, рыбы глаза, ну, вот, и неприятно".

— Присаживайтесь. Для начала российской...

О Маше сначала нельзя, о Маше после третьей рюмки. О политике тоже скользко. Ну, там, о погоде...

"Росту он маленького, и какое мне дело до его роста, а глаза рыбы, тусклые, немного навывате, ну, и рыбы..."

Поговорить можно о российском прошлом. Безобидно, и тема неисчерпаемая.

— Вы, ведь, кажется, тоже...

— В Павлоградском... бились в Ногайских степях... под Одессой рука прострелена.

"И какого черта он об Одессе вспомнил. Ветер, ледяной ветер... Жанина никогда понять не могла..."

— Да, да, были дела. Так вот, о деле.

— Отчего же, Иван Николаевич, можно и о деле. А водка у них вкусная, удивительно даже.

Соседка улыбается — нравится широкий русский размах.

— Русские, щедрые русские... водка... не пригласите ли завтракать?

— Нет, мадамочка, мы должны оставаться одни. У нас дела — понимаете, дела.

После третьей с закуской поговорить совсем приятно. Все легко выполнимо, все будет закончено ко взаимному удовольствию.

За большими витринами мелкий дождь, а в кафе тепло, уютно, гарсоны обслуживают. Даже дым папиросный приятен.

"При чем тут, право, воспоминания. Если снять русую бородку..."

— Сто двадцать на сто сорок — это уже надо с карандашиком. Пенсне снять надо.

— Не угодно ли салату? Как же, как же, в декабре на "Енисее" эвакуировались. Погодка была, ах, какая погодка...

"Рыбы глаза без пенсне — невозможно, совершенно невозможно... Это не он, не может быть, чтобы он. Погодка была действительно, ах, какая погодка, дул свирепый ветер, пронизывало, срезало дыхание. Одежда как решето... Голые красные руки скользят по обледенелым канатам трапа... Куда лезешь — не лезь! Нагайкой по красным, распухшим рукам... Ле-

дяные зеленые волны... Не может быть, чтобы он. Музыка не останавливается, гарсоны снуют по-прежнему, вертится дверь — не может быть, чтобы он..."

— Семен... простите...

— Никифорович...

— Никифорович... Вы действительно на "Енисее"?

— На "Енисее", в декабре, из Одессы.

"Свиделись, можно сказать, свиделись. За горло, сволочь, за горло... Нагайкой по распухшим, голым... Рыбьи глаза, потом холод, как нож... Холодно и черно..."

— Вы, Семен Никифорович, шрам на руке узнаете?

— Что его узнавать. Хе-хе, у меня самого рука прострелена. Дело кончаем, Иван Николаевич. Мне после кафе бежать надо.

Туман от папиросного дыма, гарсоны снуют, не останавливаются — остановись, музыка.

Девушка, та, что по красивее, рядом, соседке:

— Знаешь, в деревне ему лучше. Сто франков, но зато молоко и бифштекс каждый день. А здесь он все кашлял, кашлял, кашлял. Ему скоро десять лет будет. Доктор говорит, выскочит...

Мосье Жан прислушивается (вот вы, девочки, о чем разговариваете), соображает. Продавать Машу или нет. Цена выгодная... Схватить его за горло, что ли...

От выпитого алкоголя все в легком тумане и все не очень настоящее. Слава Богу, что не настоящее.

Ну, какая там Одесса, здесь Париж. Мосье Жан свинью продает Кривцову на "черном рынке".

"...В больнице на рассвете — какая тоска, не спится... Еще темно. С трудом различаешь — все койки, да стены, — а пусто... до утра дожждаться, все равно, что жизнь второй раз прожить. Все ушло, свои ушли — придут, заберут красные... в полусне, в бреду — куда лезешь, не лезь... в ледяную зеленую воду... Росту он маленького, глаза рыбы — запомнить бы, не забыть... искать всюду, всю жизнь искать... за горло его, за горло... Дорогой Иван Николаевич, здесь тебе не больница, здесь кафе с музыкой... Жанина дома денег ждет. Пять поручений, игрушки Мишу..."

Эх, хорошо бы с этой мадамочкой. Что по красивее..."

— Что вы, Иван Николаевич, призадумались. Решено, значит, завтра к двенадцати я у вас с грузовичком. Солома, там, или сено, чтобы прикрыть, у вас найдется?

— Семен Никифорович — никакого сена.

"Вот сейчас и произойдет. Все будет сейчас по-настоящему. К черту кафе, к черту Париж, все к черту. Остановится музыка, сбегутся гарсоны, схватят мосье Жана за руки. Ветер, ледяной ветер..."

Много мыслей проносится в голове.

Кривцов — с улыбочкой — счетчик.

— Позвольте, Семен Никифорович...

— Нет, уж позвольте мне, я, так сказать, магарыч ставлю.

Через большие витрины видно: мелкий дождик усилился. С широких улиц вокзала толпа стекается на площадь, растворяется в прилегающих улицах. Приехал, значит, поезд.

Вертится дверь, посетители входят, отряхиваясь. На улицу выйти никак не хочется. Сидеть бы так сиднем под музыку.

"А ведь были рыбьи глаза, были..."

— До свидания, Семен Никифорович. Кстати, у нас и пообедаете. Спросите мосье Жана.

Пять минут одиночества и молчания.

Потом:

— Вы как, барышня, свободны сегодня вечером?

"Новоселье" № 21 (1945)

Дорогой дальнею

Жар начинался не сразу. Томили и горели глаза, дрожь во всем теле, нельзя было думать о холоде ручейка, холодно было под косыми, но еще жаркими лучами солнца, мысли мелькали с удивительной легкостью, подчиняясь особым, не каждодневным законам; все было очень доступно и очень просто, даже если бы захотел Терехов задуматься над сложностью своей жизни.

Все же был жар; жар приподнимался чуть-чуть над земными возможностями, и нельзя было запутаться в этих возможностях. Путались, конечно, мысли, но путаница была особая, ведущая к удивительным по простоте и приятным решениям.

Даже если бы и пришел бред, настоящий бред, заменяя собой дрожь и путаницу, — так ли нестерпимо забыться на вольной дороге, на светлой, подсыхающей зелени, под огромной пустотой синевы.

Все началось с истории о зубе.

Правда, давно уже мучили ежедневным препятствием узкие Лелины плечи, маленький рост, вниз непомерно осевшее тело. Глаза серые, будто налитые светлой водой. Ничего, ничего не помнят. Давно удавалось не спать вместе, но так тоскливы были вечера.

— Что с тобой, Толя, почему не зашел к Дононам, и так нельзя...

Тяжкие вздохи, руки, сложенные на выпуклом животе.

Светлые глаза смотрят мимо.

Терехов лежал тогда на кисейных накидках постели, под низким потолком, постукивал и брнчал на гитаре, напевая, — и ненавидел (не надо снимать сапог, так удобнее, и черт с ними).

Мадам Донон слушала ехидно историю о зубе.

— Так, — говорила Леля, и Терехов изучал визгливое, чуть в нос произношение, — и вы им кушаете... американские доктора, те до чего додумались. Вынимают у вас больной зуб, даже с флюсом, и лежит он себе на полочке... ну, а потом делают, что надо, и вставляют обратно... и вы им кушаете...

— Скажите, — говорила мадам Донон, — и стоит это недорого?

От легкого летнего ветра над распахнутой дверью колышется кисейная занавеска, Терехов видит — мадам Донон смеется в платочек.

Жар не проходил, жар еще поднимался. Тяжелые тени уже ложились на жаркий асфальт дороги, вечерний холодок пробежал по обнаженным локтям, растекался к спине струйками.

Мадам Донон смеялась в платочек. В открытое настежь окно над черными тенями домов глядело вечернее небо. Терехов встал и тихонько вышел, с мадам Донон не попрощался.

Одиноко и смутно на душе — вечером, на шири парижского авеню, без цели, без дела. Час такой, что редкие прохожие спешат, не оглядываясь. В радужном ореоле сверкают высоко подвешенные фонари. Из резкого белого круга сразу попадаешь в черную тень, и уходит, уходит, вдаль убегает широкая улица. Пустеют окончательно тротуары; ночь будет бесконечно длинная. У решетки метро, под красным, без лучей, огоньком замечает Терехов уличного торговца, веселого карлика Антуана.

Днем Антуан работает, продает камешки для зажигалок, пуговички с застешками особенной простоты, натуралочки для овощей, секреты всякие и неожиданности. И говорит, говорит без умолку.

Однако, если постоять у его столика, сразу заметишь: все он врет, ни во что не верит, ничего такого не думает. Глаза блестят весело, и хотя не

любят его, маленького и уродливого, женщины, а он женщин очень любит — все ему нипочем. Знает он все входы и выходы, денежки у него прикоплены, но веселье его совсем не от этого. Поэтому Терехов долго беседует с Антуаном, читая в глазах его надежду.

И вот они вместе глубокой ночью в темной, едва освещенной впадине глухого быстро парижских окраин. Пол цементный, столы приземистые, деревянные, и нет цинковой стойки. На дереве столов — прожженные пятна, буквы и вдавлины. Когда хозяин взмахивает перекинутым через плечо полотенцем или хлопнет входная дверь, пропуская ночной ветерок, в самом темном углу над дверью черным роем поднимаются на мгновенье мухи.

Терехов с Антуаном пьют, закусывая хлебом, белое вино из высоких стаканов, слушают шепот, разговоры и возгласы посетителей — бродяг, женщин, или просто гуляк, убегающих от бессонницы.

И еще Антуан говорит, говорит без умолку. В таком-то году он был клоуном, а в таком-то бродил по дорогам Испании, — табак на спине переносил, зазывал в балаган посетителей. И все смеется, смеется, сверкая глазами, похлопывая покровительственно Терехова по коленке. Терехов слушает, отмахиваясь от едкого дыма, забывая кашлять... От белого вина в душе подымается особая терпкость, Терехов тоже знает, как выйти на большую дорогу.

И вот, пошатываясь и уже не слушая друг друга, каждый лепеча про свое, бредут они вместе темными улочками, проулками, к туманной Сене. Дома не такие, как днем на широких улицах. В тесноте, пузатые, надтреснутые, западающие книзу. И улицы не такие — знаешь, как войти в переулок, а никак из него не выйдешь.

Дальше начинается ночной простор — широкие набережные, большие очертания наваленной груды добра, обширные склады и серая с черным Сена. Ночная тишина и туман приглушают шаги. Изредка закричит на высокой ноте одинокий локомотив. Под мостом, где Антуан встречает знакомых бродяг, сыро, тепло и уютно. Можно просидеть до утра, помалкивая, забавляясь огоньками и искрами игрушечного костра.

Сена течет медленно, тяжело поворачиваясь во сне, совсем близко расплываясь в неясности. Только у самого берега хлопает маленькая волна. Ничего больше не скажешь, и сказать больше нечего — все известно.

Наутро Терехов не возвращается в дом к Леле, а бредет, направляясь к Лазурному берегу.

Многое забывается и уходит в глубокое прошлое.

Раннее утро на Ривьере — неясное с розовыми отливами. Просыпаясь, знаешь, что целый день будет солнце, и небо будет совсем синим.

Забыты трудности дороги, бродячая жизнь, скитанья по чужим дворам. Даже если не думает об этом Терехов, все же всегда знает — он артист Igor Térek, "баян русской песни" в ночном кабачке Флора. Есть бумага с подписями и гербовой маркой — контракт.

Днем, когда нет репетиций, Терехов гуляет по залитым солнцем бульварам, у самого моря. Все вокруг веселы, все в белом, в легких одеждах или совсем без одежд. Терехов тоже участвует в празднике: легкие теннисные туфли, брюки ослепительной белизны с безукоризненной складкой.

На деревянной площадке, пахнущей свежей тиной, влажной сосной, среди радостных всплесков купальщиц, Терехов склоняется над прозрачным стаканом, следит за блестками играющего под солнцем моря. Легкий, оставшийся с ночи жарок и томление только содействуют утренним радостям. Дни струятся, день струится за днем, как играющие морские блески.

К столику Терехова приближается мадемуазель Эллен, танцовщица, товарищ по "Флоре". Радостно привстать ей навстречу, говорить ей "ты" по-товарищески. Так как работа у них общая, Терехов будет видаться с ней все лето — часто, подолгу — всегда...

Пока не подошли другие — товарищи, знакомые, полужнакомые, — легкий союз под знаком солнца и моря: можно перекинуться с Эллен ничего не значащими словами, многозначительно, понимающе.

Серые глаза Эллен смотрят пристально, помнят, конечно, как целовал их Терехов лунной ночью, на заветной скамейке. И в губы, и в губы...

Господин Арну, хозяин "Флоры", низенький, толстенький (разве бывают хозяева не толстенькие?):

— Часто вас вижу вместе, господин Терек, ах, эти русские!

А Терехов худой и высокий.

Рыжая американка средних лет, прихрамывает — неизвестно кто и откуда — незнакомая, подозрительно и слишком вкусно смотрит на Эллен. Она просит Терехова:

— Monsieur Térek, пожалуйста, please, Doroga dalni вполголоса...

Терехов смеется.

"Дорогой дальнею, да ночью лунною,
Да с песней той, что в даль летит звеня"...

Дорогой дальнею — от смятой постели, от Лелиных объятий, от туманной Сены, к лазурному морю, к серым глазам Эллен, а дальше куда — неизвестно.

Только поздним вечером прохлада одолевает дневной жар. Автомобильные шины хрустят на мокром гравии под электрическим полусолнцем "Флоры". Пахнет морем и эвкалиптами. Раздаются билеты на вечный праздник — входите, пожалуйста.

Шоферы же будут дожидаться конца, прохаживаясь, переключаясь, болтая с деловитым позолоченным грумом.

Терехову полагается входить во "Флору" сторонкой, обходя освещенную площадь, через заднюю полуподвальную дверь. Не развлекаться идет, а работать.

В голубой атласной рубашке, в желтых полусапожках, в клоунском этом костюме, как заставить поверить толпу развеселых гуляк во вздохи, тоску и полет русской песни?

От выпитого коньяка задача представляется легкой, и высоким — собственное назначение. Забыться, взлететь, раствориться в полете. С усталой улыбкой склониться, изнемогая под гром аплодисментов. Эллен, конечно, будет смотреть и слушать...

В темных кулисах сыро и даже холодно. Шныряют деловито, говорят полушепотом — все для того единственного значительного, что за темными перекладами, за пылью и грязью расставленных декораций. Много ума, труда и усилий потрачено на их расстановку. Есть порядок и смысл в каждом грязном полотнище.

Все это там за гранью, в ослепительном блеске. Здесь же никто не стесняется. Ну, голая совсем прошмыгнула девчонка, молодая певичка. Слоняется, попадаясь некстати, пожилой бородатый скульптор в детских штанишках — ухаживает неизвестно за кем. Арну приветливо кивает на ходу Терехову. Игорь Терек идет в кабачке хорошим номером.

Пожатие руки Эллен. Пудра, одуряющий запах духов, голые плечи, красные каблучки... об остальном после, глубокой ночью, может быть, на рассвете.

Звенит гитара, льется песня, поднимается ввысь душа. Они поймут, они не могут не понять...

— Гори, гори моя звезда —

пусть поблекшая, пошленькая, в пьяном раздолье затрепанная, но все же единственная, всесжигающая.

— Гори, гори, моя звезда...

Звени, гитара семиструнная, подруга простейшая, неизменная. Пой, голубой клоун в желтых сапожках, без роду, без племени. Пой до капелек пота на висках, до изнеможения — до грома аплодисментов. Они поймут, они не могут не понять...

Терехов бледный, покашливающий, в ослепительном зале. Столики, шампанское, гул голосов. Одиноким седеющим англичанин угощает русского баяна Игоря Терека. С трудом объясняется, а понял русскую душу оттого, видно, что проигрался сегодня здорово в рулетку. Терехов с англичанином друзья закадычные, навеки. Друг друга поняли, все вместе поняли, ничего им вместе не страшно. Терехов силен, талантлив, все может. Прощай, Леля, кисейные занавесочки, тоска, туманная Сена...

Американочка, медно-красная от загара, волосы платиновые (не дочка ли той, рыжей) почувствовала, видно, силу Терехова, заглядывает в глаза, делает прозрачные намеки — если захочет он, сегодня же ночью его полюбит. Эллен со сцены улыбается, красными каблукками Терехову отстукивает.

Что — женщины? Все возможно, все во власти Терехова.

Хорошо на душе, а ему вспоминается:

Mes souliers sont rouges,
Adieu, mes amours.
Mes souliers sont rouges,
Adieu sans retour...

Сладкая грусть — не тоска. Слишком, слишком хорошо на душе. Терехову надо видеть Эллен.

— Нет, голубчик Джон, я один пойду. Тебе за кулисы нельзя. Я артист, мне все разрешается.

Попадая из светлого зала в темный коридор, Терехов спотыкается по дороге к уборной Эллен. Надо все, все рассказать...

В полураскрытую дверь: зеркало (бледный какой и волосы растрепаны), лампочка над туалетом, угол серой стены, голос, плечо Эллен.

Арну, спокойно, сдерживаясь, рука уверенно на груди Эллен.

— Господи Терехов, у вас нет такта, входите, не постучавшись.

Эллен молчит. Глаза серые — наивные и предательские. Эллен сказала бы:

— Cher Igor, ведь это пустяки, все, что было. Жизнь это вещь серьезная, cher Igor, в жизни надо устраиваться.

Эллен молчит.

Ну что же, в зале есть американочка...

Mes souliers sont rouges,

Adieu, mes amours.

Mes souliers sont rouges,

Adieu sans retour...

Усмехается веселый карлик, друг сердечный Антуан.

— Пей, пей до дна. А потом стаканы будем бить, что ли...

В ночных кабачках нет окон, или они закрываются плотно, навсегда.

На запыленном коротком диванчике, в тяжелой полутьме просыпается Терехов. Погас электрический блеск. В струйках с трудом пробивающегося света танцуют солнечные пылинки. Значит, наступило утро.

Зал еще не успели убрать. Тусклые амуры с веночками глядят с посеревших стен. Пурпурные драпировки над ложами ничего больше не украшают. На полу много окурков.

Пусто на душе Терехова, и петь больше не хочется.

Что ж, Анатолий Терехов, осталось одно: дорогой дальнею, без лишнего груза, без гитары, без песен. Без любви.

"Литературный современник", 1954 год,
Мюнхен.

Н.А. Тэффи

Ко второй годовщине со дня смерти

Нет больше среди нас Надежды Александровны Тэффи...

Почему ярче всего запечатлевается какой-либо, будто случайный, образ навсегда ушедших от нас близких?

"Русский Дом" в большом парке на Лазурном берегу. Начало весны, сияет небо, нежно расцветают первые анемоны.

Ранним утром Тэффи широко, настежь распахнула окно. На лице радостная улыбка. Наклоняется, говорит сверху вниз, в сад:

— Не правда ли, П.С., как хорошо жить на свете?

А ведь за прошлые сутки было четыре сердечных спазмы, невыносимая боль ("больше минуты нельзя такого выдержать"). Четыре раза за одни сутки умирала Надежда Александровна.

А сегодня: — Не правда ли, хорошо жить на свете?

— Я всегда знала и много раз говорила, что счастье — это не удача, не достижение, счастье — это просто чувство ни на чем не основанное, ничем не объяснимое...

У Тэффи была железная воля к жизни, к каждому предстоящему дню, скучному, смешному, то радостному, то печальному. В одно из очередных умираний записала: "Хочу еще раз услышать увертюру Лоэнгрина, поговорить с одним замечательным человеком и увидеть восход солнца..."

Воля к жизни помогала годами бороться с ежедневным почти умиранием. Слишком все остро чувствуя и все понимая, надо все же всегда улыбаться. Надо смеяться над скукой, над бедностью жизни, над собственным жестоким страданием. Это требует мужества и "умного сердца". "Умное сердце" — дар Божий, которым щедро была награждена Тэффи. Часто она шутя называла себя ведьмой (всегда прибавляя: "вы не думайте, я очень добрая ведьма"). Ведьма знает о чем-то, чего не знают другие. В этом ее сила и власть над жизнью. Слишком зрячая среди многих слепых. Но все же, когда темнота вокруг, как хорошо бывает оставаться слепым, чтобы темноты этой не чувствовать...

В замечательном ее рассказе "Слепая" слепые девушки, взявшись за руки, поют "просто и убедительно":

Ах, озарите, да озарите
Лучем приветным наш темный край...
Ах, отворите, да отворите
Нам двери счастья в наш светлый рай...

А вот как описывает Тэффи в том же рассказе тот "светлый рай", которого так жаждут и никогда не увидят слепые девушки:

"День был тусклый, печальный. Море серое, линючего цвета, сливалось с небом, но не казалось от этого безбрежным. Напротив, оно как будто кончалось где-то совсем близко, ползло мутной дымкой вверх и изнемогало в тяжелом тумане. Оно даже не плескало береговой волной. Совсем было стоячее, мертвое.

Померло море, скончалось..."

Но от того, что померло море нельзя же все нить да плакаться. Надо порой и посмеяться вволю, а иногда над самым грустным улыбнуться с "нежностью".

В "Мальчике Коле" — последняя записка погибающего мальчика:

"Многоуважаемые мною. Извините меня, нас кормили мерзлой кар-

тошкой, а больше совсем не кормят. Извините меня — мы погибаем"...

Надо покориться и все же улыбаться: "извините меня — мы погибаем..."

А оттого, что острый глаз Тэффи иногда почти невольно подмечал все смешное и глупое, что случается в жизни, называли Тэффи — юмористкой.

"У господина Х. — глаза, как круглые яйца, одни белки видны"...

Смеяться для Тэффи — это значит за всякими "миражами" увидеть жизнь без прикрас, в ее настоящем виде. А в настоящем-то виде — ох, какая это жизнь подчас смешная и глупая.

"Сусанна Робертовна, дочь покойного театрального деятеля, попросту говоря — циркового фокусника"...

"Говорят, Иванов — гастроном и большой знаток в винах. Просто говоря — повар"...

"Вы говорите, он спортсмен и любит автомобили, проще говоря — шофер"...

Если хотите, продолжайте называть Тэффи "юмористкой". Но как же она на это звание сердилась: "Какой глупый ярлык прикрепили!"

— Над моими рассказами плакать, а не смеяться надо, — говорила она, сердито нахмурившись. Но не могла не подметить в самом безнадежном, в самом трагическом, смешной и нелепой стороны, просто в силу особенности своего писательского таланта.

Для ее острого ума жизнь — прекрасная человеческая жизнь — все же большой парадокс, большая нелепица.

"И умные, и глупые, и самодовольные, и несчастные — все стремятся к простому человеческому счастью, а тычутся, как слепые, говорят и делают совсем не то, что для этого счастья делать нужно. Это порой очень смешно..."

Все мы — как глупые, иногда очень несчастные дети"...

Я думаю, разве что у Достоевского найдутся строки такой щемящей боли о нелепости земного существования.

Больному мальчику сделали трепанацию черепа. "И вдруг маленький — сколько ему было, года два не больше — вдруг поднял руку и приложил ее ладонью к завязанному виску.

— Слава Богу, — сказал он, — слава Богу.

Он сказал эти слова с такой невыносимой тоской, что даже странно было слышать от такого крошечного существа столько отчаяния.

— Почему, почему он так говорит? — в ужасе спросила Аня.

— А это его папа так говорит, когда доктор смотрит ушко, что оно уже заживает. А Борик думает, что это значит, что ушко болит. Вот он и пока-

зывает, жалуется, что больно, а повторяет "слава Богу". Он ведь еще ничего не понимает. Он совсем маленький..."

Если хотите, продолжайте и после этого называть Тэффи юмористкой...

Несколько лет назад Тэффи прожила с нами все лето. Живем мы на опушке леса, где много берез, где молодые березки, белея тонкими стволиками, обступили лесной пруд с пышно разросшимися кувшинками. Перед вечером красное зарево заката пламенеет на черной воде. Северный русский пейзаж.

Часто перед вечером Надежда Александровна, приодевшись, напудрившись, заявляла: "Иду на свидание с Россией..."

Ходить на это свидание ей было трудно — всего двести метров, но приходилось много раз останавливаться: жестокие сердечные спазмы одолевали.

До последних своих дней Тэффи с неслышанным — беру полную ответственность за это слово — мужеством боролась с болезнью. Всем интересовалась, работала, писала.

Очень уж тяжело ей было в последнее время. За неделю до смерти, в день своих именин, стараясь улыбаться всем пришедшим ее поздравить, все же горько пожаловалась моей жене (которую очень любила и часто говорила с ней "по душам"):

— Да, что вы, Надежда Александровна, вы еще много лет проживете.

— Типун вам на язык, Машенька, не говорите мне таких ужасов.

Одно для нас утешение: не боялась Надежда Александровна смерти.

"Смерть — это вечное пугало, является желанной и благодатной"...

"И тогда поняла она, что вот такая и есть смерть, это то крошечное, неделимое, как точка, как мгновение, когда останавливается сердце и прекращается дыхание и чей-то голос говорит: вот он умер. Это и есть вечность. А все надуманное загробное бытие, с терзанием совести, раскаяниями и прочими муками — все это получаем мы при жизни. В вечности этой мелкой дребедени делать нечего..."

Как т-и-х-о..."

Публикация Виталия АМУРСКОГО

Коловращение

В чащобах-лесотах обгорных, куда финтюги-человеки безлетьями не взбирались, жил Круня Протопович со женой Шаней Юльвинишной. Медведи вместо собак подворье четы дозорили, косули бурьяшечник в огороде выкусывали, а зайцы приходили в перинах супружских ойкаться.

В близине избы речулька журкала, а подале — озеро Лад. Травы в том месте такие пахли веяли, что зайдет из-за далья зверун кое-гда непривыкший и, вздохнувши, наземь кряпнется.

Нельзя сказать, что там волки кролей не кушали или лисы мышей не щёлкали, но все при взаимном согласьи деялось, по всевышнему законодательству.

Выбрел как-то спросонку Круня на озеро Лад, обмакнул пятки в студенышку и от утренней зги поспился. Освежил мурло и давай на весь облесок песнопень горлопашить.

Небо вдруг над ним взъерепенилось — то железная птаховица огнеточила. Крылетальники по разлеску бросила, хорошо лешии пожарище вовремя затушили.

Брюхом же птица жар в толщу воды фиаскнулась, аж русалок на берег выбило.

И послышался Круне рявк человеческий. Укропился Протопович в озеро Лад, и из самого дна мужлан-катастрофича вынес. Человек то был бессознанный, но дышала в нем жизнь некрепкая. На руках спасальник его в избу к себе вытащил к чрезвычайному обдивлению суженой.

Положили его в горнице и прикутали одеялами. Долго хворый валял-вирулентился, но откачала его Юльвинична знахорь-ягодой волчьей тыковкой.

Как остужился басурманович — поднесли к нему рыбий суп. А он по своему себе лякает — "Сенкс да сенкс". Зато и прозвали его Сенькой.

Швякнуло Круне лесовика Юху на ковриги медовые вызвать. Юха ведь волховник, человечесью мыслю чает, небось лепетунь басурманыча на язык лесной перекласть сможет.

К ветходубу прибёг Крунюшка, пока сумеречь не настигла — и давай округ дупла топать.

Долго ли, коротко — из дупла Юхина рыль выпхнулась: "Чё те, гангрена неумная, от меня требно? — разлюзился Юха, — Я вжо храпеть выстлался, а ты все округ ёжкаешь".

— Гадал, уважаемый Юха, к вечеру вас припаржить. Шаня коврижек

зывает, жалуется, что больно, а повторяет "слава Богу". Он ведь еще ничего не понимает. Он совсем маленький..."

Если хотите, продолжайте и после этого называть Тэффи юмористкой...

Несколько лет назад Тэффи прожила с нами все лето. Живем мы на опушке леса, где много берез, где молодые березки, белея тонкими стволиками, обступили лесной пруд с пышно разросшимися кувшинками. Перед вечером красное зарево заката пламенеет на черной воде. Северный русский пейзаж.

Часто перед вечером Надежда Александровна, приодевшись, напудрившись, заявляла: "Иду на свидание с Россией..."

Ходить на это свидание ей было трудно — всего двести метров, но приходилось много раз останавливаться: жестокие сердечные спазмы одолевали.

До последних своих дней Тэффи с неслышанным — беру полную ответственность за это слово — мужеством боролась с болезнью. Всем интересовалась, работала, писала.

Очень уж тяжело ей было в последнее время. За неделю до смерти, в день своих именин, стараясь улыбаться всем пришедшим ее поздравить, все же горько пожаловалась моей жене (которую очень любила и часто говорила с ней "по душам"):

— Да, что вы, Надежда Александровна, вы еще много лет проживете.

— Типун вам на язык, Машенька, не говорите мне таких ужасов.

Одно для нас утешение: не боялась Надежда Александровна смерти.

"Смерть — это вечное пугало, является желанной и благодатной"...

"И тогда поняла она, что вот такая и есть смерть, это то крошечное, неделимое, как точка, как мгновение, когда останавливается сердце и прекращается дыхание и чей-то голос говорит: вот он умер. Это и есть вечность. А все надуманное загробное бытие, с терзанием совести, раскаяниями и прочими муками — все это получаем мы при жизни. В вечности этой мелкой дребедени делать нечего..."

Как т-и-х-о..."

Публикация Виталия АМУРСКОГО

Коловращение

В чащобах-лесотах обгорных, куда финтюги-человеки безлетьями не взбирались, жил Круня Протопович со женой Шаней Юльвинишной. Медведи вместо собак подворье четы дозорили, косули бурьяшечник в огороде выкусывали, а зайцы приходили в перинах супружских ойкаться.

В близине избы речулька журкала, а подале — озеро Лад. Травы в том месте такие пахли веяли, что зайдет из-за далья зверун кое-гда непривыкший и, вздохнувши, наземь кряпнется.

Нельзя сказать, что там волки кролей не кушали или лисы мышей не щёлкали, но все при взаимном согласьи деялось, по всевышнему законодательству.

Выбрел как-то спросонку Круня на озеро Лад, обмакнул пятки в студенышку и от утренней зги поспился. Освежил мурло и давай на весь облесок песнопень горлопашить.

Небо вдруг над ним взъерепенилось — то железная птаховица огнеточила. Крылетальники по разлеску бросила, хорошо лешии пожарище вовремя затушили.

Брюхом же птица жар в толщу воды фиаскнулась, аж русалок на берег выбило.

И послышался Круне рявк человеческий. Укропился Протопович в озеро Лад, и из самого дна мужлан-катастрофича вынес. Человек то был бессознанный, но дышала в нем жизнь некрепкая. На руках спасальник его в избу к себе вытащил к чрезвычайному обдивлению суженой.

Положили его в горнице и прикутали одеялами. Долго хворый валял-вирулентился, но откачала его Юльвинична знахорь-ягодой волчьей тыковкой.

Как остужился басурманович — поднесли к нему рыбий суп. А он по своему себе лякает — "Сенкс да сенкс". Зато и прозвали его Сенькой.

Швякнуло Круне лесовика Юху на ковриги медовые вызвать. Юха ведь волховник, человечесью мыслью чает, небось лепетунь басурманыча на язык лесной перекласть сможет.

К ветходубу прибёг Крунюшка, пока сумеречь не настигла — и давай округ дупла топать.

Долго ли, коротко — из дупла Юхина рыль выпхнулась: "Чё те, гангрена неумная, от меня trebно? — разлозился Юха, — Я вжо храпеть выстлался, а ты все округ ёжкаешь".

— Гадал, уважаемый Юха, к вечеру вас припаржить. Шаня коврижек

с цикорием накухарила, а в печи ягодный морс спеет — нас хлебосольничать дожидается.

Лесовик языком щелкнул, да так и быть, из дупла вылез. Уховки у него волосастые, борода мохободная, вся башка муравой обтыкана, а в бровях цветунны пижонятся.

— Коль хлебов в узелок завяжешь — пойду, а склевещешь — обимжусь навечно, — запендюкался волохатый.

— Гаразд! — сподхалимничал Круня. — И хлебов наложим, и цикорию растворимого всыпем, даже ленту широкую в пояс с висюльками презентуем.

Угараздился Юха, подхватил Протопыча в локоть и чаевничать поспешился.

Встретила их Юльвинична и давай гостя обхаживать. Наелся Юха. Пузо покруглевшее гладит, припевы лесовичьи насвистывает.

— Болтают, ты Юха любую молвь расплести можешь, поскольку думки людческие за версту чуешь, — зачал разговор Круня.

— Ан что тебе, Протопович, trebно! — оживился Юха, — Видать басурмань за печой сплящую разгипнозить выдумал! Ну и лад. Накормила меня хозяйюшка, набавила. Скажу, о чем вашему Сеньке мерещится. Сам он развендчик из дальней страны, из Вашингтон-града, что за многожды земель от нас стелется. Имя ему Джон. А в нашем крае по случайке обкатас-трофился. Птаховица его металъная, по-ихнему — самолет, в наше озеро поломамшися рухнула.

Да не так все, как на первый погляд видится. Духи лесные вызнали, что обязанность на тебя в Сварге божьей возложена. Поди, Крунюшка на Святу Гору, помолись Сварогу, Яриле, Велесу и всей компании богорожденной — там и вызнаешь, что за честь на тебя поставлена.

Сказал то Юха, ленту даренную с висюльками в пояс пришил, куль с гостинцами на горб вскинул и уперся себе восвоися лешевицкие сны смотреть.

Утром Круня на Святу Гору влез и давай всей добролюбой Сварге молиться. Вышел к нему Велес в медвежьем образе и сказал: "Как оздоровет небом скинутый Джон, отведи его за многожды верст, через три леса и три реки по тропе, человекьей ступней не хоженной. Там на синей горе живет старый волхач Арун Синегорович. Отдай ему басурманыча на уче-нье". Отстихотворил то могучий Велес и как облако в воздухе истаился.

Пообвыкся в лесотах Сенька-Джон. Ужо по чаще гуляет и населенью чудному дивится.

Стал Протопович в дорогу собираться. Юльвинична пирогов напекает, кисель варит, а Круня портянки сушит да сапоги Сенькины набойками укрепляет. Пришла пора в путь выйти.

Идут Круня Протопович с Сенькой-Джоном, а на встречу им зверь-невиданка Туша-Капуша. Роги у ней завихрастые, вымя зеленое, а носопырка квадратная и брюхо позади лап волочится.

Сенька тотчас дубье с Мать Сырой Земли поднял, а животина, на то гляднув, оскалилась.

— Брось дубье — фыкнул Сеньке Протопович. — Со зверьем нужно лаской правиться. Глянь, оно за три раза тебя ширше, в десятеро сильнее, к баталиям-перегрызкам лучше тебя природицей приспособлено.

Сенька-Джон бицепс расслабил, ан дубье на всякий момент не бросил. А Круня в котомке порылся и бутыл с ореховым медом выудил.

— На тебе, зверум, гостинца от жены моей Шани Юльвинишны. Покошуй и нас матюками не поминай — приластился Протопович.

Облюнилась Туша-Капуша, язычарой малиновой по губам хлюпает и урчит удовольствием. Круня бутыл к ней поближе сдвинул, а та — хват его лапой, и вприскачку в чащобу ушаркалась.

Идут они дальше равнинами хвойными да холмами пузырями. Вот ужо к речке Рарус приблизились. Там русалы джазы хороводили. Берегны на дудочках камышовых свирелят. Девы сиськорыбые горляночкой импровизируют, а сверчкуны, кузнечики, да мошкара всякая высвистами помогают.

Увидел Сенька девок травоволосых, портки скинул и — бзыньк в воду.

Протопович еле успел заметить, а тот уже по самый торс в тине мылится и по-своему прелестниц водяных зазывает.

Глядит Круня, а Русалы музыки бросили и хохотыкая к Сеньке велят-ся. Протопович в крик: "Давай возврат, дурёх басурманичный! Барышни те рыбохвостые, то не девки, а ведьмы злючие. Спасайся, пока не всыпали!"

Не слушал его Сенька-Джон. Схомутали его русалки и на самое дно утюкали. А Протопычу делать нечего — он и следом за ними плюхнулся. В Подводье торпедно врыскался и — хват басурмана за ногу, насилу вынес.

Отдышались они, обветрились и в дорогу себе пустились.

Брели по холмам пухатым, по лесам темрятым, и так до Синей горы приблизились.

Встретили их хозяева горные — гномы великоносые — и давай всей оравой выпрашивать:

— Кто такие, ходилки незванные, и к чему в Синегорье приуськались?

— Мы посламцы Велеса Мудроведего, идем к Аруне Синегорычу, чтобы Сеньку из Вашингтон-града премудрам волховническим выучить, — слушно обтараторил Круня.

— Пушай,— согласились гномы,— но гора наша высокая, смертному проходимцу не вскарабкаться. А мы, гномы синегорые, бесплатно аренду лестницы не задарим.

— И чего, братья, вам за то потребно?

— А вот чего, — сказали гномы, — округ ландшафта нашего два лысых холма громостятся. Посерёд красотов натурочных те плешевины несуразятся. Изваяйте на тех нелепищах малогорки синявые, чтоб они как дятлашки большой горы мнились.

— Гаразд! — согласился Круня, — подавайте песку да кувалды.

Круня выбрал себе плешивину ближе к лесу. А Сенька стал ту, что к горе недалек ковыривать.

К вечеру плешивин как совсем не было.

Пришли гномы на работу смотреть, и с удивленья на зады хлопнулись. Крунина горка их натурностью поразила, будто ее сами гномы делали, и Перун молнией обточил. Будто с рождения мира эта синявка стояла, а уж потом великая сестра ее явилась.

А как хозяи работу Сеньки завидели — завихрилось в башке их гномической, аж пузы взболели от смехонины. Малогорка та была в форме куба слеплена, и пейзажу местному, как кобыле свиначий хвост.

— Некрасивую гору сделал, ученик аруновый, — сказали гномы. — В нашем деле красивь главное. Ну, на том за труды спасибо, что своим ремеслом извесёлл. За тобой, ученик Синегорыча, будет должок у нас.

И свистнули гномычи братьям, что на верхотурах горы сидели, чтобы те лестницу для гостимцев бросили.

Влезли Крунюшка с Сенькой на высину, а там замок стоит белокаменный красоты неописанной. Навстречу им волхач Аруня Синегорович вышел, и пробаюкал Круня, до пояса поклонившись:

— Давно не видел тебя, Протопович, как жизнь проживаешь, как жена миловидушка, что в вашем лесу обо всем слыхивать?

— Живем хорошо, в лесе как завсегда ладно, а Юльвинишна моя сурпризу тебе воздарить наказывала.

С теми словами порылся Протопыч в котомочке и оттуда пирог черносморodinный вытащил.

— Вот тебе дрожжеватина, Шаней моей печеная, а это Сенька-Джон, ученишник твой нынешний.

— За хавь спасибо, — сказал Синегорович, — а про Сеньку вашего я от духов горных за много лет знаю. Дам тебе, Круня, за труд от меня подарочек — фонарь-керосинь нескончаемый. В пути да в хозяйстве переспособится. Теперь ступай к дому сваму, а энтого Джона я сам уж побеспокоюсь.

Чомкнул Круня спутника во небритый щёк, да покарабкался восвояси. И остался Сенька в белокаменном замке жить. Как обвыкся в местности новоявленной, созвал его Синегорович в магический кабинет. И предстал перед ним Сенька выпамшился.

— Чтоб ты по-руську гугукать науськался и науку мою внять через слова был способен, трбно тебя в прошлую жисть сознанием окунуть. Ведь до смерти своей предыдущей ты у нас в Руссее родился.

Сказал то Аруня и видя, что Сенька его не дуже кумекает, решил сразу к делу гипнозному обспешиться. Посадил его на диванчик и вказал внимательно звуки слушать. А сам взял бубен шамановский и давай волшебную ритмь выстукивать. В кабинете заморская благовонь курилась, что монахи индейские Аруне по дружбе пересылали, по углам свечи ароматные пламенелись, а под звон бубенный Синегорович заклтую песнь горланил.

И увидел Сенька свою жисть прошлую, в которой был жрецом-чародеем славяноведическим. Менталитетом росейским так глубоко проникся, что руську мовь до конца самого понял. Разве язык его с детства к другой мове натренирован и хрящи давно говорильные затвердели. С того дня стал он блестяще по-руськи шпрехать, но с акцентом едва заметным.

В следующий урок Арун наказал Сеньке забыть все, что умрет, а что останется — из того праха выделить. Долго пыжился-думал Сенька-Джон, и через месяц назвал учителю свое заключение:

— Понял я, что в одной только природе могу быть уверен. В любом обстоятельстве ясно, что за вечером придет ночь, а за ней день. Что за осенью будет зима. А за весной — лето.

— Коловращение — то есть закон великий, — сказал, обрадовавшись, Синегорович. — И ты не задаром его приметил. А следует ему все живое: и медведь, и леший, и человек. Дни да времена года из-за кручения земли меняются. И кручением тем закон правит. Закон-царь, поставленный Вышним на космическое хозяйство. А мы, земное живьё, — существа глупые и разумные, должны то хозяйство оберегать.

Что рождается, то в свой срок и разрушится, один закон не изменится. Что стробоскопом тем жизненным управляет. Тем самым,

жисть — то лампочка, а закон — механизм, что эту лампочку моргать принуждает.

— А что ж, по-твоему, дискотека? — захихикал, расслышав промовь, Сенька.

— А дискотека — судьба, в которой по-разному каждый в одном ритме плясать должен, — без всякого смеху сказал Аруня. — Закон нужно прознать, потом на себе постигнуть, а дальше к нему приладиться, чтоб ничего в тебе супротив природы не возмущалось.

Завтра пойдешь к гномам на услужение. В том для тебя немалая польза будет, к тому же должок у них за тобой числится.

Вспомнил Сенька, как гномы над ним хикали и взбеспокоился:

— Не хочу я к тем насмешникам шаркаться, да и какая польза в том для ученья будет, ихни насыпи цементировать?

— Насыпи делать — то их задача, — заспокоил его Синегорович. — К такой работе ты не слишком уж приспособлен. Найдется у них под тебя дело. А сущности, они чистые. Не гляди, что иначе тебе в раз первой чудилось. Это ты из своей вредности гномов не скумекал, а как с любовью к ним относиться станешь, они такой же возврат и тебе оплатят. На то и есть эмоций коловращение. Каждая думь в обратку тебе денется — хорошая и плохая — все одно по башке хряпнет.

Утром гномы сами пришли за Сенькой и сразу задание перед ним поставили:

— За десяток километража есть деревни — Буряк и Калиновка. Меж ними река Маша протекает. Сто лет те деревни меж собой быются, и не может война искончиться, потому как соседи реку подразделяют. Каждый присвоить ее себе хочет. Оттого Маша вся от кровей красная. И вода у ней кровью пахнет.

— А от куда ж у них столько солдат взялось, раз целый век насмерть колошматятся? — взлобобытился Сенька.

— В том и дело, что их два осталось, а победить друг дружку не могут.

— А вам от того какое дело? Ваша работа — камни да горы строить.

— Один рукав Маши за Синей горой течет. Если военство поганое не окончится, то всем нам от той заразы капут будет. Злобя от них столько по воздуху сеется, что уже звери лесные грызться друг с другом начали, — сказали гномы и поежились неприятно.

— И на что ваш ужастик личности моей сдался? — проехидничал Сенька-Джон, неприятность подозревая.

— Ты человек, — отозвались гномы, — и все человеческое тебе понятно.

Заглубели души воимщиков, глаза пеленой задвинулись — духов лесных и нас, гномов, видеть уже не умеют. Сходи ты к ним и опробуй уразуметь непотребства свои бросить. Пусть цветут их деревни добром и красотами прежними.

— Да вы что? — всполошился Сенька, — Если то целый век гномятине не под силу, могу ли я — людина-обыкновенщик ту завихрень выпутать? Тем боле я раньше и сам развендчик был.

— Вот то и оно, — подскочили гномы, — ярость ихняя тебе распонятна и сердце что-нибудь да подшепчет.

Делать нечего, пошел Сенька-Джон в замок белокаменный, где у него резиденция спальная измещалась, и стал в дорогу збираться.

Арун вещами его полезными обзавел: "Вот тебе, Сенька, куль с грибами сушеными. Как востребует помощь бескомпромиссная — съешь, — и прибудет к тебе дух удружливый. Вот словарь волшебный энциклопедный: каждый вопрос в нем ответами отражается. А вот и слово мое путеводное: иди и во всем по велению сердца действуй.

И отправился Сенька-Джон по лесным пешкострадам топать. Идет-бредет, а навстречу ему избушка на птичьих лапах шествует. Встал Сенька, будто в Мать Сыру Землю вкопанный, и она рядом остановилась. Присел на муравку, открыл словарь ветхомудрый да на букву "и" сообщень выучил: "Избушка на курьих ногах — то жилище Ягини. Она же Буря-Яга, Ясуня Святогоровна, Ася Звездинка, Золотая Мать Дива Дыевна, Домна и богиня Сида — в разных перерождениях. Некогда в пышной младости была она девицей красавицей — царевной-лебедь Азовушкой. Имелся у ней супруг возлюбленный — бог великомудрый Велес. А как отправили черные боги Вий да Дый мужона в царство посмертное — скурвилась с горя, и прозвали ее Бурей-Ягою Золотой Ногою за вредность, в страданиях приобретенную".

Зажалел Сенька Ягину и решил хорош для нее сделать. Вскочился в избу, а там грязынь-паутинь воняется. Обмел полы, пыль вытер, затопил печь и обед сделал из запасов, в той избе найденных. Картошки фри сжарил, чисбургеры творожные сляпал, а в конце пепси-колы накипятчил. Тут стемнело синее небо и дубравы переклонились. В огненной ступе Яга влетела и, приняв хавшись, завопила:

— Кто здесь духом человеческим воздух испортит?

— Прошу к столу, бабушка, меню макдональдсовое отведать — завежливелся Сенька.

— Ишь ты, обдивилась Ягиня. Кто ты таков будешь, и зачем пыль вековую за порог выбросил?

— Я Сенька-Джон из Вашингтон-града, ученик Аруна Синегорыча. Иду речку Машу спасать, гномами посланный. А тебе схотелось приятность доставить, небось устала с дороги, Ягушка?

— Да ну тебя! Коль невкусным обед покажется, я тебя вместо него съем, а пондравится, опосля и поговорим.

Испугался Джон, а вдруг Ягиня картошку фри не любит? Но упомянул наставы Синегорыча, что во вращении обратно бахнется, и стал хорошие мысли думать. Нажевалась Яга стряпни Сенькиной, запила пепси-колой, отрыгнула кислотным привкусом и сказала: "Не буду тебя сегодня есть. Разжижил ты сердце старушечье, помогу тебе, так и быть. Речку Машу твою любовь выпасет. Любовь, она всякой бурдни превыше. За двенадцать отсель верст особняк средь поляны высится. В нем бывут две сиротки-красавицы и тоскуют по душам сродственным. Пошкреби ты к ним, да скажи, как есть. Эти воины неумные женихами для них по звездам предназначены. Как завидятся, сразу же и замуруются с первовзглядья. Тут и придет конец вражде смертоопасной".

Услышал то Сенька-Джон и вон из избушки шмыгнулся.

— А ну постой! — вскричала Ягиня. — Рецепт-то обеда оставь, я с роду такой экзотик не кушала.

Сказал Сенька рецепт, да только его и видели. Пришел к поляне, где стоял особняк девический, и аккуратно в ворота стукнул. Открыли ему близняшки с прическами кучерявыми, всякому человеку рады. Согрели гостя чайком брусничным, ан за ним идти не сподобились: "Не пойдем с тобой, странник Сенька-Джон, вдруг женихи нам твои не пондравятся, а то еще с горячки головы поотрубят. Ложись спать, назавтра куда тебе надо двинешь, а мы дома себе останемся". Лежит Сенька на кровати дубовой, на перине пуховой и думает, как незадачество разрешить. И тут про грибы волховницкие вспомнил. Прожевал горстку и стал невесть чего ждать. Заблестела тут комната светом неоновым, и пришел к нему Микки-Маус. Сенька аж передрог с не привычки. Ностальгия проклятая сердце его узанозила, ведь с дитинства мыша того в телевизоре видел и портреты его на шкафчик клеил.

"Домой вернуться — расплунутая проблема, — услышал его мышления Микки, — проси у Аруни учебу продолжить в Мексике.

А девкам твоим несговорчивым я во сне женихажичей покажу, они перед тебя в дорогу бежать станут". И стёрся из глаз Микки снотворное чудо делать.

Наутро сестрицы Сеньку в дорожных одеждах ждали. Нагрузили его

чемоданами с барахлятиной и, как сказал Микки, поперед него вырвались. Шли они лесами мохатыми, долами волохатыми, и явились на место бранное. Завидели драчуны-военники близняшек, звездами им назначенных, да и разомлели. Вamuрились по самые пятки и враз про вражду многовременную забыли. Съединились души влюбленных на небесах, а на земле все одразу и переладилось. Речулька Маша сразу очистилась, аж по берегу ландыш заколосился. А младожены стали себе жить-поживать, детей делать, да в гости друг к другу хаживать.

Расцвели, раскраснелись Буряк и Калиновка, еще закраше, чем в старине, сделались. А Сенька-Джон к синегорью себе вернулся. Встретили гномы его с ликованием и давай, хохотыкая, балагурить:

— Благо тебе и слава, Сенька-Джон, ученик аруновый. Справился ты с заданием, победил ненавищество человешь междуполой любовью.

— А где награда, которой вы опосля победы грозились? — взвехидствовал Сенька.

— А наградой тебе опыт в борьбе той достигнутый будет. Не пропадешь ты с таким богатством. Кто злопли добром одолеть скумекал, на всегда природный закон прочувствовал. А раз жить по закону тому станет, не страшны ему никакие штуки.

До верхотуры гномы его забесплатно подняли. Встретил Сеньку Арун Синегорович и созвал в магический кабинет.

— Хороший ты аттестат в моем колендже за первый семестр сделал, а станешь ли во второй ходить — за тобой выбор. У каждой твари своёйное признание, и мешать тому — грех тяжкий. Настало тебе сердце выслушать, и по той трассе отправиться, что оно тебе скажет.

— Я домой хочу — взвякнул Сенька-Джон, благодарствую за науку и за питание, но скучается по Америке. В Мексике индейцы, такие, как ты, есть, Дон-Хуанами их у нас кличут. Я учебу от них продолжу.

— Ну и лад, — присогласился Синегорович. — Я про тебя по астральной почте в Мексику отпишу. Закон Прави для всякой страны единый.

Приехал домой Сенька. Родичи его, как с того света встретили, ведь в газетах его без вести погибшим знали. В Пентагон он ходить не стал, хай себе умершим в списках числится. Ведь и вправду развендчик John Import помер, а вместо его явился в душе его Сенька-писатель и религиозевед. В Мексике Джон ученье свое закончил, а как на каникулы домой ехал, с красулей Трейси перезнакомился. То любовь была с первовзглядья. И стали они жизнь проживать и в Руссею по отпускам наведываться.

Эвридика

- Что ты все пишешь?
- Не подходи, пожалуйста.
- Что это?
- Любовное письмо.
- Надеюсь, мне.
- Нет, не тебе.
- Кому же, Сашка?
- Эвридике.
- Эвридике — значит, мне.

Лена, я хочу рассказать тебе эту историю. Она до того ужасна, что не верится, будто она произошла с нами. Ты помнишь Свиридовых? Кстати, ты их не можешь не помнить, ведь с Колькой у тебя еще в школе был роман, а его жена Таня — такая же ученица Паниной, как и ты. Так вот: Таня умерла прошлой ночью.

Не стал бы тебе это рассказывать, не будь Таня моей Эвридикой. Ты была и остаешься моей Эвридикой в жизни, ты была моей первой Эвридикой на сцене, а Таня — предпоследняя, кажется, десятая Эвридика. За пятнадцать лет после твоей смерти я поставил наш балет в разных странах, и везде, как пишут, "он прошел с успехом".

Сижу у окна, слушаю летний, теплый дождь, и чтобы не сойти с ума, говорю с тобой. Именно сейчас мне надо верить до конца, что люблю тебя. Болтался б по городу еще, но Наташа пришла со спектакля, да и я промок до нитки. Тебя больше под дождем, чем в этой комнате, но и здесь ты рядом.

Таня — жена друга Кольки, того самого, к которому ты когда-то была равнодушна. Она очень много говорила, что любит меня, и я, возможно, поверил, хоть и не признаюсь тебе в этом. Конечно, Леночка, я говорил, что люблю ее, но я произносил это вслед за ней, моей Эвридикой. Сколько ни было балетуний, танцующих мою Эвридику, я всех их немножко соблазнял — и почему-то только сейчас, накануне твоего дня рождения, вижу это с обескураживающей ясностью. Я всегда говорю о любви, потому что это часть работы, я люблю по работе. А вернее сказать, из острого желания самому приблизиться к образу и помочь в этом нелегком деле исполнительнице. Так ловлю твои отражения, так создаю тебя, мою единственную возлюбленную, так храню нашу любовь.

Тут ни капли непристойности, честное слово! Непристойно только то, что исполнительница после репетиции со мной приезжает домой и умирает во сне, я надеюсь, в объятиях мужа. Согласись, в этом кошмаре есть что-то художественное и уж до конца наше. Танечка хотела простого, женского счастья, а я хотел работы, хочу женственной, огромной, сияющей красоты. Это я нашел в тебе и не отдам никому.

Как много тебя в этой ночи! Я знаю, ты есть, ты не сгорела заживо в новеньком авто, купленном на гастрольные деньги. Ты помнишь нашу любовь. Она бессмертна. Ты рядом со мной. Со всеми твоими изменами, с твоим странным желанием любить меня только немножко; чтобы любовь не помешала работе, чтобы больше любить на сцене. Ты долго любила твоих партнеров, этот взвод Орфеев, и вдруг за год до нелепой смерти решила, что любишь меня. Ты влюбилась в меня, когда изверилась в Орфеях! Ты захотела меня любить — и вдруг умерла с этим желанием любви.

Хватит об этом. Лучше расскажу, как все было с Таней.

— Может, мы поговорим?

— Нет, я должен поработать. Я тебе не рассказывал? Я прописываю все человеческие отношения балета на бумаге. Чтобы их лучше понять.

— Так у тебя еще и литературные способности? Уж не Орфей ли ты, Сашка? Стихи не пишешь?

— Да что ты, Наташечка, что ты!

Позавчера она позвонила очень рано.

— Сашка, ты не спишь?

— Семь утра! Сплю, конечно. Что ты звонишь? Коля прилетел?

— Я люблю тебя.

— И я люблю тебя, Танечка, и я. Он звонил тебе из Японии?

— Да ну его! Муж обьелся груш. Я только что проснулась с чувством, будто мне пятьдесят. Представляешь? Я уже старенькая, а все живу, и за чем живу, не знаю.

— Ты мен вчера напугала.

— Я?!

— Да. Я заметил в твоей сумке шприц.

— Извини, забыла спрятать.

— Ты не наркоманка, а?

Видимо, в театре все знали об этой ее слабости, иначе, чем объяснить, что ее утверждение на роль Эвридики прошло так трудно? Теперь, когда мы репетировали два месяца, я и сам стал замечать в ней странности. Однажды месяц назад мне пришлось прервать репетицию; ей стало плохо.

Она попросила ее поцеловать и оставить одну. Когда я вернулся, она была в форме.

— Я-то?

— Ты-то, Танечка, ты-то!

— Зачем тебе это знать? Я же тебя не спрашиваю, почему ты соблазняешь меня на каждой репетиции. Раз мы работаем вместе, мы больше, чем родственники. Ты терпишь мои слабости, я твои. Я тебе позвонила, потому что знаю: ты не спишь. Ты не спишь, потому что ты любишь меня.

— Люблю?

— Да. Вчера ты опять сказал это, а я поверила.

— Давай спокойней. Пожалуйста. Мне на самом деле хорошо с тобой. Особенно хорошо, если идет репетиция. Когда у тебя получается, я люблю тебя. А у тебя уже хорошо получается. Ты выдаешь отдельные красивые куски, а целого пока нет. Ты как, в форме сегодня?

— Ты почему никогда по телефону не говоришь о любви? Мне обидно.

— Я не умею.

— А ты считай эти разговоры частью репетиции — и у тебя получится. Слушай, Сашка, очень тебя прошу: дай в долг пару сотен.

— Муж прилетит и даст.

— Муж — жмот. Предпочитаю занять у любовника.

— Любовником жены моего друга я быть не хочу, и ты это знаешь. Кроме того, Татьяна Васильевна, я был за свой счет на фестивале в Канаде и поиздержался.

— Фестивали был в мае, а сейчас пятнадцатое июля. Сашка, не жмотничай. Я на самом деле немножко колюсь, но это никому и ничему не мешает. Твоей жене это очень даже шло.

— То ты все пинала своего мужа, а вот очередь дошла и до моей жены.

— Между прочим, она умерла от передозировки.

— Она?! Ты совсем с катушек слетела. Ты говоришь ужасные вещи за день до ее дня рождения!

— Сколько б ей стукнуло?

— Пятьдесят.

— Какое совпадение, Сашик! И мне будто пятьдесят. Вчера закатилась на чей-то день рожденья; кого-то из девчонок. И сегодня с мужем приглашена к тете на день рожденья!

— Что с тобой вчера случилось? Грохнулась посреди зала. Таня, мне ведь страшно за тебя. Как я могу верить в исполнительницу, если с ней такое случается? А если ты рухнешь перед зрительным залом?

— Прости меня, Сашик.

— Хорошо, забудем. Ты и обычно после первых двух часов репетиций как мертвая, а передохнешь с часок, и тебя опять гонять можно. Значит, вчера я опять говорил о любви? Очень интересно. Что же? Мне самому любопытно.

— Много чего. Ты прав; эти укольчики до добра не доведут. Они воодушевляют, но я сама не знаю, как долго можно на этом ехать. Мне что-то страшно. Вот и звоню тебе. Уж сегодня ты меня, как обычно, в хвост и в гриву не гоняй.

— Хорошо. Появится Коля — попроси его в двенадцать прийти в "наш" ресторан. Он знает, где это. Он в курсе твоей болезни?

— Я это не считаю болезнью. Наоборот! Я б не выдержала нагрузок без этого.

— Согласен, как в спорте. Ты что, всегда наркотилась?

— С тех пор, как попала в этот чертов театр. Саша, скажи мне, что любишь. Я поверю. Ты ведь говорил это вчера.

— Театр тебе дал все! Ты не боишься вылететь из профессии? Что ты будешь вне сцены?

— Я вылечу из жизни. Не только из профессии.

— Я люблю тебя, но балет должен выйти вовремя.

Вот такие, Леночка, тары-бары-растабары. Я не описываю всех низостей этих самых "творческих" отношений. Ты сама видишь, куда заводят репетиции, когда кто-то не хочет репетировать. Для меня творческий процесс, то, что я делаю на репетиции, — главное, ибо создаю тебя. Проработать весь день — наслаждение, и если кто-то этой радости не разделяет, то тут и начинаются шуры-муры. Она меня любит, но я-то раздавлен этой нетворческой любовью. Она Эвридика, да я-то не Орфей. Да что все эти балетные твари, все эти сумрачные, порывистые, остросеребряные бабы рядом с тобой, Леночка! Елена Павловна Пинская.

Вот они, издержки профессии. Меня осаждают живые Эвридики. Я их создаю на сцене, а они запросто выходят в жизнь — и для чего?! Чтобы любить меня. Чтобы создавать из меня Орфея. А про ребрышки я серьезно: на старых фото легко разглядеть, что до тридцатых годов на сценах властвовали упитанные особы, а спортивная порода победила позже. Вот оно, знамение времени: натиск худышек.

— Наташа, ты мне даже не рассказала, как прошло сегодня? Как оттанцевала?

— Ничего. Ну что? Уже час ночи. Уже прихожу в себя. Ты сегодня в миноре, да? Думаешь о похоронах?

— Да.

— Ты можешь мне показать, что ты там написал?

— Не сейчас. Пока что это исповедь. Слишком горячо! Завтра эта лавина остынет, просто литературой станет, просто литературой, послезавтра — просто болтовней. Тогда и прочтешь.

— А сейчас?

— А сейчас это работа. И это — больно.

— Я вижу! Ты даже осунулся. Брось ты эту писанину, полежи со мной.

— Не сейчас, Наташа. Боль отпустит — и приду.

Что же дальше? Дальше появился муж Колька. Что произошло между ними? Давай подумаем, Лена. Вот он приезжает. У Свиридовых, если ты помнишь, три замка. Колька-то всегда рвался в богатенькие, но его жена все чаще впадала в депрессии — и от мечты о достойной жизни только и осталось, что эта обшарпанная, слишком плотно запертая дверь. Он вошел как-то боком, будто и не к себе домой, и неуверенно крикнул:

— Танька, привет! Где ты?

— Что застрял в коридоре? Проходи. Лежу. Так устала вчера, что лень хвостом пошевелить. Как гастроли? Как японки? Выглядишь хорошо.

— Зато на тебе лица нет! — ахнул он.

Он быстро сбросил легкий плащ и, почему-то злясь, расхаживал по комнате. Наконец ловким движением раздвинул книги на стеллаже и достал шприц:

— Опять за старое, да?

Он спросил сухо и иронично: именно такой тон с некоторых пор установился в их отношениях. Заглянул в холодильник.

— Приготовила б пельмени ради мужа. Выпьем за встречу?

— Буду я возиться. Лопай макароны. На пельмени тебя Пинский приглашает. В полдень в "ваш" ресторан.

— Саша звонил? Это хорошо.

— Я заняла у Сергеева триста рублей.

— С ума сошла! Я тебе на две недели тыщу оставлял. Все прожрала, что ли? Опять колешься, идиотка.

— Хватит на меня орать.

— Ты что, не понимаешь, что Сергеев против меня? Худсовет или еще что, он мне прямо высказывает все, что обо мне думает. Ты ведь знала это.

— Если будешь меня очень критиковать, не смогу репетировать, — сухо ответила Таня.

— Ты забыла, дура, с каким трудом я протаскивал тебя на эту роль! До пенсии не дотянешь. О чем ты думаешь?

— О вечности и смерти, — совершенно серьезно сказала она.

— Загибаться собралась? Тебе нет еще и тридцати. А вообще, мысли неплохие. Это тебя Сашка накручивает? Я не могу тебя спасти бесконечно. Неужели так трудно это понять, глупая баба? Я ведь не господь бог.

Уверен, Лена, разговор был вроде этого. Выписал только то, что вижу точно, что легко танцуется; балет именно об этом. Коля боится за нее, зная ее слабость; Таня понимает, что приближается что-то ужасное, но ее слабость уже сильнее ее. Помню, и в нашей семье на наших глазах рос такой же ужас, смягчаемый разве моей любовью. Теперь начинаю понимать произошедшее с нами.

— Я тебе завтра все объясню. У меня уже идеи в ногах, но сейчас просто нет сил показать.

— Хорошо. Ты, никак, варил супы из пакета?

— Да.

— В ковшичке?

— Да.

— Признавайся, кто тебе его подарил.

— Да никто. Я купил его еще десять лет назад, в том самом промтоварном магазине, где теперь наш ресторан.

— Ваш?

— Да. Я и Колька много лет сидим там подолгу. Он тихий и недорогой.

Еще на входе в ресторан он старательно улыбался сквозь стекло двери. Я тоже со страхом чувствовал, что теряю друга, что мы уже предали нашу двадцатилетнюю дружбу.

— Садись. Как все прошло?

— Хорошо. В двухтысячном будешь ставить свою "Эвридику" в Японии. Здорово, да?

— Спасибо. Это будет моя первая азиатская Эвридика. Кто будет танцевать?

— Я забыл ее имя. Накимура, кажется. Я привез пленки с ее балетами, посмотришь. Так что радуйся, Сашка. Как у тебя репетиции? В сентябре эту Эвридику придется сдавать худсовету.

Я решил спросить прямо:

— Ты, конечно, не знал, что твоя жена колется?

— Сашка, зачем ты? — он явно обиделся. — Так прямо!

— Я боюсь, мы не выпустим балет вовремя. Ей вчера стало плохо. Прямо на репетиции.

— Эти срывы у нее постоянно много лет. Она и колется, чтобы их

сгладить. Представь мое положение: я открыл это уже после свадьбы, после Танькиных неудачных родов. За ней надо присматривать, как за ребенком. Оставил ее на три недели — и опять все заново. Не отказываться же от гастролей! Переговоры о твоей японской Эвридике я проводил в одиночку на свой страх и риск.

— Спасибо. Но что касается Таньки, я в шоке.

— Будь терпимей, Саша. Твою Елену Павловну тоже вытягивали из таких провалов.

— Я обижусь. Что за фантазии!

— Какие там фантазии! Она приходила колотиться ко мне в администраторскую, а то б и до премьеры не дотянула. Не удивляйся! Я и Лена всегда дружили. Сейчас репетируй Эвридику и с Симоновой.

— С Наташей Симоновой?

— Да, с ней. Я уже договорился с ней на гастролях. Дублерша не помешает.

— Неужели я так мало знаю женщин?! У тебя был роман с Леной?

— Да. Еще в училище. В хореографическом я был ее постоянным партнером. Вот что! Раз у Елены Павловны юбилей, я предлагаю осенью провести вечер ее памяти.

— Она на самом деле была наркоманкой?

— Да, Сашечка, да! Я поморщился: как не к месту была эта фамильярность!

— Ты был всегда слишком строг с дамами. Понятно: ты ведь ходил в звездах!

— Это каких еще "звездах"? — рассердился я.

— В восходящих. Ну, то, что звезда все же не взошла — это другое дело. Но у тебя не было этой прозы: боли в ногах, уколов, перегрузок.

— Коля, у всех своя проза. Ее еще никто не избежал. И у тебя, и у наших жен, и у меня. Но я всегда считал нас четверых друзьями. Поэтому мне неприятна эта болтовня о жене. И особенно после ее смерти.

— Вот и поговори с тобой!

— Колька, ты мне скажешь, что было на самом деле?

— Сказать или нет?

— Сказать.

— Твоя жена умерла от передозировки.

— Я не верю.

— Не хочешь, не верь. Мы договорились об ее юбилейном вечере? Это важно и для тебя, ведь в театре уверены, вы ладили плохо, и ты — даже отчасти причина ее смерти.

— Сволочи! Что вам еще взбретет в башку?

— Сашик, не будем об этом, раз это тебе неприятно. Идет официант. Что возьмешь? Я пельмени.

— Две пельменей, — бросил я официанту и снова пустился допытываться о тебе: — Значит, Леночка многим нравилась?

— Да. В отличие от тебя. Ну что? Вечер Елены Павловны Пинской. Сделаем большое, на весь задник фото. У твоей жены особенное, тонкое и строгое лицо. Она понравится всем.

— Это мое право, Коля, говорить о ней, как о живой. У тебя такого права нет.

— Почему ты меня лишаешь столь многого? И я праздную ее пятьдесят лет, она и для меня навсегда останется Эвридикой. И не обижайся! Ты должен согласиться, что не понимаешь женщин. Но ты талантлив, Сашка! Я тебе говорю: ты с головой! Это удивительно, как ты сумел выйти из ее тени, сделать себе имя в новой, уже всемирной толпе. В тебе столько достоинств! Только великодушия маловато.

— Великодушия? — растерянно переспросил я. Мы уже ели пельмени, а я живо себе представил, как ты и Колька в пятнадцать лет целуетесь на лестнице.

— Так Лена умерла от передозировки?

— Кончай это самоедство, Сашка! Живи будущим, а не прошлым. Я тебе, дураку, еще подарок заготовил: будешь "Жизель" ставить. Сразу после этой Эвридики.

— Да ты что! — я вмиг расцвел. — Коленька, что ж ты сразу-то не сказал? Кто это решил? Я давно хотел поставить не свое, личное, а что-то классическое, по-настоящему известное. Сделать своим что-то чужое, расхожее — да я мечтаю об этом! А кто будет танцевать? Бабы передерутся.

— Жизельки будет сразу три: моя Танька, Степанова и Симонова. Ты что, очень боишься за мою жену?

— А как ты думаешь! Ей не потянуть и Эвридику, и Жизель.

— Да нет же, Сашка! Если у нее Эвридика не идет, давай снимем ее потихоньку — и готовь с ней Жизельку.

— Кто справится с такой работой до осени?!

— Наташка.

— Голова кружится!

— Вот-вот. Наконец-то, от женщин и у тебя голова закружилась.

— От работы она кружится больше.

— Ишь как. А будь ты на моем месте, чтоб случилось с твоей головенкой?

— Куда мне! У тебя голова исполнительного директора. Это, знаешь ли, высший пилотаж.

— Вот именно. Мы не Мариинка, но и мы на плаву. Думаешь, это так легко: частный балет в России? Кто тебя раскручивает, а? — грозно спросил он.

— Ты, Коленька, ты!

— Везде твои Эвридики: в Бельгии один спектакль, во Франции два, в Испании пять.

— В Германии два.

— Вот! Везде наследил. Ты наша звезда и знай вкалывай.

Мы еще долго говорили, но страх за Таню заглушал все чувства. Похоже, более мы не слышали друг друга. Возможно, не услышим никогда.

— Так кто я тебе: Эвридика или Жизель?

— Пока не знаю, — рассмеялся я. — До премьеры "Эвридики" — Эвридика, а там посмотрим. На самом деле, я не только люблю мой балет "Эвридика", но я и устал от него. Надоедает понимать себя в том, что сам же и создаешь. В объятиях Жизели отдохну от страсти Эвридики. Не передать, как хорошо, что Жизель будешь танцевать именно ты.

— Почему, Саша?

— Догадайся.

— Не могу.

— Обними — и догадаешься.

— Вот.

— Я люблю тебя.

Что же произошло в последующие три часа? Думаю, у них была ужасная сцена по поводу денег. Меня совершенно раздерегла репетиция с кордебалетом. Я ничего не имею против этих пяти женщин, попавших под горячую руку, — и все же я гонял их немилосердно. Я вас, клячи! В детстве видел, как мой дедушка сзади охаживал мою бабушку вожжами — и вся репетиция прошла в духе этой подсмотренной сцены. Для себя еще раз решил, что с этим бабьем надо держаться поосторожнее.

Сижу себе в кабинете — и вдруг заявляется Танька в самом тигристом состоянии. Не в четыре, как надо, а в пять и без стука.

— Вставай, дуралей, — командует она. — Прошвырнемся по Питеру. Пойдешь со мною в зоомагазин.

— По-твоему, это смешно. Ты опоздала на репетицию.

— Зачем ты все обсуждаешь с моим мужем, скотина? Он довел меня до визга. Я не могу работать. Вот и хочу купить змею. Одна, мой муж,

у меня уже есть. Куплю еще одну. Кроме шуток, у моей канадской приятельницы удав Петя — Питер — живет прямо дома — и муж ее за это уважает. Ты идешь?

— Пойдем. Я тоже не в духе, — сдался я.

— Почему ты репетируешь с таким напряжением? — спросил я уже на улице. — Надо все делать плавно во всем, что касается призвания. Дыхания должно хватить на всю жизнь. Тебе жить — сто лет. Разве не так? А вообще, — мои нотации мне уже поднадоели, — я благодарен тебе за эту прогулку. Мы идем по нашему красивому городу, а Лена вместе с нами.

— Ты все о ней! Мне надо умереть, чтоб тебе понравиться! Так я умру! Сколько можно служить этому призраку, этой странной нимфе? Ты взял за правило сначала убивать женщин, а потом их любить. За что ты любишь Лену? Ведь ты сам ее и убил.

— Фу, дура. Хватит мрачных фантазий, Танька: мы ведь работаем вместе. Знаешь, о чем наш балет?

— Обо мне, — наивно провозгласила она.

— Что ты! — испугался я. — Балет о красоте. Вот он, твой зоомагазин. Зайдешь?

— Идем вместе. Балет о моей красоте.

— О твоей, о твоей, — поддакнул я. — О Красоте. О силе женской красоты.

— Ты не можешь этого понимать; ты никогда не любил. Эвридика — единственная, и она — это я. Смотри, — мы уже обошли магазин, — достойного зверя нет. Мне надо такого, чтоб защищал от мужа.

— От мужа и от себя самой, — поправил я. — Хорошо! Тогда почему не танцуешь этой единственности? Почему ты оставляешь ее в жизни? Тебя соблазняет роль Эвридики в жизни, а ты перенес этот соблазн на сцену. Колька дал тебе денег?

— Да! Жди! Этот жмот!..

— Ты любишь свои мечты, — я все продолжал подготовку к близкой репетиции, — а ты люби свою работу. Слушай, я устал. Пойдем в театр. Лучше б ты пришла на репетицию с кордебалетом. Я добивался от них глубины перспективы: по моей идее, они застывают, оттеняя величие твоей смерти. Смерти на сцене! После такой смерти так хочется жить.

— Не скажи. Умирать мне интересно не только на сцене, но еще больше хочется того, что люблю; я люблю этот город — и иду по нему, я люблю тебя — и я в твоих руках. А мужа и не люблю, и не хочу видеть. Устала и от него, и от репетиций. Сашка, если ты хоть немного меня любишь,

дай денег. Мне надо дозу; это всего сто рублей. Ты хочешь, чтоб я умерла прямо здесь?

— Ты дружила с Таней?

— Как-то вместе были в кафешке.

— Она мне выдала фразу, от которой я так и не могу опомниться: "Ты сначала убиваешь женщин, а потом их любишь".

— Спьяну она еще и не то могла сказать. Лет пять назад она мне всерьез говорила, что ты гомик. Не бери в голову. Ты сам подпустил ее слишком близко!

— Все верно, но я чувствую себя виновным.

— Глупо, Сашка! Ты выжал из нее все, что можно, и даже куда больше. Да что она без тебя? Она танцевала в трех твоих балетах. Пусть, если не дура, молится на тебя, как на бога. Я б на ее месте вылечилась и не дурила голову своим благодетелям.

— Ну, ты сурова! Тебе двадцать, ей тридцать. Всего десять лет, а вы из разных эпох, из разных цивилизаций.

— Она не любила искусство, если себя не берегла.

Прошло три недели с похорон Тани Свиридовой, я потихоньку остываю — и опять могу говорить с тобой о страшном. Вернее, о главном. Горячее лето уходит, и первый осенний холод обнимает меня нежно-нежно. Как ты, Леночка. Наконец-то пошли затяжные дожди, а в них я совершенно нахожу себя. Помнишь Наташу Симонову? Вовсю репетирую с ней. Она с первой репетиции вошла в строгие линии будущего спектакля, так что мой страх за премьеру прошел.

Кто, ты думаешь, помог мне понять происшедшее? Именно она. Оказывается, Наташа видела сцену между Свиридовыми, случившуюся до моего похода с Таней в зоомагазин. Там было объяснение по-крупному; теперь припоминаю, у Тани светился фонарь под глазом. Видно, Колька решил, у нас роман. И верно! Мы несколько раз согрешили, но, так сказать, в рабочем порядке. Тут до романа еще ой-е-ее сколько, но моего бывшего друга подхлестнули ее слова:

— Я не люблю тебя. Не люблю, не люблю, не люблю.

— Дура! Ты знаешь, сколько у этого Пинского, — этак-то обо мне! — любовей было?

Они играли в разные игры: Таня — в семейную жизнь, а Колька — в любовь. Он не знал, что играет; он верил, что любит на самом деле. Верил, потому что очень хотел верить. Таня глупо, с размаха, отбросила все правила — и верить стало не во что. Вот он фонарь ей и поставил. Не как

мой друг, не как администратор средней руки, а просто как муж. Вернее, как мужик. Наташа своим желанием работать пролила свет на все эти бурные страсти. Мы вкалывали — и вдруг я увидел Таню в зеркалах. Эти целые плоскости тренировочных зеркал обычно корректны до злости. Она умерла от моего, так и не примирилась с тем, что любил ее только на репетиции, в твоём образе.

— Ты видел Колю? — спросила Наташа в перерыве. Она так хорошо работала, так чудесно преображалась, что я осторожно ее поцеловал. Не этот ли поцелуй помог нам разоткровенничаться?

— Он запил ужасно. Две недели не появлялся в театре. Сходи к нему, Сашка.

— Не могу. Он винит меня в смерти жены.

— С чего ты взял?

— Я это чувствую.

— Это тебя Танька так накрутила. Я ее знаю!

— Что ты знаешь?

— Что на репетиции приходила надушенная. Что соблазняла вас, Александр Николаевич. Она не любила вкалывать. Это же все знают. Отдаётся, конечно, проще, чем репетировать.

— Да, — серьезно согласился я. — Она на самом деле боялась выглядеть труженицей. Для меня нормально, что в балете полно женщин, но еще больше творческих кляч. Она не хотела быть клячей!

— Будто кто-то хочет! Я вот не боюсь работы.

— Тебе не страшно не понравиться?

— Нисколько. Сейчас и самая красивая женщина должна убеждать еще чем-то помимо красоты. Теперь красота кажется только уловкой технических возможностей: грохнула на свою морду косметики на сотню долларов — вот и красива.

— Уже и женщины так думают! Наташка, это правильно, но грубо.

— Не выдумывай. Я хочу сказать другое. Таня искала в тебе не любовь, а равновесие. И не нашла. Тут нет твоей вины. Так что, тебя если что и мучает, так только твои собственные комплексы. Я б не стала тебе это доказывать, если б не любила тебя. Ее убило время, а не ты. Я и Кольке это доказываю. Ее выперли из Мариинки, а тут она не нашла, за кого зацепиться.

— А ты? Если ты понимала все это, ты не пробовала ее спасти?

— Саша, а кто спасет меня? Моя жизнь что — рай? рай без конца? И потом, я не сближаюсь со столь эксцентричными особами.

— В чем ее эксцентричность, по-твоему?

— Она путала жизнь и работу.

— А с тобой этого не случилось?

— Я слишком ценю работу, чтобы путать ее с жизнью.

Прошло еще полгода. Работа с Наташей Симоновой кончилась, и она стала меня избегать, все ж она зашла в марте, но так неожиданно, что я задохнулся от радости.

— Привет, Сашик. Шла мимо, дай, думаю, зайду.

— Заходи. Я люблю такие порывы, ты знаешь. Мы можем поужинать. Я сварил голову осетрины.

— Что мне голову! Ты мне самой осетрины давай! — шутливо прикрикнула она.

— Я готовлю суп из головы, а саму осетрину ем только по праздникам.

Спасибо, что зашла.

— Ужин с Эвридикой. Так ведь?

— Да. Ты пару раз еще станцуешь ее летом: едем в Италию.

— Коля мне уже говорил. Он много мне рассказывает о Лене.

— Он учился в одном классе с моей женой.

— Не только он. Панину помнишь? Она ведь учила всех нас.

— Светлану Викторовну я хорошо знаю. На днях она придет ко мне в гости.

— Даже так?

— Да. Мне скоро работать в Японии.

— Ты и эту японку соблазнишь, как меня, как всех твоих Эвридик?

Неужели ты забыл меня, Саша? Отработали вместе — и забыл?

— Нет.

— Почему не звонишь?

— Орфеи не звонят, — пошутил я.

— А серьезно?

— Я тебя помню и люблю, Наташа. Я не оставляю Эвридик. Кого угодно, но не Эвридик. Никогда не поверю, что Лена и Таня умерли. Никогда!

— Отстань. Дай поужинать.

— Немножко. Совсем немножко. Мне нравится тебя целовать. Я ведь Орфей: тот, кто живет в других, кто вдыхает в них жизнь.

— Ты уже какой раз раздеваешь меня за ужином! Это что, твой стиль?

— Прости. Все, что я делаю, я делаю в профессии. Я вдруг чую запах пота, репетиции — и это меня возбуждает. Знаешь, когда особенно хочу?

Когда на спектакле захожу в закулисный балетный муравейник, а там кинешение потных тел. Я и сдохну на репетиции.

— Саша, я не Эвридика! Я просто Наташа и хочу пожрать. Потом займемся любовью. Что тебе загорелось?

— Отдайся — и все! — я настаивал шутя.

— То ты меня распинаял на грязном полу, то щупал в коридорах. И сейчас мы что-то репетируем. Хотя бы скажи, что.

— Вечность, Наташенька. Вечность!

— Хорошо, я поверила. Дай хотя бы раздеться. И что ты меня доводишь до репетиционного состояния? Я не хочу работать. Только не слишком быстро. Не мни платье. В детстве мама учила меня есть мороженое понемножку. Не ложками, а ложечками. Так что не торопись: у нас в запасе целая вечность.

Представь себе, Леночка, я только что со свадьбы: Наташа Симонова стала "госпожой" Свиридовой, моя последняя Эвридика вышла замуж за моего друга. Ты не представляешь, как это приятно, когда кругом одни Эвридики, твои рукотворные образы во плоти. Неужели живу в мифе?! Ишь, какой хитрый. Приятно расплакаться от этой мысли, вернее, от этой веры.

Выходит, Орфей, эта увесистая мифологема, прицеплена к моему хвосту и весело погромыхивает. Миф целиком определяет жизнь вокруг меня; он сводит и разводит с людьми, он в моих репетициях и в моей крови. Это живая бездна — и вхожу в нее, и живу в ней, и шаловливо из нее выглядываю; так приятно, что ни день, спускаться в ад за Эвридикой мне, мирному балетмейстеру.

Иной коллекционирует любовниц, а я Эвридик. После того, как ты сгорела в автомобиле, а Таня умерла во сне, я стал суеверным. Танечка и Леночка, бедные мои! Вы умерли на взлете с ясным сознанием несвершившихся надежд. Разве я хотел вашей смерти? Как бы мог хотеть такое? Я ли вам не советовал безумствовать только понемножку и только на сцене? Но все рухнуло в жизнь — и я сам едва выбрался из-под обломков.

Мои Эвридики! Вы все-таки красивы, острореберные, балетные твари, мои любимые творческие клячи. Строжусь на вас, гоняю немилосердно, а люблю. Как хорошо обживать миф, наполнять его своим дыханием, своим потом! Все мы — одна дружная семейка Орфеев и Эвридик. Пора, наконец, понять женщин: это Эвридики. Им подавай легенду, а на меньшее они не согласны. Я вам говорю: дайте мне любую балетунью — и я вытряхну из нее Эвридику!

Тебе завтра пятьдесят один, Леночка. За последний год создал тебе вдогонку пару Эвридик: одну нашу питерскую, а другую в Японии. Надо б встать, включить свет, а валяюсь на диване с мыслями о тебе. Сегодня тебя особенно много в нашей квартирке. Смотри, как хорошо я побелил потолки. Мои Эвридики танцуют этаким уютным, хорошо обставленным ад, пока не заявляется Орфей и не уводит их в мир, где повышаются цены на бензин. Понятно, что Эвридики возвращаются сюда, в теплое лоно легенды. Когда умерла Таня, чуть было не рухнул в ужас. Ей-богу, если б не мой роман с Наташей, не выкабался б.

Кто-то звонит. Да это ж Светлана Викторовна пришла в гости. Ну, хоть сейчас наболтаемся вволю.

Только не умирайте, Эвридики! Выходите замуж, рожайте, покупайте автомобили и дачи, но не умирайте. Не умирайте.



Символична ли кастрация современников?

О твоей статье не могу не заметить, что комплекс кастрации присущ скорее девятнадцатому веку, сегодня же, накануне завершения идиотической мужской цивилизации, дело обстоит с точностью до наоборот. Мужчины — явно или подсознательно — завидуют женщинам, поскольку простой, как мычание, пенис и в подметки не годится вечнотаинственной вагине, источнику всего, символу вселенной... И так далее.

Рафаэль ЛЕВЧИН

И пишущий, и читающий объединены отношением к слову **Пенис** и слову **Фаллос**. Поэтому сразу определимся в главном. Договоримся, что эти слова мы понимаем одинаково: **Пенис** это то, что есть у мальчиков и отсутствует у девочек. Это то, из чего возникает зависть у девочки, потому что она подсознательно предполагает, что ее обманули и недодали изначально. Многие девочки, не справившиеся в этой изначальной проблеме, даже, зачастую, не осознав ее как проблему и как свою собственную, — превращаются в страдающих конфликтных дам, таких много вокруг, даже не оглядывайтесь, каждая: ладно, скажу вторая, хоть так и не думаю. То есть, женщина предположительно невротик по первому пункту — отродясь.

И мальчик по этому пункту невротик, он тоже не всегда осознает проблему пениса как существующую и свою. Мальчик предполагает — у девочки этого нет, значит, отобрали. Отбирают, когда наказывают. Значит, и у меня могут — если даже у мамы, которая защищает и любит — отобрали! Мальчику — страшно.

Просто-то как, отродясь — девочка — хомо-завистливый, мальчик — хомо-страшащийся. А по-простому, женщины — стервы завидующие, а мужчины — трусы и, как следствие, предатели. И все невротики! Претензии, пожалуйста, не ко мне, я тут ни при чем, кроме как при Фрейде. Вот к этому дипломированному популярному идиоту я Вас и переадресовываю. Идиот он не по природе своей, не оскорбляйтесь за Фрейда, Идиот он с большой буквы, по Федору Михайловичу. Об этом чуть позже. А пока, вопрос к заинтересованным: мы хотим, чтобы наши дети не были неврастениками? Уже зная, что невротическое состояние — сигнал: в жизни что-то необходимо изменить. Если не изме-

Тебе завтра пятьдесят один, Леночка. За последний год создал тебе вдогонку пару Эвридик: одну нашу питерскую, а другую в Японии. Надо б встать, включить свет, а валяюсь на диване с мыслями о тебе. Сегодня тебя особенно много в нашей квартирке. Смотри, как хорошо я побелил потолки. Мои Эвридики танцуют этаким уютным, хорошо обставленным ад, пока не заявляется Орфей и не уводит их в мир, где повышаются цены на бензин. Понятно, что Эвридики возвращаются сюда, в теплое лоно легенды. Когда умерла Таня, чуть было не рухнул в ужас. Ей-богу, если б не мой роман с Наташей, не выкабался б.

Кто-то звонит. Да это ж Светлана Викторовна пришла в гости. Ну, хоть сейчас наболтаемся вволю.

Только не умирайте, Эвридики! Выходите замуж, рожайте, покупайте автомобили и дачи, но не умирайте. Не умирайте.



Символична ли кастрация современников?

О твоей статье не могу не заметить, что комплекс кастрации присущ скорее девятнадцатому веку, сегодня же, накануне завершения идиотической мужской цивилизации, дело обстоит с точностью до наоборот. Мужчины — явно или подсознательно — завидуют женщинам, поскольку простой, как мычание, пенис и в подметки не годится вечнотаинственной вагине, источнику всего, символу вселенной... И так далее.

Рафаэль ЛЕВЧИН

И пишущий, и читающий объединены отношением к слову **Пенис** и слову **Фаллос**. Поэтому сразу определимся в главном. Договоримся, что эти слова мы понимаем одинаково: **Пенис** это то, что есть у мальчиков и отсутствует у девочек. Это то, из чего возникает зависть у девочки, потому что она подсознательно предполагает, что ее обманули и недодали изначально. Многие девочки, не справившиеся в этой изначальной проблеме, даже, зачастую, не осознав ее как проблему и как свою собственную, — превращаются в страдающих конфликтных дам, таких много вокруг, даже не оглядывайтесь, каждая: ладно, скажу вторая, хоть так и не думаю. То есть, женщина предположительно невротик по первому пункту — отродясь.

И мальчик по этому пункту невротик, он тоже не всегда осознает проблему пениса как существующую и свою. Мальчик предполагает — у девочки этого нет, значит, отобрали. Отбирают, когда наказывают. Значит, и у меня могут — если даже у мамы, которая защищает и любит — отобрали! Мальчику — страшно.

Просто-то как, отродясь — девочка — хомо-завистливый, мальчик — хомо-страшащийся. А по-простому, женщины — стервы завидующие, а мужчины — трусы и, как следствие, предатели. И все невротики! Претензии, пожалуйста, не ко мне, я тут ни при чем, кроме как при Фрейде. Вот к этому дипломированному популярному идиоту я Вас и переадресовываю. Идиот он не по природе своей, не оскорбляйтесь за Фрейда, Идиот он с большой буквы, по Федору Михайловичу. Об этом чуть позже. А пока, вопрос к заинтересованным: мы хотим, чтобы наши дети не были неврастениками? Уже зная, что невротическое состояние — сигнал: в жизни что-то необходимо изменить. Если не изме-

нить, то рано или поздно разовьется невроз, а это — тупик, мертвая точка развития.

Значит, пора исправлять закрепившуюся в культуре ошибку государственного масштаба, пора вводить обязательным предметом в программу средней школы курс психологии, который у нас и в университетах изучают-то всего год! Пора институт психологов использовать везде, где множатся люди. Какая, к черту, пора, когда — проехали. Давно. Посмотрим от сегодняшнего дня на обширную постсоветскую территорию, где распространены хомо-страдающие, застрявшие на мертвой точке развития. Т. е. стервы завидующие и трусы-предающие.

Спокойно, дышим глубже, — это только часть проблемы нашего изначально деформированного сознания по пункту пенис. Следующий пункт — потеря невинности (мы ее трижды в жизни теряем), первый раз уже случился, мы поделились на девочек и мальчиков. Следующий шаг, попытка выйти из тупика в объятиях любви. Сначала получается хорошо. Работают подыстертые традиции, работает атрибутика социума: перманентная культура, вечное искусство. На помощь приходят профессионалы — деятели вышеперечисленных институтов. В результате исцеляющего приложения их сил и теряется социальная невинность, у всякого и здесь общий путь, но с нарастающими индивидуальными отличиями. Результат опять печальный — появляются конкретные социопаты, на почве любви, выживания, на деловой почве и на высокой почве служения перечисленным почвам. Итог катастрофичен — в почву все и уходит.

Потому что утрачивается вкус жизни. То есть — умение переживания **мертвых точек**, — разных уровней: от лично-семейных, до производственно-государственных. И появляются концепции идеологических диверсий и агрессий, неоглобализм в действии, и как последний аккорд страшилок — **Внимание! Внимание! Ожидается погода третьего ме-
дицинского типа!** Сиди, мол, дома, не тусуйся, не то цунами налетит.

Ну что мы можем противопоставить такому прессингу? Крыша, слегка покосившаяся при рождении, объективно, съезжает уже больше, потому что субъективнее едет, а значит — у одних дальше, у других глубже.

Так, это мы разбирались пока с пенисом. Давайте-ка к фаллосу перейдем. Что такое он? В структурном психоанализе говорят о фаллосе как об универсальном **означающем желания**. Здесь надо вспомнить четкое разграничение означаемого и означающего в структуре языкового знака. Подавляющее большинство, исходя из контекста разговора, — люди с деформированным сознанием, и вот специфика нашей психической жизни за-

ключается в том, что в ней форма преобладает над предметом, означающее — над означаемым. То есть форма — над содержанием. "Как" над "Что". Это позволяет обнаружить у всех симптоматическую речь, метку, открывающую неприятный факт наличия проблем, существующих с самого нашего начала, уважаемые современники. Эта проблема называется "символической кастрацией". Я объяснила, что это такое, но я не могу помочь с этим справиться. Только подсказать — почитайте об этом, и — сходите к психологу. Но сначала — почитайте, чтобы убедиться, — давно пора. Проверьте себя: — надежды у вас были? И все еще есть? А счастье? А деньги? Достает для достойного существования? Ну, вот и все.

Для чего я пишу этот текст? А просто. Мы не только мальчики и девочки, мы еще и экстракорпорально развивающиеся люди, то есть мы люди культуры. Нам нужно знать самим, и чтобы дети знали — что это такое — развиваться в культуре. Особенно, чтобы понимать, что нами руководят другие культурные люди, живущие с нами в общем культурном поле. Равномерно и повсеместно доступном?

Вы своего ребенка в каком лицее обучаете? А у вас в простой районный детсадик ходит? Вы знаете, что обозначает красивое слово **фребеличка**? Вы сталкивались с седьмой заповедью? А шестой? Уже отличаете убийцу от прелюбодея? И — все ли вам равно, с кем вступать в сексуальные отношения?

Кажется, я раздражаю, сваливая в кучу грешное с праведным, где, мол, детский сад, а где избирательные или неразборчивые половые связи! А что поделать с таким феноменом: главная **фишка** культуры в том, что оппозиция мужчина vs женщина, сменяется оппозицией **только этот** vs **только эта**. Именно невозможность с **только этим** или **только той** и называется символической кастрацией. Именно это — причина разобраться, КАК нами руководят в контексте культуры XX и XXI веков. А не только КТО. Кто — как раз ясно и понятно, кто — это мы сами с вами и есть.

О главном я — о как это делать, как нам самими собой управлять. Мы ведь захотим — начальника. Кого выбирать станем? — сезон не за горами.

То есть, я все-таки про Любовь. Как существовала до рождества Христова, так и не претворилась доселе, и каких начальников мы бы не избирали, демократических, парткратических или **типа Пиночета**, они тоже: не без любви живут?! А ретроспективный анализ разворачиваемой проблемы показывает, что до сего часа этой проблеме (Любви, а не начальнику!) отводится не первое и главное место, а порядковое, по пони-

ПОЭЗИЯ

манию начальствующих. И порядок этот плох. Знание присутствует в каждом нашем повороте глаз: глядим внутрь — там мама и папа, бабушки-дедушки, весь род наш; смотрим наружу — сами мы, дети и дети детей. Так что мы точно знаем, каково живется с разного типа управляющими.

Вот я и говорю — сначала Любовь. И только потом атомная бомба. И опять — Любовь. Иначе вынырнет нейтронная бомба. А после нее совсем худо будет — Бомба-то все равно вынырнет: а люди? Так что страхи страхами, а синдром кастрации надо того, ампутировать. И все-таки — Любовь. Она понимается через внимание и заботу. Себе и своим детям так сделайте. И — менту, и — поганому, и собаке той, что вас укусила, когда вы ее из подъезда дома своего выгнали. Ну, кто там вас успел переехать — сделайте этому чмо — красиво и хорошо. И мы сделаем, всем Мiром — Мир пролюбим — и победим бомбу!

Нет иных рецептов для лучшей жизни. Не бывает.

Вот о чем базар, граждане-современники. О стервозности, зависти, страхе, предательстве и синдроме *символической кастрации*. То есть, об отсутствии Любви. Вот поэтому я и пишу эту песню: разделите со мной — присутствие! Отсутствие уже разделили.

Я обещала Достоевского привлечь. Ох, не надо было обещать. Почему мы всех, когда след, посылаем на? И, вроде, становится легче. Потому что то, на что посылаем — наделено сверхценными свойствами. Культурная традиция-с! Поскольку реальный объект, интересующий нас больше всего, всегда разочаровывает в этом стремлении идеализировать его, то обнаруживается *нехватка в другом*, и фаллос является драматическим символом, универсальным означающим этой нехватки. Обращаю внимание — я о фаллосе, а не о пенисе. Если бы я о втором, то вот тут бы и вышел на первый план уже не Зигмунд, а Федор Михайлович, и по лестнице культурно бы поднимался к злой процентщице озабоченный невротик и социопат Раскольников. А не человек новой генерации, и по Достоевскому, и по Фрейдю, и иным психологическим и социологическим школам — живой и развивающийся, с книжками под мышкой. Идет общаться без топора, помня завет любимого Федора Михайловича: страхи — страхами, прожития — прожитиями, а поговорить?!

Вхождение в твою речь
Публикация Веры КАЛМЫКОВОЙ 198

Эвелина ШАЦ
Диалог 200

Владимир КАЦ
Моя страница обожгла 204

Александр МАРДАНЬ
Красные флажки 207

Елена ПАЛАШЕК-СТОРОЖУК
Вдохи на выдохе 209

Аркадий КОБЗЕНКО
Бездонный взгляд бездонных рук... 215

Вхождение в твою речь

Мысли о поэзии Эвелины на языке поэзии Эвелины

Ускоренность в культуре не должна заменять укорененности в самом себе, — особенно, если ты женщина и живешь между двух стран в XX веке. Эвелина Шац не просто билингва; ради нее введем в обиход понятие бивитализма, когда личность сплавляет безудержный раздвой: русской бесформенной готовности страдать, забывая при этом даже собственный образ, самозабвенно проживая небытие, — и итальянской логической отточности во всем, когда форма как к пределу стремится к формуле. Паломничество русских академиков и академистов живописи в Италию воплотилось в фигуре Эвелининой личности. Смены языка не произошло, просто совершенства Италии проросли сквозь безразмерность России, способствуя кристаллизации женского сознания.

Когда Эвелина говорит о России "я люблю эту географию", — воспринимаешь буквально, хотя способность любого другого человека "любить" — "географию" — вызвала бы сомнение по бестелесности объекта любви. Безграничная способность русского языка производить отвлеченные существительные, истекающая из национального обыкновения отвлекаться от себя, — попала в переплавку *lingua latina*, который сам по себе, будучи породителем абстракций, требует конкретики в употреблении этих абстракций.

Итак, укорененность в самой себе — и в собственном языке. Отсюда — возможность предельно открыться чему угодно, развернувшись навстречу всем корпусом, жадно поглотить, не причиняя поглощаемому ущерба, переварить, чтобы впитанное умножилось вовне. И — тут же уйти, незаметно для окружающих, в себя, двигаясь в центр сознания по боковой вертикали, обладающей, кстати сказать, некоторым острием, чувствительно нацеленным в сердцевину души. Нисходить в себя, чтобы там безвозвратно остаться, ничего не слыша вокруг.

Таков и прыжок в каждое слово; вчувствование в его отделенность; умение постичь физиологию его. Метафора, иллюстрируя обратное превращение бабочки в куколку, свертывается до звукобуквенного минимума и прячется в дискурс по щучьему велению подсознания.

Развитие образа — прихоть, каприз, баловство; но каприз этот забран в стальные латы, здесь логика, и поэтому придается законотворческий статус всему, что мыслится интимно.

Нерушимый в течение пяти тысячелетий мир женщины — дом — рухнул на наших глазах; дом Эвелины — в каждом слове, входящем в быт, как вещь — именно и обязательно взятая отдельно за свою готовность сочетаться с другими, прижившимися давно. И оттого частое в стихах Эвелины слово "гений" не стоит понимать в оценочном смысле; здесь гений — дух-хранитель, дух-вдохновитель, древнеримский соратник лара-домовика.

Спокойное кроение словоформы по абрису собственного мироощущения ведет к свободе грамматических трансформаций; собственно, путь русской словесности от времени Ломоносова есть борьба за равноправие слов разностильных. У Эвелины слово приносит в стихи ту истинную интонацию, с которой предпочитает произноситься, это рвет стих, но треск разрываемого словесного полотна не какофоничен; так хруст рвущейся из-под спуда слова страсть — не какофония.

"...тогда и сотвори
знамение,
иероглиф "юнь" —
транслирующий
состоянье тела
с пятнадцати до двадцати двух лет;
а в переводе
на язык метафор —
души, способной
к самовыражению,
что походя бессмертье прозревает
— а, вот оно, —
в любой от времени оторванный
момент
который белым флагом на
флагштоке
колышется
в безветрии
создав,
заметить свойство,
присущее ему до сотворенья:
"юнь" может проявиться
равно и в воздухе,
и на бумаге,
но растворяется при трении
о пустоту,
улыбки по себе не оставляя".

Вера КАЛМЫКОВА

Но она всегда и во всем, сознательно или случайно, действовала так, как будто то, что происходило, было в сущности, преодолением невозможности.
Гайто Газданов "Эвелина и ее друзья".

Вместо биографии

Диалог

надгробная надпись

Кто ты здесь, под могильной плитой?

Эвелина, ничейная дочь.

Твоя родина?

Небо.

Ремесло?

Человек моря.

Разве не о небе шла речь?

Море — это концепт.

А человек?

Тоже.

Ты уверена?

В этом контексте — да.

В доме есть дети?

Один. И надеюсь, он будет жить

Между небом и морем

Как буревестник. И будет странствовать

И зимовать в Африке.

А привал будет на мысе Passero.

В Сицилии?

Да.

Отличный пейзаж для старости.

Ты согласен, прохожий?

Цитрусовые сады, это и есть рай?

Может быть.

Мне нравится вспоминать желтый цвет этих садов.

Цвет, который пахнет радостью.

И обещает солнце в загробной жизни.

А она есть?

Нет.

Откуда ты знаешь?

Я надеюсь.

Ты родом из Греции?

Кажется, да. Все мы греки...

Но я немного и даоист.

Ты стара?

Не очень.

А много ли тебе до старости?

Немного.

Не тужишь?

Да нет, пожалуй.

Что ж ты не спросишь

Счастлива ли я?

Ты знала счастье?

О, да.

Когда?

Когда цвет сицилийских садов

Наполнял мою женскую суть.

Спи спокойно, о, женщина.

Я тебе задал слишком много вопросов.

Да будет пухом тебе земля.

А ты, прохожий, будь счастлив.

И если хочешь познать радость в потом,

Гуляй среди лимонных и апельсиновых садов

В январе, когда желтый ковер из маленьких хризантем

Расстилается подобно зеркалу Эдема.

Помни, что в старых писаниях, после греков,

Сады Эдема — суть именно апельсиновые рощи.

По-еврейски — место благодати?

Эдем, не апельсиновые рощи.

Погоди, о, женщина. Еще один вопрос.

Всего лишь один. Хотела ли ты быть чужестранкой?

Нет.

Хотела ли ты иметь родину?

Нет.

Словарь джаза

Кате Голицыной

Джаз — это все начать сначала
крик верблюда в толще молчания
взрыв молнии — перекасти-поле в степи
бормотанье шамана, стихообразы Хлебникова
Зангези уже джаз, Гильгамеша стрела-глаз
ужас Платонова, Золотой орды яростной скач-глас
зов тайги, хазарский словарь, плач иудейской стены
вавилонской башни вечнораздельные языки
к Китайской стене я шла
 через Самарканды всех мира востоков
это было в Париже, в Вене, в Мытищах и Костроме
у водостоков Милана — трубы, медь, барабаны, squash
Москва — вовсе не возвращение блудного сына, —
он — вечный жид, вечный верблюд-поэт
возвращается лишь дойдя до края пустыни, —
это освеживание и джазовое возбуждение родного языка
об этом письменна на сцене Большого 2000. Хор пел Верди
на вавилонском итальянском. Все верблюды аплодировали
новому веку. Остальные оставались в прошлом тысячелетии.

Ты — моя Итака

Письмо из Сицилии, или Опять о деконструктивизме

Твой гений вовсе скоморох.
Мне видится подвох во всем
что приближает нас к толпе
или к любителям изысканных забав.

Не гений вовсе я, не скоморох.
Я — Одиссей, и требую возможности
вернуться.

Ты — моя Итака

Ты — возвращение мое.
Иль мне продолжить путь? Нет, не о детстве
память. Будущее влечет меня вернуться
в самое себя. И если *ogni finitezza naufraga
nell'infinito* и если всякая конечность терпит
в бесконечности крушение среди фрагментов
необходимо уточнить: в них превратилась
старина, и новое рождается в фрагментах.

И может прав был Свево, когда допрашивал природы смысл: *Не есть ли жизнь материи болезнь?*
А значит: Творение — не есть ли разложение?
И разложение — не есть ли возвращение?



Моя страница обожгла

Неначатых поэм наброски
И неоконченных стихов,
В бесплодных поисках неброских,
Но бьющих в точку точных слов.
По неумению или лени
Я не сумел их дописать,
Но нервным ритмом впечатлений
Испещрена моя тетрадь.
И вот теперь, средь старых писем
В последнем ящичке стола
Сухим огнем осенних листьев
Моя страница обожгла.
Любви ушедшей отголоски
Сорвали с памяти покров
Неначатых поэм наброски
И неоконченных стихов.

Который раз спускаюсь к морю по
Тропинке, уходящей в неизвестность,
И сам с собою бесконечный спор
Веду, при том оглядывая местность,
Которая знакома мне давно,
Почти что “как окраина Китая”.
Себя мне переспорить не дано,
И местность, впрямь, не Б-г уж вещь какая.
Но я ее люблю — и в этом соль.
Здесь я познал минуты вдохновения.
Здесь бесконечность обращалась в ноль.
А ноль соединял все измерения.

Стволы деревьев, как стихов столбцы,
Дарили мне гармонию и силу.
Здесь ты мне первый раз сказала: “Милый!”
И я решился — обрубил концы.

Не раскатывай губу.
Не загадывай желаний.
Просто дуй в свою трубу
На просторах мироздания.
Говори слова, любя,
Поумнее и пореже.
Может, все-таки, забрезжит
Славы луч и для тебя.

Мы любим далеко не самых лучших.
Не самых добрых и красивых, тех
Мы любим, лишь, кого нам дарит Случай,
Вернее Б-г, чей ручейковый смех
Нам снится по ночам, чьих рук объятья
Бессильны мы до гроба позабыть.
Мы помним жесты, пуговицы, платья...
А как еще прикажете любить?

На кухне два греца, три примуса.
(А газ проведут нам не скоро).
Кому на полметра подвинуться
В жестоких решается спорах.
Мадам Богомольные, Эйчисы,
Конечно же тоже “мамамы”.
А временем вовсе не лечатся
Войной нанесенные раны.

Я тоже обуян был славным бесом
Когда, вдыхая аромат акаций,
Бродил с тобой по улицам Одессы.
И раздувал шифоновое платье
Бесстыдный ветер. Женщины у моря
Так обольстительны, свежи и своенравны
Особенно весною. Ну, а в споре
Ты в целом мире не найдешь им равных.

Давай заглянем в дом на улице Уютной,
Ведь мы прожили в нем не худшие года.
Давай заглянем в дом, хотя бы на минуту,
Чтобы уйти потом отсюда навсегда.
Пройдемся не спеша по Ясной, по Отрадной,
Немного побыстрее по ветреной Морской.
Здесь я на костылях спускался из парадной,
Здесь лица дочерей дарили мне покой.

Когда состояние духа
Опустится ниже нуля,
И сердце пульсирует глухо,
И нету в кармане рубля,
И поиски тщетны причины,
И хочется всех обвинить,
Возьми и попробуй щетину
Трехдневную начисто сбрить.

Красные флажки

"Волк не может нарушить традиций
Видно в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали, нельзя за флажки".
В.С. Высоцкий,

Вы махали нами в детстве на параде,
Не боясь, как тигров в спальне на ковре.
Повзрослев, о нас мечтали, как награде,
Что вручают к юбилею, в ноябре.

Мы — флажки, полотнища и флаги,
Шьемся, чтоб определять ваш путь.
Никакие повороты и зигзаги
Не дадут от нас вам увильнуть.

Шьете нас вы днями и ночами —
Кто из шелка, кто из кумача.
Изначально, в человеческой драме,
Жертвы создавали палача.

Мы — мораль, лишаящая права
Человека быть самим собой.
Но без нас не мыслится Держава,
Общества устройство и покой.

Знамя может превратиться в тряпки,
Но прошедший с ним — прошел уже.
Красный цвет уводит душу в пятки,
Что краснеют от флажков в душе...

Я тоже обуян был славным бесом
Когда, вдыхая аромат акаций,
Бродил с тобой по улицам Одессы.
И раздувал шифоновое платье
Бесстыдный ветер. Женщины у моря
Так обольстительны, свежи и своенравны
Особенно весною. Ну, а в споре
Ты в целом мире не найдешь им равных.

Давай заглянем в дом на улице Уютной,
Ведь мы прожили в нем не худшие года.
Давай заглянем в дом, хотя бы на минуту,
Чтобы уйти потом отсюда навсегда.
Пройдемся не спеша по Ясной, по Отрадной,
Немного побыстрее по ветреной Морской.
Здесь я на костылях спускался из парадной,
Здесь лица дочерей дарили мне покой.

Когда состояние духа
Опустится ниже нуля,
И сердце пульсирует глухо,
И нету в кармане рубля,
И поиски тщетны причины,
И хочется всех обвинить,
Возьми и попробуй щетину
Трехдневную начисто сбрить.

Красные флажки

"Волк не может нарушить традиций
Видно в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали, нельзя за флажки".
В.С. Высоцкий,

Вы махали нами в детстве на параде,
Не боясь, как тигров в спальне на ковре.
Повзрослев, о нас мечтали, как награде,
Что вручают к юбилею, в ноябре.

Мы — флажки, полотнища и флаги,
Шьемся, чтоб определять ваш путь.
Никакие повороты и зигзаги
Не дадут от нас вам увильнуть.

Шьете нас вы днями и ночами —
Кто из шелка, кто из кумача.
Изначально, в человеческой драме,
Жертвы создавали палача.

Мы — мораль, лишаящая права
Человека быть самим собой.
Но без нас не мыслится Держава,
Общества устройство и покой.

Знамя может превратиться в тряпки,
Но прошедший с ним — прошел уже.
Красный цвет уводит душу в пятки,
Что краснеют от флажков в душе...

Пейзаж на столе

Блокнот, как авоська для мыслей в рассрочку,
Чернила на коже страниц, как тату,
Скрепки — сережки, пронзившие строчки,
Обложка — халат, скрывший их наготу.

Ручки, перо, карандаш, просто стержень —
Как окончанья написанных слов.
Толстый словарь, весь зачитанный, прежний,
Стрелки куда-то спешащих часов.

Фото в подставке, шнуры аппаратов,
Как лабиринты для брошенных фраз.
Письма, не знавшие рук адресатов,
И недописанный грустный рассказ...

Диалектика

Я меньшинство во всех земных сравнениях
Поскольку у себя, как и у вас, один,
Но Мир, в его известных измерениях
Дотоле жив, пока я связан с ним.

Наблюдение

Поэт есть проводник для языка,
Который наполняет слово звуком.
Так по камням ведет поток река,
А творчество — художника по мукам.

Вдохи на выдохе

1

От поэтессы до поэта
всплакнули сорок две строки.
Из осени спешила в лето
сквозь рифмы — зыбкие пески
та, что была, как я, прохожей.
Она ушла, а мне здесь жить.
Мы с ней еще чуть-чуть похожи...
Мы свято верим в миражи.

От поэтессы до поэта...
— А впрочем, мне ль не все равно:
оберткой быть или конфетой?
Конфет сейчас полным-полно.

2

— Ах, Боже Правый, снова не одна.
Неодиночество сегодня очень кстати.
— Давно ли ненавистна тишина?
А воздуху не нужен антистатик? —
спросил не ты, а хмурые часы.
Ответить им твой взгляд уже мешает.
— Ты здесь или у взлетной полосы?..
— Ты все поймешь.
Ты девочка большая.

— Ах, Боже Правый, снова я одна.
Мне одиночество, пожалуй, не помеха.
Мне ненавистна эта тишина!
А ненависть — уже частичка смеха.

Пейзаж на столе

Блокнот, как авоська для мыслей в рассрочку,
Чернила на коже страниц, как тату,
Скрепки — сережки, пронзившие строчки,
Обложка — халат, скрывший их наготу.

Ручки, перо, карандаш, просто стержень —
Как окончанья написанных слов.
Толстый словарь, весь зачитанный, прежний,
Стрелки куда-то спешащих часов.

Фото в подставке, шнуры аппаратов,
Как лабиринты для брошенных фраз.
Письма, не знавшие рук адресатов,
И недописанный грустный рассказ...

Диалектика

Я меньшинство во всех земных сравнениях
Поскольку у себя, как и у вас, один,
Но Мир, в его известных измерениях
Дотоле жив, пока я связан с ним.

Наблюдение

Поэт есть проводник для языка,
Который наполняет слово звуком.
Так по камням ведет поток река,
А творчество — художника по мукам.

Вдохи на выдохе

1

От поэтессы до поэта
всплакнули сорок две строки.
Из осени спешила в лето
сквозь рифмы — зыбкие пески
та, что была, как я, прохожей.
Она ушла, а мне здесь жить.
Мы с ней еще чуть-чуть похожи...
Мы свято верим в миражи.

От поэтессы до поэта...
— А впрочем, мне ль не все равно:
оберткой быть или конфетой?
Конфет сейчас полным-полно.

2

— Ах, Боже Правый, снова не одна.
Неодиночество сегодня очень кстати.
— Давно ли ненавистна тишина?
А воздуху не нужен антистатик? —
спросил не ты, а хмурые часы.
Ответить им твой взгляд уже мешает.
— Ты здесь или у взлетной полосы?..
— Ты все поймешь.
Ты девочка большая.

— Ах, Боже Правый, снова я одна.
Мне одиночество, пожалуй, не помеха.
Мне ненавистна эта тишина!
А ненависть — уже частичка смеха.

В окно потянулся дым
оттуда, где небо горело
предчувствием нашей беды...
А я улыбалась несмело.
А солнце, как красный волдырь,
и счастье уже улетало...
— Что?
Кофе?
Прости, нет воды..
— Давно ли воды вдруг не стало?

В окно потянулся дым.
Закреть я окно не успела.
Весь день мне казался пустым,
а вечер, как смерть, белым-белым.

Правоту превратив в сироту,
я не знала, мне нужен ли критик.
Чья-то дверь?...
Я решилась...
"Тук-тук".
— Вам кого?
— Мне судьбу позовите.
— Вы уверены, что она здесь?
— Неужели я снова ошиблась?
Где живешь ты, судьба моя, где?
Неужели, как я, на отшибе?

Правоту превратив в сироту,
я пыталась быть просто печальной.
Я любила, увы, правоту.
А любовь — это только случайность.

Падает свет из окна
прямо на небо и звезды.
Смотрит в окошко луна,
а на окне сохнут розы.
— Кажется, счастье летит?
— Может, уже прилетело?
— Нет, оно только в пути.
— Что же дрожит ваше тело?
— Просто холодная ночь.
— Странно, что звезды не греют.
Что вам?
— Пожалуй, вино.
И наливайте скорее.

Падает свет из окна
Прямо в бокал, там и тонет.
— День удивительный вторник!
— День удивительный вторник!
Началась наша весна.

Трамвайный вокзал

Однажды прыгнула с подножки
моя судьба. Неймется ей.
Да прямо в лужу. Кто-то крошки
рассыпал рядом.
Воробей
купался в луже.
Что за серость? —
хотелось мне тогда сказать,
но я на корточки присела,
и в лужу прыгнула слеза.
Скажи, судьба: ты не ошиблась?
С позавчера тебя боюсь.

Воспоминанья на отшибе
впитали, словно воду, грусть.
Судьба молчит. Как бессердечно!
Из лужи вынырнул трамвай,
чей путь давно казался млечным.
А где подножка? Ай-я-яй!
Нельзя назад! Но я устала...
Устала бегать за судьбой
Жаль, нет трамвайного вокзала,
а то б я встретилась с тобой.

Городская, сумасшедшая

Расчешу деревья в городе.
Растрепая облака.
Разбросаю дни по улицам,
их найдут наверняка.

Разорву на шее бусы я,
как дождинки брошу вниз.
Я жила-была счастливая,
вдруг устала от возни.

Разболтаю в лужах солнышко.
Шум и гам сгребу в совок.
Мне зимой уже не холодно,
летом тоже ничего.

Что за радость быть не понятой?
Что за радость просто быть?
Расчешу деревья в городе.
Научусь себя любить.
Может быть.

На чьей-то постели, на мягкой постели
на краешек вы, долгожданный, присели.
И форточка скрипнула что-то о счастье.
Я спряталась здесь от себя и ненастья.
Я спряталась здесь от себя еле-еле
на чьей-то постели, на мягкой постели.
Тепло и спокойно.
Улыбка в подушке..
Похоже, судьба — это просто игрушка.
И вы, долгожданный, меня захотели
на чьей-то постели, на мягкой постели.
"Ну что же", — сказали вы мне, — "в самом деле
вы счастье искали на чьей-то постели?
Ну, что ж, дорогая, вы очень прозрачны,
я вас захотел, захотел однозначно".
В ответ только слезы в глазах заблестели
на чьей-то постели, на мягкой постели.

Брошу замок в нашем грязном городе,
а в лесу построю домик маленький...
Я оденусь так, чтоб было холодно
для моей души. А ноги в валенки.
"Шарк да шарк", — ступенечки ругаются:
поднимусь из города на волюшку.
Птичка прилетела, не пугается,
назову-ка птичку "мое горюшко"
Под окном молчит собака странная,
знать, луна еще не намечается.
У окна нетрезвая, не пьяная
плачет о любви мадам, печалится.
За лесок стряхнуло небо солнышко,
на себя тянуло тучи темные.
На кого смотрели глазки сонные,
тот не знал, что глазки эти томные.

"Вы из леса?" — он меня не спрашивал,
сам же говорил, что он из города.
На губах не кусаных, не крашенных,
на его губах, улыбка гордая.
Не понять ему, что город маленький,
где собак полно, и все бездомные,
стянет с ножек старенькие валенки:
неудобно, мол, что те удобные.

Стая волков перелетных
хлопала крыльями в небе
и разрывала, как плеткой,
тучи хвостами. И снегом
рушились тучи на землю.
Волки летали и выли.
Что за крылатое племя,
что они в небе забыли?
Где перелетные волки
крылья себе отрастили?
В стае одни кривотолки,
да перелетные мили
Волки пролезли в иголки,
сшили дырявые тучи.
Эй, перелетные волки,
племя крылатое, сучье,
тучи оставьте в покое...
Я вдруг споткнулась о камень
и замахала рукою.
Нет, замахала руками.
Что-то мешало мне. Крылья?
Тяга к инстинктам животным?
Я оказалась посыльной
в небо, к волкам перелетным.

Гул трещин тектонической плиты

Видно, демон есть в квартире.
Что ни ночь, часа в четыре
сна пугающий обрыв.
Как нарыв, в груди созревший,
ноет сердце на разрыв.

Серый лекарь-повседневность
лечит боль, тоску и ревность,
все на свете заглушает,
в беспощадном милосердьи
жизнь, как плату, пожирает.

Вмощен в чащобу трамвайного чрева,
сжатый до хруста скелетного древа,
так, что в виске начинается стук,
так, будто взяли тебя "на испуг".

Непредсказанно рождается вдруг:

Какое странное пространство
случайных глаз голубизна,
манящий звук непостоянства,
как предрассветный отблеск сна...

Толчок, расцепка, остановка,
воздушность улицы вокруг
и драгоценная обновка —
бездонный взгляд бездонных рук.

И Вы исчезли торопливо.
Лишь девять спичек сиротливых,
лежащих в коробке на дне,
на память остаются мне.

"Вы из леса?" — он меня не спрашивал,
сам же говорил, что он из города.
На губах не кусаных, не крашенных,
на его губах, улыбка гордая.
Не понять ему, что город маленький,
где собак полно, и все бездомные,
стянет с ножек старенькие валенки:
неудобно, мол, что те удобные.

Стая волков перелетных
хлопала крыльями в небе
и разрывала, как плеткой,
тучи хвостами. И снегом
рушились тучи на землю.
Волки летали и выли.
Что за крылатое племя,
что они в небе забыли?
Где перелетные волки
крылья себе отрастили?
В стае одни кривотолки,
да перелетные мили
Волки пролезли в иголки,
сшили дырявые тучи.
Эй, перелетные волки,
племя крылатое, сучье,
тучи оставьте в покое...
Я вдруг споткнулась о камень
и замахала рукою.
Нет, замахала руками.
Что-то мешало мне. Крылья?
Тяга к инстинктам животным?
Я оказалась посыльной
в небо, к волкам перелетным.

Гул трещин тектонической плиты

Видно, демон есть в квартире.
Что ни ночь, часа в четыре
сна пугающий обрыв.
Как нарыв, в груди созревший,
ноет сердце на разрыв.

Серый лекарь-повседневность
лечит боль, тоску и ревность,
все на свете заглушает,
в беспощадном милосердьи
жизнь, как плату, пожирает.

Вмощен в чащобу трамвайного чрева,
сжатый до хруста скелетного древа,
так, что в виске начинается стук,
так, будто взяли тебя "на испуг".

Непредсказанно рождается вдруг:

Какое странное пространство
случайных глаз голубизна,
манящий звук непостоянства,
как предрассветный отблеск сна...

Толчок, расцепка, остановка,
воздушность улицы вокруг
и драгоценная обновка —
бездонный взгляд бездонных рук.

И Вы исчезли торопливо.
Лишь девять спичек сиротливых,
лежащих в коробке на дне,
на память остаются мне.

Не надписан день и месяц,
даже год не обозначен,
этот маленький подарок
на мгновение предназначен.

В мнимолетное пространство
протекали света блики
в облаках непостоянных,
золотые корабли.

Окна — глаза,
не глядите вослед.
Окна — глаза,
не наделайте бед.
Окна — глаза,
никому не скажите,
как ушел человек
в сумеречный рассвет.

Треть Пушкина,
чуть выше пуга,
бульвар осматривает тупо.

Или иначе

Бульвар. Начало.
Полу-Пушкин
соседствует с чугунной пушкой.
Сродство металла
еще не повод для романа.
И Пушкин к ней спиной стоит,
уныло на бульвар глядит.

Но если бы чугуннотвердый
металл бы мог заговорить,

тогда бы вытекло из горла:

— Мой памятник
нерукотворный...

Нож. Ножны
обнажены.
Нагой, наг.
И кожи голой
хвост пушистый —
до входа в вечность
только шаг.

Где лучше воле — в граде-неволе
иль в чистом поле, в поле на воле?
Ах, нету места во чистом поле,
маяться воле в граде-неволе,
маяться воле в цементной боли.

...лист осенний кружится.
Словно омут для него
маленькая лужица.
Рубчики на сердце,
омуты в душе.
Маленькая лужица
из
папье-маше.

Шедевр, ушедший в замшу шевроле,
бесшумность шин уносит в шепот ночи.
И возжелание, закрывши очи,
когда крыло летучей мыши

бездомные ласкает крыши,
шуршит ближайшею душой.

Гул трещин тектонической плиты,
молчащая фальшивость флейты...

Вдали есть, кажется, пролив Па-де-Кале
и танец сладкий Ситт-Зюбейды.

На пирсе раннею весной
стоим. Устав от непогоды,
холодной мерною волной
свободно дышат воды.

На море близкий горизонт
набросил свой лиловый зонт.

Немного зябко, четверть луны,
и тени неodeвших ветвей
меняют чуть свои черты...

— Мне грустно, — прошептала ты.

Меж исполкомов, гор- и рай-,
протекает жизнь бульвара.
На скамейке сидит пара,
катят в роликах девчонки,
рюкзаки и две юбочки.
И такая благодать...
Видно, это —
просто лето,
или то, что жду я Вас.

Дивная Дева,
девное диво...
Кой вам эпитет —
прекрасно ль, красиво,
кой Вам эпитет?
Скажите, не знаю.
Зачарованно слова повторяю:
дивная Дева,
девное диво...
Г р о з н о е
д и в о.

И елям в платьях подвенечных
едва ли мнится зов предвечный,
что обнаженный ствол ноги
крестом обует сапоги.
Иголки — тело,
древ скелета —
примета будущего лета.

Память и сердце выплеснут,
вырвется
в точно-неточных словах
все то, что брызжет
и что сейчас мыслится
в наших хмельных головах.

Память, о, память,
меня ты не мучь
тайной непонятых снов.
Память и сердце —
матрица-ключ
смысла сновидимых слов.

Память моя, как песок, рассыпается
с каждой каплей вина.
Сердце болит и в рубце ущемляется,
будто на нем есть вина.

Ну и похмелье, какое веселое,
выпьем-ка все до конца —
и остается, как женщина голая,
жажда креста и венца.

Рекой, речкой, реченькой
луга очерченность,
над ее головушкой
птичкой обреченность.

Реки, речки, реченьки
слезками с ресниц,
что ж вы так торопитесь
на печальный Стикс.

Река, речка, реченька
талою водицею
потекла вдоль бережка
горькою вдовицею.

Поросло травой-бурьяном
место маминой могилы.
Что же ты, сыночек милый,
редко даришь мне слезинку,
редко слово говоришь.

Я тебя, седой мой мальчик,
никогда не забываю
и своей душой бесплотной,
как могу, оберегаю.

Иду, бреду я сам собой,
я сумасшедший городской.
Иду, бреду, не жду приветов.
— Ну, как дела? —
Не жду ответа.

Иду, бреду я сам собой,
я сумасшедший городской.



ЖИЗНЬ — ИСКУССТВО — ЖИЗНЬ

Письма П.Г. Волокидина
Публикации Виталия АБРАМОВА 223

Дина ФРУМИНА
Этюд 232

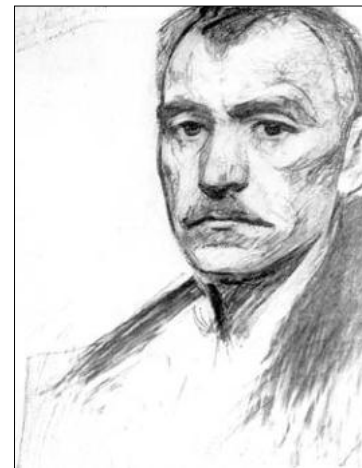
Татьяна БАСАНЕЦ
Экспрессивный абстракционист 234

Вадим ЯРМОЛИНЕЦ
Нью-йоркское шампанское
с одесским привкусом 236

Феликс КОХРИХТ
Восточное сердце Марьяны Гапоненко 243
Марьяна Гапоненко *Разговор под землей* ...245

Письма П.Г. Волокидина

Предлагаемые вниманию читателей несколько писем известного художника Павла Гавриловича Волокидина (1877-1936) написаны в 1915-1916 годах, во время продолжения его учебы в Петербурге. Оттуда он часто приезжал в Херсон, где находилась его семья, и в Одессу. Этими письмами, собственно, почти ограничивается известное нам эпистолярное наследие мастера. Публикуемые впервые письма дополняют наше представление о Волокидине — художнике и человеке, страстно увлеченном проблемами творчества, вводят в круг художников и литераторов, с которыми он был знаком, дают представление о его отношении к академическому образованию. В них находим и ряд интересных подробностей о художественной жизни Одессы.



Автопортрет. 1931 г.

Первые три письма 1915 года адресованы одесскому художнику и критику Николаю Ивановичу Скроцкому (1876-1945). П. Волокидин знал его по учебе в Одесском художественном училище, которое Скроцкий окончил на два года позже П. Волокидина (в 1907). В дальнейшем на некоторое время их судьбы разошлись. Волокидин в 1905-1907 годах учился в Петербургской Академии художеств, Скроцкий уехал в Европу. Из письма Н. Скроцкого одесскому художнику А. Стилиануди, сохранившемуся в Отделе рукописных фондов Института истории искусства, фольклора и этнографии Академии наук Украины, видно, что в 1907 году Н. Скроцкий побывал в Мюнхене и Париже. Письма художнику К.К. Костанди, датированные 1909 годом, также присланы из Парижа. Учился у художника и теоретика искусства Мориса Дени (1870-1925). Критические статьи Н. Скроцкого появились в одесской прессе в 1906 году, затем в 1911-1915 и далее. В ряде его рецензий на выставки положительно отмечены произведения П. Волокидина. С 1916 года Скроцкий был близок кругу одесских "независимых" художников и их лидеру М. Гершенфельду. Поразительно, будучи профессиональным художником, Скроцкий не принимал участия в выставках.

Письма П. Волокидина Н. Скроцкому (машинопись) находятся в архиве Одесского художественного музея.

Остальные письма, датированные 1916 годом, адресованы Александру Абрамовичу Кипену (1870-1938), известному ученому-агроному, писателю и художнику-любите-



"Четверги" в доме у А.М. Дерибаса. В группе художников — П. Волокидин (третий слева), А. Кипен (первый слева). 1929 г.

лю. В автобиографии А. Кипен указывает, что он впервые приехал в Одессу в 1894 году и находился здесь три года. Затем работал в Одессе с 1903 по 1909 год — это время, когда П. Волокидин учился в художественном училище и начал экспонировать свои произведения на выставках Товарищества южнорусских художников. Волокидин выполнил два проекта обложки к рассказу А. Кипена "Бирючий остров", изданному в 1905 году, — соответственно, их знакомство состоялось не позже 1905 года. Дружба их сохранялась и позже. В 1909-19 годах, живя в Финляндии, Кипен ежедневно приезжал в Петербург, где преподавал на высших Каменноостровских сельскохозяйственных курсах, а Волокидин в Петербурге в 1915-16 годах продолжал свое художественное образование.

В Одесском художественном музее сохраняется рисунок П. Волокидина — "Портрет А. Кипена" — с авторской надписью: "Петроград. 22 марта 1916 г. Дорогому, милому другу — брату на добрую память". Этот портрет, как и другие работы Волокидина, включая упомянутые проекты обложки книги "Бирючий остров", находился в обширной личной коллекции Кипена. В архиве Национального художественного музея Украины (Фонд А. Кипена) находится авторская рукопись — опись этой коллекции. Наряду с произведениями южнорусских художников в нее входили произведения известных мастеров: Кандинского, Волошина, Богаевского, Петрова-Водкина, Гауша, Митрохина, Конашевича, Радлова и др.

Следует отметить и то, что позже, в Одессе, с 1921 по 1929 год П. Волокидин и Н. Скороцкий были членами Общества им. К.К. Костанди, бессменным председателем которого был А. Кипен.

Письма П. Волокидина А. Кипену находятся в Национальном художественном музее Украины.

Виталий АБРАМОВ

Н.И. Скороцкому
Март 1915 г.

Дорогой Николай, написал бы раньше, да все ожидал, чем бы с тобой поделиться. Во-первых, делюсь небольшой радостью — на весенней выставке в Академии художеств у меня купили этюд цветов за 100 рублей. Выставил я немного, всего 5 небольших этюдов. Купили один из маленьких этюдов, тех, что были на южнорусской выставке¹. Но зато другая радость, не менее интересная. На выставке я с таким подходом к искусству оказался в единственном числе. Если бы видел эту выставку — у тебя опустились бы руки.

Что делают художники. Делают ненужные, нелепые вещи в духе Бодаревского² или еще хуже того. С. К.³, открывший целую лавочку, между прочим, все распродавший и заработавший не одну тысячу рублей, нисколько не выше того же Бодаревского. Бодаревский же рассорился с передвижниками и пошел к молодым весенникам. Но весенники не весенники — а "осенники". Не лучше и Б-й⁴, тоже устроивший лавочку. Но спрос на Б-го притупился. Я объясняю это вот чем: учиться он перестал. Выработал шаблон, и вот этот-то шаблон противен, не на чем глазу отдохнуть, об остальных я и не говорю.

Художник только тогда художник, когда он учится, а учиться надо всю жизнь. Нужно углубляться, нужно ставить себе задачи для разрешения, но не стоять на одном месте, не делать из искусства бакалейную лавочку. В противном случае все будет отмщено жестоко и поделом.

Скоро выеду из Петрограда, к празднику, и у меня мечта вместе с тобой взяться за работу как следует. Будем писать и рисовать, но так, чтобы ни одного дня не сидеть без работы. В работе единственное спасение. Ты, конечно, со мной заранее согласен. Попробуем писать фигуру на воздухе. Это когда уже будет тепло.

Сейчас я заканчиваю большой этюд женской фигуры, но не знаю,



Н.И. Скороцкий.
Рисунок неизвестного художника

окончу ли к отъезду. В это лето я надумал сделать много, но не в смысле количества, а качества. Нужно, брат, строго относиться к себе. Работаешь ли ты, Николай. Смотри, не ленись. От Кати Гулевой⁵ получил письмо, где она пишет, что собирается на юг и думает много работать в компании вместе.

У вас тепло, а у нас еще холодно — скорее на юг. Люблю я юг, на юге прямо душой живешь, душой купаешься в тепле, а на севере все сжимается, уходит в себя, противен мне север.

Н.И. Скроцкому
31.X.1915

Дорогой Николай, наконец приехал в Петроград и устроился работать в частной мастерской проф. Савинского⁶. Работа идет хорошо. Савинский признал, что у меня все данные для художника есть. И чувство тона, и вкус, и даже умение поставить фигуру и сделать первый общий рисунок. Недостает, по его мнению, умения довести работу до самого законченного вида. Над этим я теперь работаю. Я и сам чувствую, что именно этого мне и не хватает, это попросту дисциплина держать себя в самых строгих рамках. Пишу с большим подъемом и увлечением. Посещаю часто музей Ал.[ександра] III-го и Эрмитаж, где много удивительно прекрасных вещей. Собираюсь даже скопировать в Эрмитаже с удивительного портрета Рубенса. Такого я еще не видал никогда.

Н.И. Скроцкому
8.XI.1915 г. [Фрагмент письма]

...Критика может быть только свободной. Ты знаешь, Николай, как меня первые годы разделяла критика. Теперь же эта самая критика вот уже несколько лет хвалит меня. Да разве у меня в душе было какое-либо возмущение против критики. Нет. Я только засматривал к себе внутрь и работал, работал. И это, по-моему, единственный ответ художника на критику, какая бы она ни была, затвориться и работать, но не привлекать критика к суду.

За твое письмо я тебя мысленно целовал и благодарил. Мне все очень интересно и близко родное, одесское.

...Я вот уже второй месяц работаю в мастерской Савинского и, представь, что как преподаватель он мне очень нравится своими указаниями и

метод его, чисто рассудочный, на первое время хорош. Но ученик сам должен почувствовать, когда от метода Савинского перейти на другое. А то многие ученики Академии засыхают на этом методе и пропадают. Я-то, конечно, отношу это к самим ученикам. Они, очевидно, сами мало даровиты. Ведь еще мало уметь хорошо рисовать — нужно еще что-то: а это что-то я считаю душой художника.

Сейчас в Академии открылась выставка картин конкурсантов и отчетная ученическая. О конкурентских картинах много не скажешь. Делают то, чему их учит Академия, т. е. все ставить на место. Получается, что поставлено по-академически на место, а живописи-то и нет, или очень мало. Потому многие и погибают, после Академии их на такие выставки как "Мир искусства" и "Союз русских художников" или даже "Весенняя" в Академии не принимают, ибо их живопись является антихудожественной. Заучиваются до того, что после 7-8 лет не могут совсем писать. Вывод следующий: в Академии нужно быть 3-4 года, не больше, и уходить работать на свободу.

Среди домашних работ, а это, главным образом, этюды, пейзажи, нет ни одного, на котором можно было бы глаза остановить. Печально, но факт.

Шатан⁷ признал, что я за это время довел тон свой до большой чистоты и глубины. Но не только Шатан, но и сам Савинский высказал мнение, что "он" (т. е. я) тон чувствует очень хорошо. Это, по его мнению, первая ступень в искусстве. Затем идет вторая ступень — углубление в форму, и это совершенно верно, а вернее — обе эти стороны надо соединить воедино... То, что я теперь пишу (а пишу я фигуру натурщицы и натюрморт — череп на фоне драпировки), и особенно в последней работе, хочу, при сохранении красок, форму довести до возможного предела. Получается пока хорошо, и думаю, что доведу эту работу до большого совершенства. Мне нужно раз навсегда установить и показать, что форму, когда захочу, доведу до конца.

Плохо работать в Петрограде, слишком коротки дни, мало приходится писать при дневном свете. К Рождеству думаю съездить на родину, т. е. в Одессу. А уж после Рождества видно будет. Можно ведь устроиться в Одессе и писать и рисовать совместно, и мы, кажется, так и сделаем. Меня как южанина тянет на юг.

Петровский⁸ и Алексеев⁹ получили звание художников. Первый — за жанровую картину "Бал у Лариных", а второй за зимний пейзаж. Шовкуненко¹⁰ выделяется своими эскизами.

А.А. Кипену
Одесса 1.I.1916 г.

Дорогой Александр Абрамович! От души и чистого сердца поздравляю Вас с Новым годом, шлю свои самые лучшие пожелания Вам. Дай Бог, чтобы Вам с этого года все улыбалось и устраивалось в жизни легко.

Сижу пока в Одессе, а завтра, 2 января, выеду в Херсон. Кое-кого повидал в Одессе. На юге сейчас рай. Солнце светит вовсю, тепло. Постараюсь скоро вернуться, Будьте здоровы. Передайте привет Карменам¹¹ и всем, кто знает меня.

Ваш П. Волокидин.

А.А. Кипену
Херсон 9.IV.1916 г.

Дорогой Александр Абрамович! Видел первый раз в жизни разлив Днестра и скажу, что картина очаровательная — особенно ниже Александровска, где разлив на 10 верст. Затоплены деревья и разбиты халупы рыбацкие. Людям, конечно, не до красоты, но все-таки красиво. Домой добрался в пятницу к вечеру. Я уже говорил самому себе, что нас, т. е. Вас и меня, юг встретил цветами, что может быть очаровательней этого. Я возьмусь, наконец, за цветущие деревья и напишу несколько этюдов. На праздники поеду в Одессу, где и буду работать, повидаясь с художниками, поговорю о наших художественных делах и о выставке в Мелитополе. О всех новостях буду писать Вам. Прочел Серафимовича¹² "Город в степи". Мне очень нравится как он пишет — это человек талантливый и очень. Поздравляю Вас со светлым праздником и крепко целую. Пишите.

Ваш П. Волокидин.

А.А. Кипену.
Херсон 18.IV.1916 г.

Дорогой Александр Абрамович! В конце пасхальной недели собираюсь побывать в Одессе и повидать друзей. Заканчиваю 2 акварели... На-



Портрет профессора А.А.
Кипена. 1916 г.

писал этюд в саду "цветущие деревья"... Скоро зацветет сирень — возьмусь за нее. Что Вы подделываете? Начали ли работать? Писать красками. Часто вспоминаю Вас и представляю, как Вы сидите и подбираете краски, а краски на юге такие сочные, открытые, прямо прелесть. Что-то подделывает Шатан? Мне жаль, что сейчас он сидит в гнилом Петрограде. Будьте здоровы. Пишите в Одессу.

Ваш П. Волокидин.

Всякий раз читаю ваши рассказы, а то один раз мало.

А.А. Кипену
Одесса 7.V.1916 г.

Дорогой и милый Александр Абрамович! Получил Ваше письмо и очень ему обрадовался. Поклон Вам за него и привет, и воздушный поцелуй. А теперь посылаю письмо. Очень хотелось бы теперь повидаться с Вами, но утешаю себя мыслью, что не так много осталось до нашего свидания. В Херсоне я провел пасхальную и еще неделю, а потом переехал в Одессу. В Одессе, конечно, встретил всех собратьев-художников и посетил первый раз их "четверг", где встретил очень теплое внимание. Вел собрание художник Заузе¹³, который попросил меня поделиться впечатлениями о виденном за целый зимний сезон. Я просьбу исполнил охотно — рассказал о проведенном так хорошо и содержательно времени, о Кармене, которого все знают, об Окуневе¹⁴, которого знают мало, шел разговор о выставках, о художниках, о нашей поездке с Вами на юг, о Москве, о Серафимовиче, Шмелеве¹⁵ и Эрзе¹⁶ и обо всем подробно. И мой доклад закончился скандалом. Напротив меня сидел Бунин¹⁷, гостивший в это время в Одессе. Когда я кончил доклад, художники меня поблагодарили за сообщение, после этого художник Заузе обратился к Бунину: "Ну, теперь нам должен сообщить о литературе академик Бунин". Через пять минут Бунин поднялся и ни с кем не попрощавшись удрал с "четверга", оставив всех в недоумении. После этого пошли разговоры на эту тему. Пришли к заключению, что Бунин обиделся за то, что не его первого выслушали, а какого-то Волокидина, ему неизвестного. Художники и говорят, что наш Волокидин общил о нашем животрепещущем вопросе, об искусстве, потому мы и набросились на него первого. Или форма обращения, буквально Вам переданная, или еще что другое, но Бунин удрал и на другой день уехал из Одессы, где собирался до этого погостить несколько дней. Одним словом, поведение Бунина странно и тем более, что Бунина все знают, все его това-

рищи, знакомые и даже близко; принимая во внимание, как живут дружно всегда южнорусские художники между собой, как они относятся чисто товарищески к гостям своим, заглядывающим иногда в Одессу.

Много идет сейчас разговоров о городском музее картин. Общество изящных искусств до сих пор ведало этим музеем, потому что большинство картин принадлежит ему. Смотритель и хранитель этого музея выбирался из среды художников, но утверждался городом. Теперь дума намерена после Куровского¹⁸ назначить хранителем свое лицо, некоего Курочкина¹⁹, игнорируя Общество изящных искусств. Художники создали музей, собрали картины (около 200), устраивали в течение 25 лет выставки и вообще бескорыстно служили искусству. Город, т. е. деятели его, ничего не собрали, ничего не делали (городу принадлежит около 6-7 картин, и то подаренных). На искусство плевали, да трактирщики, кабатчики иначе и не могут поступать, и вдруг им пришла блажь пекся об искусстве? Но здесь не искусство, а просто при музее есть хорошая квартира, здание подарено городу... и нужно устроить своего человека, а что он не художник, что он ничего общего не имеет с искусством, на это наплевать. Это логика вообще всякой сволочи. Но художники запротестовали против такого произвола и решили из музея взять все картины и перенести их в школу рисования, где они и были до музея. Нашлись люди, пожертвовавшие уже большие суммы для постройки своего собственного здания и помещения для выставок²⁰. На нашей стороне оказались люди и других профессий, несут свое сочувствие и посильную помощь.

Передавал я, Александр Абрамович, художникам Ваш привет, говорил о выставке в Мелитополе. Говорили, что теперь очень трудно перевозить вещи и даже совсем нельзя. Но вы, Александр Абрамович, понимаете, в каком виде это сейчас, т. е. есть ли помещение и можно ли рассчитывать на посещение выставки публикой. Мне кажется, около 50 небольших картин можно будет доставить. Многие художники скоро разъедутся на лето по провинции на этюды²¹.

Я работаю все время, как трудно писать сирень. Я уже подходил к ней с разных сторон. И пришел к заключению, что нужно найти какой-то способ ее передачи. Природу, где она очень мелко представлена, как некоторые цветы, очень трудно передавать, вот почему — детально трудно, а может быть, не нужно... а обобщенно тоже не выйдет, и в этом, мне кажется, вся трудность. Нужно найти что-то среднее. Пишу портреты одной девицы и одной дамы. Написал этюд сирени, очень хороший именно по подходу к передаче. Кто видел — хвалили. Пишу этюды, одним словом, работаю во-

всю и при этом всегда вспоминаю дорогого Александра Абрамовича, что и он, наверное, тоже сидит где-нибудь и помалевывает. Сейчас самое лучшее время для этюдов. Вспоминаю о Шатане и сожалею о том, что он не видит той прелести, которую мы видим на юге. Тепло, много цветов, синее небо.

Пишите, дорогой Александр Абрамович, не забывайте. Видел в окнах магазинов в Одессе и первую, и вторую Ваши книги, значит и Вы живете тоже в Одессе.

Крепко Вас целую, шлю свой привет, пожелания много работать в литературе и живописи.

Ваш П. Волокидин.

¹ Имеется в виду благотворительная выставка-лотерея южнорусских художников в пользу жертв войны в ноябре-декабре 1914 г.

² Бодаревский Николай Корнилевич (1850-1921) — живописец.

³ С. К. — возможно, имеется в виду художник С.Ф. Колесников.

⁴ Б-й — возможно, имеется в виду художник И.И. Бродский.

⁵ Гулева Екатерина Павловна — живописец, участница выставки одесских "независимых" 1916 г.

⁶ Савинский Василий Евменьевич (1859-1937) — исторический живописец, портретист. Профессор, руководитель мастерской в Академии художеств в Петербурге.

⁷ Шатан Дмитрий Иванович (1886-1941) — живописец. В 1907-1916 гг. учился в Академии художеств.

⁸ Петровский Иван Владимирович (1880-1942) — живописец. В 1908-1915 гг. учился в Академии художеств.

⁹ Алексеев Василий Митрофанович (1881 — 19??) — живописец-пейзажист. В 1907-1915 гг. учился в Академии художеств.

¹⁰ Шовкуненко Алексей Алексеевич (1884-1974) — живописец, педагог. В 1909-1917 гг. учился в Академии художеств в мастерской В.Е. Савинского.

¹¹ Кармен, собств. Корнман Лазарь Осипович (1876-1920) — одесский журналист, писатель. С 1906 г. жил в Петербурге.

¹² Серафимович, собств. Попов Александр Серафимович (1863-1949) — русский писатель. Роман "Город в степи" был опубликован в 1912 г.

¹³ Заузе Владимир Христианович (1859-1939) — график.

¹⁴ Окунев Николай Львович (1886-1949) — историк искусства. В 1916-1917 — доцент Петербургского университета, с 1917 — профессор Новороссийского университета, с 1925 — профессор Пражского университета.

¹⁵ Шмелев Иван Сергеевич (1873-1950) — прозаик, публицист, мемуарист.

¹⁶ Эрзя, собств. Нефедов Степан Дмитриевич (1876-1959) — скульптор.

¹⁷ Бунин Иван Алексеевич (1870-1953) — писатель. В 1916 г. приехал в Одессу 25 апреля и находился здесь почти месяц.

¹⁸ Куровский Владимир Павлович (1869-1915) — художник-любитель. С 1898 по 1915 г. — хранитель Одесского городского музея изящных искусств.

¹⁹ Курочкин В. — закончил Строгановское училище. После упорной борьбы между одесскими художниками и властями города хранителем музея в 1917 г. был назначен художник К.К. Костанди.

²⁰ В мае 1916 г. одесские художники решили создать собственный музей. Так, член ТЮРХ художница Е.К. Петрокино "изъявила желание пожертвовать на постройку нового здания музея 10 тыс. рублей" (ГАОО. Ф. 367, оп. 1, ед. хр. 29).

²¹ Выставка одесских художников в Мелитополе не состоялась.

ЭТЮД

1936 г. Одесса. Каникулы. Август. Жара-а-а-а... Но меня это не страшит. Влюбленная в красу совершеннолетнего лета, блуждаю по окрестностям города, пишу этюды.

Забрела на I Христианское кладбище. Почему-то от входа повернула налево и пошла вдоль неширокой аллеи.

Знойная тишина над вечным покоем слегка смягчена тенью деревьев. Медленно продвигаясь вдоль захоронений, — разглядываю и читаю надписи.

Один из памятников особенно привлек мое внимание стройностью силуэта, гармоничностью пропорций, красотой деталей и тонко выраженным состоянием печали. Это было произведение искусства!

На высоком каннелированной колонке белого мрамора небольшая статуя молодой женщины, склонившей голову над вазой, на которую ниспадают поющие складки ее одежды.

Эта красивая печаль вызвала во мне желание запомнить, запечатлеть, унести изображенное.

Расположившись на широком обрамлении соседнего надгробья, — с увлечением начала писать, спеша за быстроизменяющимся светом. Вскоре на небольшой картонке возникла белая статуя, окруженная деревьями, роняющими тень вокруг нее. Освещение изменилось, опережая меня. Пора остановиться. Основное было запечатлено.

Еще взгляд с расстояния, еще два-три мазка, и все. Солнце катилось к небосклону, опаяя землю закатным жаром. Пора домой.

Постояла еще немного, любуясь печалью в мраморе. Затем, наклонившись с этюдником, — вдруг увидела, что он стоит на парапете надгробья К.К. Костанди! Параллельно же, против статуи, — надгробье Т.Я. Дворникова. А я, увлекшись статуей, не заметила этого вначале!

Желая избавиться от стыда и смущения, — стала утешать себя тем, что



хоть в конце увидела, рядом с кем писала. Не заметила я и того, что кладбище уже в состоянии разрушения. В 1934 г. могучие умы от "культуры" нашего города распорядились о сносе кладбища, на месте которого будет заложен "Парк культуры".

Распорядились и приступили к делу. Разрушали постепенно и долго. Никто протестовать не посмел. Такая была эпоха.

Кое-какие захоронения перенесли на II Христианское кладбище. Повезло в этом и останкам художников К.К. Костанди и Т.Я. Дворникова.

А сколько памятников замечательным одесситам варварски уничтожено! А были они произведениями искусства! Миновала жестокая война и связанные с ней события, печальные и трагические. В 1945 г. я вернулась домой, в Одессу.

В нашей квартире сохранились некоторые этюды, написанные до войны. Уцелел и этюд со статуей.

Затем все это долго лежало в папках, как и многое, что написано было позднее. Спустя несколько лет я познакомилась с коллекционером Л.В. Блещуновым. Однажды он пригласил меня, чтобы показать новую экспозицию своей коллекции. В маленькой проходной комнатке экспонировались фотографии и документы, относящиеся только к истории Одессы. В небольшой витрине — фотографии надгробий известных одесситов на I Христианском кладбище, которое давно уничтожено.

Узнав надгробье Кирьяка Константиновича Костанди, я рассказала А.В. Блещунову об этюде со статуей, хранящемся в моем архиве. Александр Владимирович просил этюд для его коллекции, и я, спустя некоторое время, подарила его музею им. Блещунова. Сперва этюд экспонировался как иллюстрация к истории города, потом он ушел в запасник.

Одессу и поныне не щадят невежественные толстосумы, лишенные самого большого богатства: чувства прекрасного, созданного в прошедшие времена талантливыми и щедрыми людьми, внесшими колоссальный вклад в культуру Одессы. И снова разрушителей трудно остановить! На Востоке, щадя старину, давно отделили Старый город от Нового. Не всякий "модерн" допустим в Новом городе, а Старый, тем более, неприкосновенен и должен быть окружен заботой и вниманием умных архитекторов и реставраторов. Для чего же и учреждена "охрана памятников старины"?!

Хранение памяти предков, — доказательство степени культуры потомков.

Экспрессивный абстракционист

Хорошо известно — каждый художник стремится воплотить мир собственных идей, а их творческой интерпретацией создать свой, пусть и субъективный, но образ бытия. Как правило, этот процесс растягивается на всю жизнь. Художественную же истинность его предположений способно оценить только время.

Живопись Эдуарда Павлова прошла это строгое испытание, и сегодня зрителю предоставлена удивительная возможность проследить ее путь в изобразительной практике Одессы, где стратегия качества была и остается основным показателем места художника в культурной судьбе города.

Талант Э. Павлова формировался и творчески мужал в 60-70 годы. Трудно обойти вниманием ощущение зрителя, которому посчастливилось тогда увидеть его первые работы. В них традиционный облик Одессы и ее неброских окрестностей приобрел неожиданную художественную форму и цветовое звучание. Мощные по фактурной насыщенности, декоративные по цвету пейзажи ломали созданные многолетней местной традицией стереотипы, а зритель созерцал родную природу уже с иной эмоциональной высоты. Если В. Синицкий воспел дачную прелесть Большого Фонтана, Ю. Егоров — эпическую красоту Каролино-Бугаза, то Э. Павлов — живописную грандиозность побережья и обрывов Крыжановки, ее знаменитых Лесков, где нередко собирались на пикники молодые тогда "модернисты".

И мир "мертвой природы" Э. Павлов открыл в несвойственном Одессе варианте. Он предпочел эпическое состояние натюрморта, где фрукты, драпировки, посуда приобретают ощущение "вечных вещей" — своеобразной метафоры бесконечности жизни и сильных эмоций.

Последнее десятилетие художник увлечен абстракцией — явление, конечно же, закономерное. Познав живописную логику реальности, Э. Павлов пришел к формотворчеству, усложняя живописные задачи и процесс образного мышления. В нем задействованы не только определенные визуальные критерии, но и ассоциативные — звук, движение, знаковость, символ. Абстракция — собственная реальность, с которой пришлось столкнуться и Э. Павлову. Ее канонические признаки, рожденные XX веком, отобраны в особую систему, живописная конструкция которой самодостаточна по форме и точке отсчета. Но, если при-

смотреться внимательней, то истоки абстрактных идей Павлова — в экспериментах Сезанна, который стремился "уйти дальше от впечатления естественной жизненности". Э. Павлов ищет и находит новую форму в самом объекте. Он переносит его центр тяжести в плоскость, организует изображение цветом, разлагает объем и пространство на сложные геометрические конфигурации, максимально "озвучивая" их эмоциональную связь. Что ж, художник, волен на любой эксперимент и форму самовыражения. Именно они, профессионально осмысленные и проверенные многолетним опытом, дают право говорить о нем как о яркой и значимой личности в современной одесской живописи.



Нью-Йоркское шампанское с одесским привкусом

Принято считать, что вино — вообще французский напиток, и поэтому лучше пить его в оригинальном, так сказать, исполнении. Из французских вин, могу поспорить, вы всем предпочитаете — мерло, потому что оно самое мягкое. Благодаря этому свойству самое паршивое мерло лучше средней паршивости каберне. И вы, конечно, знаете, что самое лучшее шампанское — "Вдова Клико", да еще "Кристалл", которое один раз пил начальник вашего лечащего врача на именинах у министра здравоохранения.

Что, если я вам скажу, что некоторые американские вина побеждают французские на международных конкурсах? Поверите ли вы, что одни из лучших вин в стране производятся совсем не в Калифорнии, а на севере штата Нью-Йорк? Уложится ли у вас в голове, что виноделие в этих местах достигло нынешнего расцвета благодаря одесситу, приехавшему в США в 1951 году?

Все это именно так, и вот уже несколько лет в последних числах октября, когда деревья надевают многоцветный убор, я отправляюсь с женой из Бруклина в район, именуемый Фингерлейкс, чтобы до упора забить багажник своего "Бьюика" ящиками любимого вина, которое не купить в соседнем винном магазине.

Несколько слов о самом районе. В доисторические времена проползший по этим местам гигантский ледник вспорол земную поверхность, оставив борозды, впоследствии заполнившиеся водой. Так возникли Пальчиковые озера. Почему Пальчиковые? Тот, кто составлял карту, явно обладал образным мышлением и увидел в череде длинных озер отпечаток руки Бога, которому так понравилась эта земля, что он решил коснуться ее.

На южном берегу одного из самых больших озер — Каюги — стоит очаровательная Итака со знаменитым Корнеллским университетом. В нем работал наш знаменитый соотечественник Владимир Набоков. Но я гоню машину дальше на северо-запад по 17-й дороге к озеру Киюка, которое на карте выглядит кривой рогаточкой. Здесь жил еще один наш человек, чье имя вошло в историю американского виноделия так же прочно, как имя Набокова в литературу. По западному берегу Киюки, чуть выше

городка Хаммондспорта, сбегает виноградники винодельческой компании доктора Константина Франка. Это — конечная цель моего пути. Здесь живет мой герой — 76-летний сын доктора Франка и дважды мой земляк Вилли Франк с женой, детьми и внуками — виноделами.

Доктор Константин Франк окончил отделение виноделия Одесского сельхозинститута и до войны работал в винсовхозе на Днепре. Сын доктора — Вилли — вспоминает, что совхоз был в селе Трубецком возле Борисполя, что отец изобрел особый плуг для вспашки земли на виноградниках, которым пользуются по сей день, что о нем как о новаторе писали советские газеты, и мы можем предположить, что докторская степень была получена Константином Франком на основании его практических изысканий в области виноделия.

Все это было до войны. Когда немцы оккупировали Украину, многие колхозы и совхозы продолжали работу — оккупационную армию нужно было кормить, и, видимо, совхоз под началом доктора Франка был одним из уцелевших. Мы можем предположить, что влюбленный в свое дело Константин Франк не мог бросить на произвол судьбы виноградники, которые были делом его жизни.

Любое обобщение обречено на ошибку, и мы знаем, что не все немцы вели себя так, как в советских художественных фильмах. Незадолго до отступления офицер, который наезжал в совхоз Константина Франка, предложил ему эвакуироваться с уходящей немецкой армией. Доктору дали на сборы 15 минут. Потерявший двух братьев в годы сталинских чисток, прекрасно понимающий, что любовь к своему делу будет истолкована вернувшейся властью как предательство, Константин Франк взял супругу Евгению и сына Вилло и отбыл на Запад.

После войны Вилли окончил Нюрнбергский университет, а в 1951 году семья, воспользовавшись приглашением дальних родственников, переехала в США. Поселились в Нью-Йорке, в украинском Ист-Вилледже. Константину Франку было тогда 54 года.

"Папа не знал английского и пошел в ресторан мыть посуду, а я кое-как говорил по-английски, и меня взяли на должность лифтера", — вспоминает Вилли Константинович.

Со временем Вилли нашел работу фотографа в газете, а отец мучительно искал возможность вернуться к виноградарству. Ближайший от города Нью-Йорка виноградарский район находился в районе Пальчиковых озер. Взяв жену, он поехал туда. Его первой остановкой стала исследовательская станция факультета виноделия Корнеллского университе-

та. Она находилась в городке Джинива, что на северной оконечности Сенеки. Все, что могли предложить доктору виноделия, знавшему шесть европейских языков, но едва объяснявшемуся по-английски, это работу уборщика. Он принял ее, вынашивая в глубине души мечту — начать здесь собственное дело.

Отвлечемся на минуту от биографии Константина Франка и объясним следующее. Виноделие в Америке существует три сотни лет, и среди тех, кто развивал его, был один из отцов-основателей США Томас Джефферсон. Человек с великолепным образованием и воспитанием, служивший послом во Франции, Джефферсон вернулся домой с мечтой начать производить вино, которое было бы не хуже французского. Но проблема заключалась в том, что в Америке рос только свой виноград — витис лабруска. Европейские виноделы пользовались сортами витис винифера. Только из них можно было производить рислинг и шардоне, геверцтрамайнер и пино нуар, каберне совиньон и, наконец, — шампанское.

Американцы культивировали сорт, который назывался ниагарой — аналог хорошо знакомой на юге Украины изабеллы. Специалисты иронически отзываются о нем как о виноградном компоте с небольшим добавлением водки.

Попытка Джефферсона провалилась. Когда пожилой уборщик Константин Франк пытался втолковать начальству, что его идея совсем не такая безнадежная, как кажется, от него только отмахивались. Ссылаясь на опыт Джефферсона, начальники упускали из виду, что Джефферсон был дипломатом и законодателем, а не виноделом.

Главный довод оппонентов Константина Франка сводился к следующему — американский климат слишком холодный для европейских сортов винограда. Франк говорил: "Я растил виноград на Украине, где зимой плевков замерзал еще до того, как падал на землю".

У Константина Франка был еще один довод — он ехал на Пальчиковые озера, поскольку это оказался самый близкий к городу Нью-Йорку виноградарский район. Но, прибыв сюда, он обнаружил, что в озерном краю свой уникальный микроклимат. 200-метровой глубины Сенека не замерзало никогда. Киюка, глубина которого составляет 70 метров, замерзало считанные разы.

Когда Константин Франк оказался в Джиниве, здесь было 19 винодельческих компаний, в том числе известная своим дешевым портвейном "Тэйлор". Марка эта существует по сей день, хотя сама компания давно

покинула рынок, оставив на память о себе лишь название убойного напитка, да еще прекрасный каменный дом старика Тэйлора на берегу Киюки, в котором теперь живет Вилли Франк.

В один прекрасный день на джинивской научной станции появился владелец местной винодельческой компании "Голд сил виньярдз" Чарльз Фурнье. Прекрасно владевшего французским Константин Франка как прорвало. Он сыпал научными доводами, заваливал собеседника ссылками на собственный практический опыт, сразил его своей эрудицией. Фурнье нанял Франка, как говорится, не сходя с места. Вскоре неугомонный украинец засадил виниферой более 100 акров земли Фурнье. Забегая на 40 лет вперед и оставляя далеко позади ухмылки скептиков, скажем, что сегодня на берегах Пальчиковых озер успешно действуют 160 винодельческих компаний!

Спросите, так почему же мы о них ничего до сих пор не слышали, черт подери?!

А потому, что местные виноделы поняли простую истину: там, где массовое производство, там нет качества. Поэтому все, что они производят, раскупается тут же на месте. Когда я сообщил выше, что возвращался в Нью-Йорк с багажником, битком набитым ящиками вина, я был только одним из тысяч автомобилистов со всей страны, в уикэнды паркующих машины у местных виноделен. Когда едешь издалека, нет резона покупать вино бутылками — только ящиками. Благодаря этому у здешних виноделов не стоит проблема со сбытом, даже с транспортировкой своей продукции. Впрочем, если вам лень ехать в такую даль, то и в Нью-Йорке есть несколько мест, где можно купить вино доктора Франка, особенно его знаменитый Джохенигсбергский рислинг. Одно из них — ресторан гостиницы "Уолдорф-Астории". Есть еще несколько заведений: "Ле серк 2000" и "Файрберд". Будете там, непременно закажите бутылочку!

В начале 60-х мечта Константина Франка сбылась — он стал владельцем собственного участка земли на западном берегу Киюки, открыв фирму "Vinifera Wine Cellars" — "Винные погреба виниферы". Сейчас имя Франка в этих местах — символ самого высокого качества и... толики безумия, без которого невозможно добиться такого ошеломительного успеха.

Вилли рассказывает, что стареющие отец с матерью на своих плечах тянули хозяйство, в то время как у него был свой бизнес, далекий от виноделия, — он жил в Квинсе и работал торговым представителем извест-

ных фотографических компаний. Над виноградниками, с которых начался переворот в местной экономике и истории виноделия, нависла угроза запустения. Вилли с женой, чтобы поддерживать дело отца, ездили сюда по выходным. Семь часов в одну сторону и через день — семь часов в обратную.

В 1984 году Вилли переехал в Хаммондспорт, возглавив "Винные погреба виниферы". В 1985 году Константин Франк умер.

По воскресеньям винные магазины в штате Нью-Йорк закрыты. Но несколько десятилетий назад легислатура приняла специальный закон, позволяющий виноделам открывать по выходным свои дегустационные. Дегустационная Франка находится на высоком берегу Киюки. Из окна открывается потрясающий вид на озеро и лежащие за ним холмы, напоминающие в осенние дни цветное покрывало.

Для гостя из газеты Вилли Константинович открывает только непочатые бутылки. Он считает, что постоявшая бутылка, с которой уже снимали пробу, теряет часть букета. На очереди — ркацителы — название, знакомое с юности. Но в США Вилли Франк — первый, начавший коммерческое производство этого вина. Во всех статьях о вине в специальных изданиях обязательно пишется, как правильно произносить непривычное для англоязычного уха — эр-ка-ци-тэ-ли.

В моей студенческой юности это вино благодаря фонетическим особенностям названия и, не в последнюю очередь — своим вкусовым качествам, получило жутко похабное прозвище — раком к цели. Его пили именно мы — студенты. Когда я пригубляю ркацителы Франка, первая реакция — "невозможно!" Мне, не специалисту, незнакома лексика винных критиков, поэтому приходится обходиться лишь общими словами, кое-как передающими восторг, когда после первого глотка весь организм восторженно кричит: "Давай еще!".

Вилли Константинович, глядя на меня, довольно смеется: "Секрет очень простой — чем меньше винограда ты собираешь с акра, тем лучше вино. Тот, кто гонится за валом, никогда не получит качества. Да мы и не стремимся стать миллионерами за один год!".

Он рассказывает о других секретах своего ремесла. Дубовые винные бочки он завозит из Франции. Почему? Разве в Америке нет своего дуба? Есть, конечно. 80 пород. Но американский дуб придает вину жесткость, а французский — нет. После трех использований бочки разбирают, продают и покупают новые. Европейские технологии соблюдаются с той же строгостью, с какой ортодоксы соблюдают Моисеевы заветы.

Вилли Франк отказался от выведения 60 сортов винограда, которые выводил отец, и сосредоточился на 15. Ркацителы сегодня — его любимец. Итог — десятки золотых медалей на самых престижных международных конкурсах. Дважды его рислинг получил титул "Лучшего рислинга Нового Света".

В номере престижного журнала "Wine Spectator", отмечающего 25-летие своего выхода в свет, издатели публикуют краткие данные о виноделах, которых они внесли в собственный Список Славы. Доктор Константин Франк разделит страницу со всемирно знаменитым французским производителем боже Жоржем Дюбо.

Гордость Вилли Франка — его шампанское. Он ведет нас в подвал старого тейлоровского дома, как в святую святых. Нам открываются стены бутылок, в которых зреет вино. Именно в бутылках, а не в больших канистрах должны вызреть шампанские пузырьки. Посреди подвала — наклонные щиты с сотнями бутылок. Ежедневно хозяин лично вращает каждую из них в полном согласии с методом шампенауаз.

"А что вы удивляетесь? — говорит он. — Я же сумасшедший! Для меня шампанское — вызов моему мастерству. Можете назвать это наваждением, страстью, болезнью, но я хочу получить качество, и я его получаю".

Вилли Константинович смеется с легкостью человека, любящего свое дело и довольного плодами работы. Он высок, широкоплеч, энергичен и, как видно, именно в постоянной работе на свежем воздухе черпает завидное здоровье.

"Французы ненавидят меня, — признается он. — Они считают, что шампанское делают только они. Но на международных конкурсах, где критики дегустируют вино вслепую, мое часто принимают за французское".

Хозяин вспоминает американскую поговорку: "Если оно ходит, как утка, крикает, как утка и имеет вкус утки, то какой смысл называть это вороной?".

Франк называет своего ближайшего соперника — французскую компанию "Боллингер" и за ней — "Вдову Клико".

Доказательством тому, насколько это сопоставление правомерно: золотая медаль, которую на международном конкурсе в Торонто "Боллингер Гранд Анна 1985 года" разделила с "Шато Франк Брют".

Пересчитывать все медали за шампанское Франка и его вина — только утомлять читателя. Завершу на том, как Вилли Константинович под-

водит меня к стене, где висит письмо из Белого дома с благодарностью за несколько ящиков "Шато Франк Брют". Его заказали у Франка для обеда по случаю встречи президента с губернаторами штатов и территорий. Рислинг доктора Франка попал в меню обеда президентов Клинтона и Ельцина.

"Согласитесь, когда твое шампанское заказывают для Белого дома, это уже кое-что да значит!" — говорит Вилли Франк.

Я соглашаюсь. В одном из привезенных из Хаммондспорта ящиков у меня стоит несколько бутылок "Шато Франк Брют". Один из новогодних тостов я уже привычно поднимаю за долголетие и процветание своего земляка.

Нью-Йорк



Восточное сердце Марьяны Garonenko

То, что заголовок этих заметок — билингва, вполне закономерно. Наша землячка, о которой идет речь, известна за рубежом больше, чем в родном городе. Достаточно ввести ее типично украинскую фамилию, написав ее латинскими буквами, в поисковую систему Интернета, как тут же появятся ссылки — на стихи, эссе Марьяны Гапоненко в элитарных журналах и сборниках Германии и Австрии, на статьи о ней, принадлежащие перу ведущих критиков немецкоязычных стран.

Достаточно, к примеру, привести цитату из статьи Норберта Штернмута: "Вряд ли найдется литературная газета, в поэтическую антологию которой не вошли бы стихи Марьяны Гапоненко". И далее — его прогноз: "В недалеком будущем она станет одним из крупных лириков". Мнение Штернмута важно еще и потому, что он входит в состав академического жюри, избравшего именно 21-летнюю одесситку "Городским писателем" Граца на 2003 год. Переоценить значение данного выбора трудно: именно этот старинный австрийский город стал по решению ЮНЕСКО очередной Культурной столицей Европы. Насколько мне известно, Марьяна — единственная из граждан Украины, удостоившаяся подобной чести.

Ранее, в 2001-м, она стала одной из трех победителей конкурса "Немецкий языковой мир", и в 19 лет была наречена "Автором года". А первую немецкую стипендию получила в 16 лет в Регенсбурге, где стала третьим призером на поэтической олимпиаде — стихи в Баварию послала на свой страх и риск...

— Что же вы, Марьяна, обязаны делать, чтобы "отработать" грант, выделенный вам как городскому писателю Граца? Быть может, станете его летописцем или автором речей для обербургомистра?

— Буду продолжать свое занятие — писать стихи.

А еще ей предстоит сдавать экзамены на 4-м курсе факультета романо-германской филологии Одесского национального университета. Скажем прямо, Марьяна — не отличница, но декан, профессор Лидия Николаевна Голубенко, гордится ею, справедливо полагая, что студентка Гапоненко не только обладает незаурядным поэтическим дарованием, но и прославляет своим творчеством и Одессу, и Alma mater — университет.

Любопытно, что в семье Марьяны не было ни поэтов, ни лингвистов, да и училась она не в специализированной языковой, а в обычной школе. Стихов на русском языке никогда не писала, да и сейчас не пишет — лишь переводит свои с немецкого. Мечтает со временем создать журнал, в котором печатались бы ее переводы стихов русскоязычных поэтов на немецкий.

Искушенные читатели и специалисты отмечают в ее поэтических строках не просто

водит меня к стене, где висит письмо из Белого дома с благодарностью за несколько ящиков "Шато Франк Брют". Его заказали у Франка для обеда по случаю встречи президента с губернаторами штатов и территорий. Рислинг доктора Франка попал в меню обеда президентов Клинтона и Ельцина.

"Согласитесь, когда твое шампанское заказывают для Белого дома, это уже кое-что да значит!" — говорит Вилли Франк.

Я соглашаюсь. В одном из привезенных из Хаммондспорта ящиков у меня стоит несколько бутылок "Шато Франк Брют". Один из новогодних тостов я уже привычно поднимаю за долголетие и процветание своего земляка.

Нью-Йорк



Восточное сердце Марьяны Garonenko

То, что заголовок этих заметок — билингва, вполне закономерно. Наша землячка, о которой идет речь, известна за рубежом больше, чем в родном городе. Достаточно ввести ее типично украинскую фамилию, написав ее латинскими буквами, в поисковую систему Интернета, как тут же появятся ссылки — на стихи, эссе Марьяны Гапоненко в элитарных журналах и сборниках Германии и Австрии, на статьи о ней, принадлежащие перу ведущих критиков немецкоязычных стран.

Достаточно, к примеру, привести цитату из статьи Норберта Штернмута: "Вряд ли найдется литературная газета, в поэтическую антологию которой не вошли бы стихи Марьяны Гапоненко". И далее — его прогноз: "В недалеком будущем она станет одним из крупных лириков". Мнение Штернмута важно еще и потому, что он входит в состав академического жюри, избравшего именно 21-летнюю одесситку "Городским писателем" Граца на 2003 год. Переоценить значение данного выбора трудно: именно этот старинный австрийский город стал по решению ЮНЕСКО очередной Культурной столицей Европы. Насколько мне известно, Марьяна — единственная из граждан Украины, удостоившаяся подобной чести.

Ранее, в 2001-м, она стала одной из трех победителей конкурса "Немецкий языковой мир", и в 19 лет была наречена "Автором года". А первую немецкую стипендию получила в 16 лет в Регенсбурге, где стала третьим призером на поэтической олимпиаде — стихи в Баварию послала на свой страх и риск...

— Что же вы, Марьяна, обязаны делать, чтобы "отработать" грант, выделенный вам как городскому писателю Граца? Быть может, станете его летописцем или автором речей для обербургомистра?

— Буду продолжать свое занятие — писать стихи.

А еще ей предстоит сдавать экзамены на 4-м курсе факультета романо-германской филологии Одесского национального университета. Скажем прямо, Марьяна — не отличница, но декан, профессор Лидия Николаевна Голубенко, гордится ею, справедливо полагая, что студентка Гапоненко не только обладает незаурядным поэтическим дарованием, но и прославляет своим творчеством и Одессу, и Alma mater — университет.

Любопытно, что в семье Марьяны не было ни поэтов, ни лингвистов, да и училась она не в специализированной языковой, а в обычной школе. Стихов на русском языке никогда не писала, да и сейчас не пишет — лишь переводит свои с немецкого. Мечтает со временем создать журнал, в котором печатались бы ее переводы стихов русскоязычных поэтов на немецкий.

Искушенные читатели и специалисты отмечают в ее поэтических строках не просто

поразительное чувство немецкого языка, но и погружение в ту его мистическую составляющую, которую Александр Блок назвал пугающе и прозорливо: "Сумрачный германский гений".

Вспомним и переиначим другого поэта — Михаила Светлова:

— Откуда, Марьяна, немецкая грусть?

Почему шестнадцатилетняя одесская девочка вдруг решила доверить подспудные, самые потаенные чувства именно этому языку?

— Раньше я об этом не задумывалась. Объясняла и себе, и другим (и это было правдой): в школе мне легче учить язык, запоминать новые слова, выстраивая их ИМЕННО ТАК, в особом ритме... А сейчас могу сделать и более серьезный вывод. Мне хотелось думать по-иному, и эту возможность давал именно немецкий язык.

Марьяна считает его мужским, в то время как славянские — как бы женские. В этом нет оценки — лишь ощущения... Признается, что свою вторую сущность ей удастся выразить лишь на языке Гете и Шиллера, хотя не называет их любимыми авторами... В немецкую поэзию вовлек ее Пауль Целан — поэт трагической судьбы, о котором у нас мало что известно. Полунемец-полуеврей, уроженец Буковины, он в конце 30-х попал в Германию, где чудом уцелел, но все его близкие погибли в фашистском концлагере. Да и сам Целан не долго прожил после окончания войны... Стихи его — на грани отчаяния и надежды, необыкновенно и лиричны, и искренни.

Немецкие критики отмечают именно исповедальный и чувственный характер поэзии молодой одесситки. "Ее тексты, — пишет Александр Глюк, — иногда — как темный яд, наполненный страстью и мраком..." Редактор журнала "Erosterpost" Курт Вельфенгзедер пишет о "восточном сердце" Марьяны...

А между тем она вовсе не напоминает отвязанную "роковую" поэтессу, обуреваемую страстями. На вид — симпатичная одесская девушка с привычным и обыденным кругом приоритетов. Не только разных "фенечек", но даже джинсов не носит и от этого выглядит не богемно, а и чуть буржуазно. Но вот "эти черные глаза", унаследованные то ли от отца-армянина, то ли от матери-украинки... Впрочем, за поэта говорят стихи — и вы в этом сейчас убедитесь.



На этом снимке — Марьяна и издатель Эрик Мартин, впервые опубликовавший в Германии стихи 16-летней одесситки.

Разговор под землей

Были бы у меня глаза,
я б не закрыла их перед солнцем.

Было бы сердце у меня,
как высоко я бы его кинула!

Мои волосы снова бы пахли!

А мои маком!

А я бы свои расчесала
самой легкой рыбной костью.

Я — невеста.
почему не развеваются мои волосы?

Я родом с моря.
Когда я родилась, матушка смеялась, проклиная смерть,
и десять тысяч кошек города гнали сентябрь прочь,
на бегу разрывая его трепетный плащ.

Сентябрь исчезает каждый раз, когда он появляется.
Он не виноват, что у него трепетный плащ.

Он мне сказал: "В моем кармане достаточно места для тебя,
девчонка. Я заберу тебя как верный слуга,
вырву тебя из лап твоего танца. Навсегда.
Ты только подумай обо мне!"

Сентябрь кладет мне на порог каштаны и дремлющих кошек.
Нетерпеливый знак.

Матушка старится и берет молоко из моих рук.
"Все возвращается", — смеется она сквозь слезы.

поразительное чувство немецкого языка, но и погружение в ту его мистическую составляющую, которую Александр Блок назвал пугающе и прозорливо: "Сумрачный германский гений".

Вспомним и переиначим другого поэта — Михаила Светлова:

— Откуда, Марьяна, немецкая грусть?

Почему шестнадцатилетняя одесская девочка вдруг решила доверить подспудные, самые потаенные чувства именно этому языку?

— Раньше я об этом не задумывалась. Объясняла и себе, и другим (и это было правдой): в школе мне легче учить язык, запоминать новые слова, выстраивая их ИМЕННО ТАК, в особом ритме... А сейчас могу сделать и более серьезный вывод. Мне хотелось думать по-иному, и эту возможность давал именно немецкий язык.

Марьяна считает его мужским, в то время как славянские — как бы женские. В этом нет оценки — лишь ощущения... Признается, что свою вторую сущность ей удастся выразить лишь на языке Гете и Шиллера, хотя не называет их любимыми авторами... В немецкую поэзию вовлек ее Пауль Целан — поэт трагической судьбы, о котором у нас мало что известно. Полунемец-полуеврей, уроженец Буковины, он в конце 30-х попал в Германию, где чудом уцелел, но все его близкие погибли в фашистском концлагере. Да и сам Целан не долго прожил после окончания войны... Стихи его — на грани отчаяния и надежды, необыкновенно и лиричны, и искренни.

Немецкие критики отмечают именно исповедальный и чувственный характер поэзии молодой одесситки. "Ее тексты, — пишет Александр Глюк, — иногда — как темный яд, наполненный страстью и мраком..." Редактор журнала "Erosterpost" Курт Вельфенгзедер пишет о "восточном сердце" Марьяны...

А между тем она вовсе не напоминает отвязанную "роковую" поэтессу, обуреваемую страстями. На вид — симпатичная одесская девушка с привычным и обыденным кругом приоритетов. Не только разных "фенечек", но даже джинсов не носит и от этого выглядит не богемно, а и чуть буржуазно. Но вот "эти черные глаза", унаследованные то ли от отца-армянина, то ли от матери-украинки... Впрочем, за поэта говорят стихи — и вы в этом сейчас убедитесь.



На этом снимке — Марьяна и издатель Эрик Мартин, впервые опубликовавший в Германии стихи 16-летней одесситки.

Разговор под землей

Были бы у меня глаза,
я б не закрыла их перед солнцем.

Было бы сердце у меня,
как высоко я бы его кинула!

Мои волосы снова бы пахли!

А мои маком!

А я бы свои расчесала
самой легкой рыбной костью.

Я — невеста.
почему не развеваются мои волосы?

Я родом с моря.
Когда я родилась, матушка смеялась, проклиная смерть,
и десять тысяч кошек города гнали сентябрь прочь,
на бегу разрывая его трепетный плащ.

Сентябрь исчезает каждый раз, когда он появляется.
Он не виноват, что у него трепетный плащ.

Он мне сказал: "В моем кармане достаточно места для тебя,
девчонка. Я заберу тебя как верный слуга,
вырву тебя из лап твоего танца. Навсегда.
Ты только подумай обо мне!"

Сентябрь кладет мне на порог каштаны и дремлющих кошек.
Нетерпеливый знак.

Матушка старится и берет молоко из моих рук.
"Все возвращается", — смеется она сквозь слезы.

Я растолкала дождь.
Я кормила дождь
монетами в открытый рот,
пока он не закричал: "довольно!".
Так ты родился,
ласковый волк.

О, какой ты большой!
Как легки шаги,
которыми ты пришел!
Ляг ко мне!

Мы будем качать колыбель,
в ней задремавшую старость,
старость, стареющую без нас.



Как странно. Ты назвал
падающие звезды
уставшими лебедями.

На ресницах повисло
слабое тельце дождя.
Сорвалось в горячие ладони.

В момент, когда пустой
кувшин лопнул от тоски,
ребенок ребенку протянул
золотое яблоко.

Лейпцигский художник
Михаэль Бломмель
создал графический цикл
по мотивам стихов Марьяны.

Друг

Когда я проснулась, окно было открыто и дождь, закутанный в старые бабушкины шторы, как невеста заглядывал в комнату. Пианино намокло и заблестело, и упрекнуло меня: "Я такое красивое пианино, а ты все еще не умеешь играть!". Дождь глубже шагнул в комнату. Его звук... Я думаю о щедрых монетах, кинутых на стол. Таков дождь в конце мая.

Мужчина сидел в кресле лицом к окну и пил из моей чашки. Дождь капал на него и на его утреннюю газету. Он читал и раскачивал тапочкой из стороны в сторону. Я спросила себя, что если бы я проснулась, и этого мужчины не было бы. Я бы позавтракала, села за стол и стала писать. "Дорогой дневник, сегодня идет дождь". Или что-то подобное.

"Доброе утро", сказала я, и он обернулся. Увидев меня, он еще быстрее закачал тапочкой из стороны в сторону. "Как там экономика?", спросила я. Сразу же он посадил меня к себе на колени и начал рассказывать. Дождь слегка по нам забарабанил. Его тапочка упала на пол, пока он говорил: банкиры... господин А. умер... ты вообще знаешь, что такое инфляция... пошлина, страшная чепуха и т. д. ... Где-то на улице закричали коты. "Ужас", подумала я. "Когда они дерутся, они как сумасшедшие валяются в саду и ломают цветы".

Он все рассказывал и рассказывал. Прихлебывал время от времени из моей чашки и ставил ее обратно на край пианино. Я увидела три седых волоска в его волосах. Я увидела, как дождь отступает и спешит по крышам в другие города, как я в зеркале сижу на коленях мужчины и глажу его по волосам, как дневник мой сам себя безнадежно листает.



Это была злая ночь. Я придумывала тебя, и имя тебе давала: о мой темный сладкий зверь!
В такие ночи палач пробегает под каждым окном, круглый как крик, и собирает бессонных на рыночной площади, и учит всех нас спать. Мы стоим в кругу как сумасшедшие гордые короли. Одежды наши — это гнезда, где ночует ветер, это была злая ночь. Я присоединилась к зевающим улицам и кралась вместе с ними от дома к дому — я присоединилась к беспокойному дыханию ребенка, к следящим материнским глазам, к хрустальной молитве умирающего, к молчанию, в котором я слышала, как ты бормотала старуха любовь...

Авторизованный перевод с немецкого

ПУБЛИКАЦИИ

Марк СОКОЛЯНСКИЙ
"Радость многолетнего общения" 250

Семен ВАЙНБЛАТ
Двадцать пять лет
и "Всего тринадцать месяцев" 271

"Радость многолетнего общения"

(Письма С.Я. Борового Л.П. Гроссману)

12 ноября 2003 года исполняется сто лет со дня рождения нашего земляка, видного отечественного историка Саула Яковлевича Борового (1903-1989), имя которого хорошо известно в гуманитарно-научных кругах. К его трудам уже много лет обращаются специалисты в разных областях знания, и это вполне закономерно: поразительно широким был диапазон научных исследований профессора Борового. В поле его интересов находились такие науки и научные дисциплины как этническая, экономическая и аграрная история, библиология и краеведение, история культуры, литературоведение... Совокупность опубликованных трудов юбиляра впечатляет не только с количественной, но и с качественной стороны. Многие из них, отмеченные источниковедческой основательностью, широким охватом материала и остротой мысли, получили заслуженное признание коллег в разных странах мира. Прежде всего, это книги: "Еврейская земледельческая колонизация в старой России. Политика, идеология, хозяйство, быт" (Москва, 1928), "Кредит и банки России: середина XVII в. — 1861 г." (Москва, 1958), "Гибель еврейского населения Одессы во время фашистской оккупации" (Киев, 1991), "Воспоминания" (Москва; Иерусалим. 1993/5753) и др.

Один из двух, пожалуй, самых крупных историков, трудившихся в Одессе в прошлом веке, С.Я. Боровой принадлежал к числу потомственных одесситов. В ноябре 1983 г., на пороге своего восьмидесятилетия, давая, как сказали бы сегодня, эксклюзивное интервью журналисту Евгению Голубовскому для "Вечерней Одессы", профессор с гордостью поведал: "Предки мои поселились в этом городе 175 лет тому назад". Прожив почти всю свою жизнь в Одессе (лишь последние три года провел он в Москве, но похоронен был в одесской земле), Саул Яковлевич пронес через многие годы непреходящую влюбленность в родной город, питал постоянный интерес к его истории, размышлял о его настоящем и будущем. Об Одессе им написано и опубликовано немало солидных работ. Оглядываясь на академическую разработку истории Одессы исследователями XX века, можно смело сказать, что в этом ряду С.Я. Боровому по праву принадлежит первое место.

Жизнь, мягко говоря, не слишком благоволила ученому. Достаточно вспомнить, как в начале 1953 г. был он как "безродный космополит" изгнан из своего института (хотя без него не оставалось там специалистов высшей квалификации), подвергался травле в местной печати, лишь чудом избежал ареста. Обладая громким научным именем, никогда не был востребован историческим факультетом университета (как, кстати говоря, в разные годы не потребовались филологическому факультету выдающиеся литературоведы М.П. Алексеев и Л.П. Гроссман), ни разу не выезжал за рубеж на конференции или симпо-

зиумы, приглашения на которые доставлялись адресату — по понятным причинам — с большим опозданием, не пользовался никакими "дарованными властью" привилегиями или льготами.

Зато щедро одарила судьба профессора Борового знакомством и дружбой со многими замечательными людьми из научного и литературного мира. К их числу, несомненно, относится эрудированный и тонкий литературовед, а к тому же превосходный писатель, профессор Леонид Петрович Гроссман (1888-1965). Уроженец Одессы, он в этом городе начал свою литературную и научную деятельность; здесь увидели свет его первые книги. После переезда в Москву, в начале 1920-х гг., он не порывал связей с Одессой. Знакомство Борового с Гроссманом относится как раз к последнему году жизни Леонида Петровича в черноморском городе.

В своих "Воспоминаниях" (изданных посмертно) С. Боровой признавался, что поначалу Л.П. Гроссман был для него, еще выбиравшего профессиональную стезю, не только старшим по возрасту и опыту, но и в чем-то странным, не совсем понятным человеком. Однако вскоре некоторое непонимание уступило место признанию, душевному и духовному тяготению, которое оказалось взаимным и переросло в настоящую дружбу. Между литературоведом и историком продолжались эпистолярные контакты, встречались они многожды и в Москве, и в Одессе.

Когда на рубеже 1987-88 гг. Пушкинская научная комиссия совместно с библиологической секцией одесского Дома ученых проводили заседание, посвященное близившемуся столетию со дня рождения Л.П. Гроссмана, живший тогда в Москве С.Я. Боровой прислал несколько страниц воспоминаний о покойном друге. Эти воспоминания были зачитаны на заседании и частично опубликованы в пригласительном билете. Позволю себе привести избранные места из этих записок, дающие представление о специальных интересах, поисках и ценностных ориентациях как героя, так и автора цитируемых меморий:

[...] Я благодарен судьбе, которая подарила мне радость многолетнего общения с человеком такого высокого строя, каким был и навсегда останется в моей памяти Леонид Петрович Гроссман.

[...] Он сохранял изысканную вежливость в общении с людьми, независимо от их общественного статуса [...] Он сохранил рыцарскую верность определенным, сложившимся еще в юношеские годы моральным принципам, сочетавшуюся с детской наивностью, непониманием обыденной житейской практики. Чем дальше, тем я больше убеждался в этом. А жизнь его не баловала, и часто возникали "проблемы", зачастую порожденные спецификой исторической обстановки [...].

Беседы с Леонидом Петровичем шли всегда на "высокой ноте", никогда не опускались до обывательских пересудов, до передачи околосредовых сплетен. Он всегда очень уважительно и доброжелательно отзывался о людях, имена которых всплывали в разговоре. Даже о людях, враждебно к нему относившихся, говорил сдержанно, пытаясь

найти аргументы в их оправдание. В этом особенно ярко проявлялась рыцарственность его натуры.

Общение с Леонидом Петровичем многому учило, в том числе и высокой ответственности в выполнении своих общественных либо профессиональных обязанностей. Не скрою, меня удивляло, когда он говорил: "Сегодня мы не сможем встретиться, так как завтра у меня лекция в институте". А речь шла об очередной лекции в своем институте, и говорил это опытный и талантливый лектор, оратор милостью божьей, эрудит.

Вспоминаю последнюю встречу с Леонидом Петровичем. Он лежал прикованный тяжелой болезнью к постели. Жить ему оставалось недели, но разговор шел не о болезни, а о "высоких материях". Пришел известный поэт и переводчик С.В. Шервинский. Он рассказал, что завершил перевод одного из классиков римской литературы, говорил о трудностях и находках при переводе латинских текстов. Леонид Петрович заинтересованно включился в беседу, обнаружив неплохое знание латыни [...].

В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) сохранилась подборка писем С.Я. Борового к Л.П. Гроссману, которая и предлагается вниманию читателей. Хотя ответных посланий пока обнаружить не удалось, все же в публикуемых ниже письмах слышатся голоса двух собеседников. Переписка позволяет точнее представить, каковы были интересы и взгляды, равно как и привлекательное "состояние души" каждого из участников этого интеллектуально насыщенного и согретого личным отношением диалога. Помимо того, публикуемые письма несут в себе указания на их время — на существенные приметы той эпохи, в которую довелось жить и работать обоим корреспондентам, и которая сегодня воспринимается уже как история.

Марк СОКОЛЯНСКИЙ
Любек (ФРГ)

Одесса, 4 октября 1926 г.

Высокоуважаемый Леонид Петрович, я уже писал Вам об этом: меня занимает Осип Лернер¹. Он любопытен не только, как "ученик" Ковнера². Он довольно долго подвизался как литератор и еврейский театральный деятель (сейчас, накануне празднования 50-летия еврейского театра эта сторона его деятельности особенно злободневна). Об одном эпизоде его жизни (довольно печальном) я напечатал в прошлом году очерк³. Если сохранился его архив, то там может быть много важного (например, письма Ковнера). Не попытались бы Вы запросить об этом Николая Осиповича⁴; это могло бы быть и в Ваших интересах. Я с Николаем Осиповичем не знаком, и обращаться к нему лично мне неудобно.

Был бы Вам несказанно признателен, если бы Вы, "открыв" архив

Осипа Лернера, помогли бы мне извлечь из него некоторые материалы. Я не оставляю мысли написать очерк о Лернере как ученике Ковнера.⁵

Тогда я попытаюсь выпустить своих "нигилистов" отдельным изданием.⁶

Печатаете ли Вы 2-е издание своей "Исповеди"??

С приветом

С. Боровой

¹ Лернер, Иосиф Иегуда (Осип, 1849-1907) — еврейский писатель и театральный деятель. Писал на трех языках: иврите, идиш и русском.

² Ковнер, Авраам Урия (Аркадий Григорьевич, 1842-1909) — еврейский литератор, представлявший т. н. "писаревское" направление в еврейской критике. Писал на иврите, позднее — на русском языке. В 1924 г. Л.П. Гроссман выпустил книгу о Ковнере (Л. Гроссман. Исповедь одного еврея. М.; Л., 1924).

³ Боровой С. Новое о Ковнере // Еврейская мысль. — Л., 1926. — С. 225-245. В статье Борового содержится критика некоторых сторон деятельности Ковнера и, в частности, публикуется донос Ковнера одесскому полицеймейстеру на редактора издававшейся в Одессе еврейской газеты "Ха-мелиц" А. Цедербаума.

⁴ Лернер, Николай Осипович (1877-1934) — живший в Ленинграде сын Осипа Лернера, известный русский литературовед, автор многих трудов о жизни и творчестве А.С. Пушкина.

⁵ Позднее С.Я. Боровой опубликовал (на языке идиш) очерк об О. Лернере "Забытый нигилист" в Вильнюсском журнале „Filologische Schriften“ (№ 3, 1929, с. 472-484).

⁶ План С. Борового выпустить очерки о Ковнере и О. Лернере отдельной книгой не был осуществлен.

⁷ В 1927 г. в Мюнхене вышла из печати "Исповедь одного еврея" в немецком переводе.

Одесса, 28 августа 1932 г.

Многоуважаемый Леонид Петрович,

Несколько дней назад я прочитал Ваш "Рулетенбург"¹. Я испытываю потребность выразить Вам искреннюю благодарность читателя. Это несомненно интереснейшая книга последнего литературного года; Ваш настоящий Meister Werk². Надеюсь, когда-нибудь последует продолжение "Рулетенбурга", хотя понимаю, что вторая половина жизни Достоевского — тема, представляющая особые трудности, и не только чисто литературного порядка.

Простите одно малосущественное замечание крохобора: у Вас дважды упоминается "ветхозаветный цадукей". (Раз даже говорится об изображении цадукея в иллюстрациях к Ветхому Завету). Так вот: цадукеев (порусски принято "суддукей") Ветхий Завет, конечно, не знает. Обращаю Ваше внимание на эту чепуху, так как не сомневаюсь, что будет 2-ое и дальнейшие издания.

Мои личные дела весьма плохи. Года полтора, как меня не печатают. У меня, точнее, в издательствах, под спудом лежит ряд моих работ, в том числе "Евреи в Запорожской Сечи"³ — работа, которую я, благодаря обилию современного, нового, неожиданного и яркого материала — считаю весьма интересной. Не знаю, что и придумать.

Знаете ли Вы, что с год назад появилась довольно большая статья о Ковнере (на еврейском языке) одного наездника от литературы (Якова Бронштейна)⁴, в которой досталось, конечно, и Вам. (Равно, как и мне).

С глубоким уважением и приветом

Ваш С. Боровой

¹ Гроссман Л. Рулетенбург: Повесть о Достоевском. — М.; Л., 1932.

² Meisterwerk (нем.) — шедевр.

³ Спустя два года работа была опубликована в академическом издании (Исторический сборник. Т. 1. — Л., 1934. — С. 141-190). См. также новейшую перепечатку в кн.: Еврейские хроники XVIII столетия: Эпоха "хмельнитчины". / Исследование, перевод и комментарии С.Я. Борового. — Москва; Иерусалим, 1997/5757. — С. 207-250.

⁴ Бронштейн, Яков Анатольевич (Яша, 1897-1938?) — еврейский литератор, критик, преподаватель Минского педагогического института, научный сотрудник Института литературы и языка Белорусской Академии Наук. Был одним из руководителей Союза писателей Белоруссии. Репрессирован как "враг народа". Впоследствии С. Боровой менее резко отзывался о статье Бронштейна (См.: Боровой Саул. Воспоминания. — Москва; Иерусалим, 1993/5753. — С. 171).

Одесса, 11 октября 1932 г.

Многоуважаемый Леонид Петрович,

отвечаю на Ваше письмо с опозданием, так как только два дня, как вернулся из "погибельного" Кавказа (Теберда — Военно-Сухумская дорога — Сухуми).

Несказанно Вам благодарен, прямо-таки тронут, за лестное и ценное для меня предложение оказать содействие в моих литературных делах. Большое Вам спасибо! Не знаю, побеспокою ли Вас такой просьбой. Во всяком случае, в данный момент ничего конкретного по этому поводу написать не могу. Из всего залежавшегося у меня "товара", по-моему, наиболее интересна и может рассчитывать на внимание более или менее широких кругов работа о евреях в Запорожской Сечи¹. Подойдет ли эта тема для какого-либо издательства, с которым Вы связаны?

К сожалению, у меня мало шансов быть в ближайшее время в Москве. Я слишком усиленно гулял летом.

Сообщаю точный перевод интересующего Вас места в статье Брон-

штейна² ["Временник („Zeitschrift“) еврейского сектора Белорусской Академии Наук", т. V, Минск, 1931, стр. 212]:

"Его почти сенсационная биография щекотала нервы у многих буржуазных историков литературы [...] Гроссман в своей книге смакует биографию Ковнера как биографию еврея, который сподобился переписываться с Достоевским. Самого Ковнера Гроссман, кажется, вовсе не читал, и он даже не пытается рассмотреть его литературно-критические воззрения".

Мне достается много хуже. Он меня даже называет гением в кавычках. Ей-Богу, я не знаю, за что.

Очень прошу Вас, не забывайте преданного Вам

С. Борового

¹ См. прим. 3 к письму от 28.08.1932.

² См. прим. 4 к письму от 28.08.1932.

Одесса, 17 октября 1948 г.

Дорогой Леонид Петрович,

еще в начале лета к Вам обратилось — по моему предложению — наше областное издательство с просьбой дать статью в предполагавшийся к изданию сборник о Пушкине¹. Мне говорили в издательстве, что, несмотря на ряд напоминаний, Вы не откликнулись на это предложение. Меня это, признаться, удивило. Неужели до Вас не дошли письма? Не были ли Вы в отъезде? Поэтому я не уверен, что и это письмо дойдет до Вас. Не знаю, есть ли сейчас для Вас смысл откликнуться на обращение издательства: у меня мало веры, что такой сборник осуществится, но я Вас очень прошу написать поскорее мне. Во-первых, я несколько обеспокоен Вашим молчанием; во-вторых, я все же не утрачиваю надежду на возможность осуществления каких-нибудь литературных предприятий, в которых я был бы счастлив видеть Вас соучастником. Я понимаю, что это время было для Вас нелегким, но надеюсь, что Вы еще порадуете своих друзей не одним произведением.

У нас сейчас организуется Пушкинская комиссия², в которой и я буду участвовать, но — по правде говоря, работать не с кем. Мне лично хотелось бы написать только о "пушкинской Одессе". Мне представляется, что у меня есть возможность эту тему осветить по-новому, свежо и более правильно. Если услышите о заказчиках на такую работу — напомните обо мне.

Недавно я закончил статью о Мицкевиче в Одессе, которую назвал

"Мицкевич накануне восстания декабристов"³. Мне кажется, что в этой работе я внес кое-что новое в политическую биографию Мицкевича, натолкнулся на некоторые "открытия" в области истории отношений Мицкевича с декабристами. Работу я писал по договору с "Литературным наследством". Послал ее более месяца назад, но почему-то я не получил еще подтверждения. Не случилось ли чего-нибудь в редакции "Литературного наследства"? Хотелось бы мне, признаться, об этой работе где-нибудь доложить, тем более, что в декабре исполняется столетие со дня рождения Мицкевича. Конечно, в соответствующих кругах меня никто не вспомнит, так как Мицкевичем я никогда раньше не занимался, и сейчас эта тема для меня более или менее случайная. Я, правда, написал об этом в Институт мировой литературы. Не знаю, отзовутся ли? За всякую информацию и по этому вопросу буду очень благодарен.

Повторяю, что страшно рад был бы весточке от Вас. В Москве я, вероятно, буду только в январе, если не вызовут по какому-нибудь поводу раньше. У меня лично нового мало, много занят преподаванием, заведование кафедрой и подобными делами, которые относительно неплохо кормят, но не очень мне по душе.

Крепко желаю Вам бодрости и здоровья. Привет Серафиме Германовне!
Искренне Ваш

С. Боровой

¹ Речь идет, очевидно, о сборнике, выпущенном к 150-летию со дня рождения поэта: О.С. Пушкин в Одессе. — Одесса, 1949.

² Здесь С.Я. Боровой не совсем точен. Пушкинская комиссия Одесского Дома ученых была создана еще в 1925 г. по инициативе жившего тогда в Одессе М.П. Алексеева. Речь идет о возрождении и возобновлении деятельности этого научного сообщества. Позднее, в 1974-1985 гг., С.Я. Боровой возглавлял Пушкинскую комиссию Одесского Дома ученых.

³ Речь идет о работе, увидевшей свет спустя несколько лет. См.: С. Боровой. Мицкевич накануне восстания декабристов // Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. — М., 1956. — С. 411-474.

⁴ Серафима Германовна — жена Л.П. Гроссмана.

Одесса, 15 сентября 1949 г.

Дорогой Леонид Петрович!

Я не сразу ответил на Ваше письмо, так как хотел полнее уяснить себе Ваши шансы, а также пытался подготовить почву — и в том и в другом успел не много.

Не приходится говорить о том, каким благом для университета было

бы привлечение Вас к работе¹, и не только для университета, а, вообще, для повышения культурного тонуса нашего города.

Трудно себе представить, как низко опустился у нас уровень "академического" и внеакадемического литературоведения [...]. Достаточно сказать, что сейчас в Одессе нет ни одного профессора (не говорю даже доктора) литературоведа или филолога.

Вся русская литература в университете дана на откуп нескольким дамам — все они кандидаты, все они дамы, все они девственны (в научном смысле) и, конечно, никогда ничего не родят. Единственная вполне грамотная из них (и, может быть, когда-то каким-то боком прикоснулась к науке) — это известная Вам Зоя Антоновна Бабайцева-Бориневич² [...].

Рассчитывать, что эти дамы захотят Вас иметь в своей среде, конечно, не приходится. Но мне говорят, что если Вы обратитесь непосредственно к ректору — то известные шансы на успех могут быть. К директору Педагогического Института обращаться нет смысла.

Должен ли говорить, что я лично был бы счастлив, если бы Вы стали "периодическим одесситом". Здесь так скучно [...].

В начале августа, возвращаясь из Ленинграда, я провел несколько дней в Москве. Звонил 2-3 раза к Вам, но к аппарату никто не подходил. Очевидно, вы были в отъезде. Зимой снова надеюсь побывать на севере.

О моих делах Вы кое-что знаете. Работаю я сейчас в своем Экономическом Институте³. Пишу преимущественно по вопросам истории народного хозяйства, но вот в прошлом году написал довольно большую работу "Мицкевич накануне восстания декабристов"⁴, которая принята "Литературным наследством", но — бог весть — когда еще появится.

Крепко жму Вашу руку!

Сердечный привет Серафиме Германовне!

Пишите и держите меня в курсе своих дел. Не сомневайтесь в моей большой готовности помочь Вам всем, что только в моих — увы, ограниченных — возможностях.⁵

Сообщаю адрес университета и имя ректора:

Прокофий Леонтьевич Иванченко⁶, Одесский Государственный Университет, ул. Петра Великого, 2.

С сердечным приветом

Ваш С. Боровой

¹ В то время Л.П. Гроссман, не имея стабильного места работы в Москве, выражал желание работать на полставки в Одесском университете и просил С.Я. Борового узнать, заинтересован ли в его приходе на кафедру русской литературы университет.

² Бориневич-Бабайцева, Зоя Антоновна (1885-1972) — литературовед, доцент кафедры русской литературы Одесского университета. С 1948 по 1972 гг. возглавляла Пушкинскую научную комиссию Одесского Дома ученых.

³ С.Я. Боровой был профессором Одесского Кредитно-Экономического Института.

⁴ См. прим. 3 к письму от 17 октября 1948 г.

⁵ Практически С.Я. Боровой не мог ничем помочь, т. к. и сам, будучи в течение ряда лет одним из двух, а то и единственным профессором-историком в городе, не был "востребован" Одесским университетом.

⁶ Иванченко, Прокофий Леонтьевич (1907-1975) — доцент, затем профессор кафедры дарвинизма Одесского университета, ректор университета в 1949-1953 гг. Предположение С.Я. Борового о том, что обращение к ректору могло принести положительные результаты, было наивным: достаточно вспомнить, что именно этот ректор исправно проводил в университете "линию партии" в годы борьбы с т. н. "безродными космополитами" и боролся с противниками лысенковщины в биологии.

Одесса, 22 сентября 1949 г.

Дорогой Леонид Петрович,

мне нечего добавить к тому, что я уже писал Вам; повторяю, что считаю все же целесообразным Ваше личное обращение к ректору.

А вот писать Зое Антоновне¹ я бы не рекомендовал. Во всяком случае, встретившись с нею недавно, я не считал разумным посвятить ее в Ваши планы.

С Зильберштейном² я поддерживаю связь. Я Вам очень благодарен за желание ускорить прохождение моей работы (которая, собственно, редакцией уже принята, и ждет подготовки соответствующего тома), но, может быть, нет смысла создавать у Ильи Самойловича впечатление, что я ищущему к нему какие-то "ходы".

Держите меня в курсе своих дел.

Ваш С. Боровой

¹ См. прим. 2 к письму от 15.IX.1949.

² Зильберштейн, Илья Самойлович (1905-1983) — историк литературы, искусствовед, коллекционер, инициатор и один из редакторов серии "Литературное наследие".

Одесса, 5 января 1953 г.

Дорогой Леонид Петрович!

Как Вы знаете, вчера вечером я беседовал по телефону с Серафимой Германовной. Я сообщил ей, что — как назло — в Доме Ученых временно перестали функционировать комнаты для приезжающих. Однако зимой в Одессе легко получить комнату в гостинице ("Красной" — на Пушкинской улице или — лучше — в "Одессе", бывшей "Лондонской"). Конечно,

я и Вадим Сергеевич¹, который Вам сердечно кланяется, заблаговременно Вам подготовят номер (хотя в этом нет, кажется, нужды), мы только должны быть своевременно осведомлены о дне Вашего приезда. Дело несколько осложняется тем, что я, по примеру прошлых лет, хотел бы выехать в Москву числа 24-25 сего месяца (раньше никак не смогу), однако не убежден, что смогу это сделать (по целому ряду причин). Вадим Сергеевич в этом отношении в аналогичном положении. Было бы так обидно "разминуться"!

При всех условиях держите нас в курсе дел: пишите, звоните (мой домашний телефон: 2-58-10), телеграфируйте!

У меня нового пока немного². В прошлом году много писал, напечатал кое-какую мелочь, жду появления более крупных работ, но, конечно, до самой последней минуты нет уверенности, что выйдет [...]. Этот год был более трудный, последний месяц в моем институте прошел под знаком комиссий, проверок и т. д. Выводов еще нет.

Рад был очень, почувствовав в Вашем письме спокойные ноты — ученого, мудреца, созерцателя.

Ах, как хорошо было бы, если бы Вы приехали и застали меня. Это было бы настоящим для меня праздником!

Недавно я возвратился из интересного, но очень непродолжительного путешествия: Кишинев — Черновцы — Львов — Киев. Львов в его сохранившихся средневековых кусках неповторимо интересен.

Пользуюсь случаем, чтобы пожелать Вам и Серафиме Германовне всего самого лучшего — здоровья, спокойствия, творческих успехов — в наступившем году!

Искренне Ваш

С. Боровой

¹ Алексеев-Попов, Вадим Сергеевич (1912-1982) — доцент кафедры новой и новейшей истории Одесского университета, друг С.Я. Борового.

² Вскоре, однако, в жизни С.Я. Борового произошли серьезные изменения. 4 февраля 1953 г. он был уволен из института, началась травля "буржуазного националиста" Борового (См. подробнее: Саул Боровой. Воспоминания, с. 320-344).

Одесса, 29 июня 1954 г.

Дорогой Леонид Петрович,

Вы так участливо и так искренне делили со мной мои горести¹, так настойчиво советовали мне ждать решения вопроса у себя дома (когда мне

это казалось — и с основанием — совершенно нереальным), — что я тороплюсь поделиться с Вами новостью: на-днях я был "выбран по конкурсу" в моем же Одесском Институте².

После того, как я оказался "законтрактованным", появились и другие предложения, возможно, вполне реальные: Кишиневский и Киевский университеты. Поживем — увидим. Если я почувствую себя неуютно здесь — может быть, буду в дальнейшем подаваться на Север.

Летом я, очевидно, никуда не уеду. Продолжаю свою службу в библиотеке³. С ней, надо думать, не порву связь и в дальнейшем. (Во всяком случае, не хотят меня отпустить).

Есть много разных литературных планов. Надеюсь, что сейчас, отдохнув, с новой энергией займусь своими делами.

Каковы Ваши планы и настроения? Уверен, что сейчас, наверное, нет никакого смысла в одесском варианте⁴.

Пишите!

Сердечный привет от меня и жены Вам и Серафиме Германовне!

Ваш С. Боровой

¹ К сожалению, переписка С. Борового и Л. Гроссмана за эти полтора драматических в судьбе Борового года не сохранилась.

² С.Я. Боровой был не восстановлен в должности, а "избран по конкурсу" на свое же место в Кредитно-Экономическом Институте в июне 1954 г.

³ До возвращения в институт, около года (в 1953-54 гг.) С. Боровой работал сотрудником-консультантом научно-библиографического отдела Одесской государственной публичной научной библиотеки им. Горького.

⁴ К тому времени Л.П. Гроссман уже работал профессором МГПИ им. В.П. Потемкина.

Одесса, 5 ноября 1954 г.

Дорогой Леонид Петрович,

вчера принесли Вашу празднично-поздравительную телеграмму. Хотя ее вручили до срока — она меня необычайно обрадовала и тронула.

Крепко обнимаю Вас и желаю Серафиме Германовне и Вам многих лет жизни, здоровья, плодотворной работы и больших творческих радостей.

У меня новый учебный год идет вполне нормально. Чувствую себя в старо-новом месте¹ так, как если бы ничего не произошло. И никто (пока?) о прошлом не напоминает и не вспоминает. Впрочем, почти все переменялись, и основные "герои" тех событий удалены из Института.

В этом году мне хотелось окончательно завершить литературную и редакционную обработку своей большой книги (листов на 50) по исто-

рии экономического развития России в конце XVIII и первой половины XIX века². Но работа движется не так быстро, как хотелось бы. Отвлекают текущие дела, кое-какие более мелкие, но более реальные, литературные дела.

Зимой рассчитываю, вместе с Эмилией Израилевной³, побывать в Москве.

Жду с нетерпением встречи с Вами и с Серафимой Германовной.

Эмилия Израилевна благодарит Вас за память и сердечно приветствует Вас.

Искренне Ваш

С. Боровой

¹ См. письмо от 29 июня 1954 г.

² По-видимому, из этого предварительного замысла родилась монография С.Я. Борового "Кредит и банки России. Середина XVII в. — 1861 г." (М.: Госфиниздат, 1958).

³ Аксентфельд-Боровая, Эмилия Израилевна (1906-1969) — первая жена С.Я. Борового.

Одесса, 14 декабря 1954 г.

Дорогой Леонид Петрович,

чрезвычайно обрадован был Вашим подарком¹. В Вашей новой работе столько творческой свежести, напряженной работы мысли. Пусть же Вас никогда не оставляет эта молодость мысли и творческий порыв, которого совершенно лишены все эти молодые старички, копуны, нанизыватели цитат и "проработчики".

Жаль только, что такая работа спрятана в малодоступном и, вероятно, по остальному материалу не слишком интересном издании. Но, думаю, эту работу будут искать. И хотелось бы Вас видеть снова в большой печати.

У меня все идет нормально. Печатаю кое-какие мелочи. Но подготовил и сдал рукопись первого тома большой монографии по истории экономического развития России XVIII века (ее должен печатать наш институт — но я не очень верю в реальность этого), второй том должен сдать к осени (вчерне он уже написан)².

Кое-что делаю для "Литературного наследия". Но мой том (2-й декабристский) так туго рождается! Есть у меня и другие планы. Кроме того, скажу откровенно, что — глупец! — считаю, что придет еще время, когда можно и даже нужно будет возвращаться к моим старым темам³.

В институте лекций у меня не много, но сейчас очень много времени отнимает непродуктивная работа, связанная с руководством кафедрой (у

настоящего заведующего кафедры был инфаркт, и он выбыл из строя на все полугодие), участие во всяких комиссиях и т. п. С нетерпением жду возможности выехать⁴, но смогу только в самом конце месяца.

Эмилия Израилевна сердечно благодарит Вас за привет.

Всего Вам наилучшего!

Сердечный привет и лучшие пожелания Серафиме Германовне!

Обнимаю Вас

Ваш С. Боровой

¹ Речь идет о полученном сборнике „Ученые записки МГПИ им. В.П. Потемкина“, (т. XXXIV, М., 1954), где опубликована статья Л.П. Гроссмана „Поэтика Белинского (К вопросу о жанрах литературно-критических статей В.Г. Белинского)“. См. указ. изд., стр. 115-154.

² Монография не была издана институтом. Отдельные ее части были опубликованы С. Боровым в виде статей, очерков и т. п.

³ С.Я. Боровой имеет в виду проблематику, связанную с еврейской историей и культурой.

⁴ Имеется в виду поездка в Москву.

Одесса, 7 марта 1955 г.

Дорогой Леонид Петрович,

очень жалею, что не успел до отъезда из Москвы (я уехал 20.I) еще раз появиться у Вас или позвонить. Вы знаете, как московское колесо может завертеть человека [...].

Я не вполне удовлетворен (в деловом плане) своей поездкой, но, думаю, она все же не будет бесплодной, а главное оправдание — повидался с близкими и родными для меня людьми, из которых на первом месте Вы [...].

Пишите и не забывайте!

Сердечный привет Серафиме Германовне.

Ваш С. Боровой

Одесса, 17 апреля 1955 г.

Дорогой Леонид Петрович,

в каталоге одессики Публичной библиотеки есть две брошюры о городской аудитории (их библиографическое описание прикладываю на отдельном листке¹). Боюсь, это не то, что Вы ищете.

Если понадобятся дополнительные справки — сообщите. Может быть, удастся еще найти.

Как хорошо было бы приветствовать Вас здесь на пушкинской конференции². (Я, возможно, выступлю с небольшим сообщением). О перепис-

ке с Вами по поводу конференции мне говорила Зоя Антоновна, но ее очень смущало, что нет средств на оплату проезда и т. д. Но, может быть, это уже улажено [...].

Уверен, что Вы сейчас много и плодотворно работаете, в частности, готовите статьи и материалы для Вашего тома „Литературного наследства“³.

Жена благодарит за привет и память.

Привет Серафиме Германовне!

Не забывайте

Преданного Вам С.Б.

¹ Описание не сохранилось.

² Имеется в виду 2-я конференция пушкиноведов Юга, которая прошла в Одессе 21-23 мая 1955 г.

³ Речь идет, по-видимому, о подготовке тома „Литературного наследства“, посвященного Ф.М. Достоевскому.

Одесса, 8 мая 1957 г.

Дорогой Леонид Петрович,

от души благодарю Вас за чудесный подарок. С жадностью прочитал Ваш великолепный этюд.¹ Надо его сделать достоянием более широкого круга читателей. Почему бы Вам не попытаться издать его в обществе распространения знаний?²

Но, признаться, одновременно я очень огорчился, читая Вашу статью. Ведь, как я убедился на своем долголетнем опыте, для меня оказываются неосуществимыми почти все Ваши „директивы“ (кроме, пожалуй, последней — 15!³). И это очень горько осознавать!

Что у Вас нового? Как планируете наступающее лето? Скоро ли появится том „Литературного наследства“ по Достоевскому?

Очень прошу и дальше не забывать меня!

Сердечный привет Серафиме Германовне!

Еще раз благодарю и обнимаю Вас.

Ваш С. Боровой

¹ Речь идет о статье Л.П. Гроссмана „Искусство лектора“ (Ученые записки МГПИ им. В.П. Потемкина. Т. 47. — М., 1957. — С. 231-266).

² Совет С. Борового был воспринят Л. Гроссманом серьезно. К сожалению, выход этой работы отдельной брошюрой состоялся лишь через пять лет после кончины автора.

См.: Гроссман Л.П. Об искусстве лектора. С предисл. И. Андроникова. — М.: Знание, 1970.

³ „Высший закон для лектора — глубоко любить свою науку и творчески овладевать ею“.

Одесса, 15 декабря 1957 г.

Дорогой Леонид Петрович,

я очень рад, что наша книга¹, в которой я частично выступаю и под грязной оболочкой Готалова², доставила Вам удовольствие. Объясняю это в основном, обаянием темы, а не уровнем выполнения. Хорошо сознаю, что, при других условиях, я бы обо всем этом написал бы неизмеримо лучше.

В конце января надеюсь побывать в Москве. Много накопилось дел. А когда мы увидим Вас? Хотелось бы поскорее!

Вадим³, вероятно, довольно много рассказывал Вам об Одессе, обо всех наших делах.

Итак, как надеюсь, до скорой встречи!

Эмилия Израилевна и я кланяемся сердечно Серафиме Германовне.

Ваш С. Боровой

¹ Одесса: Очерк истории города-героя. — Одесса, 1957.

² Готалов-Готлиб, Артемий Григорьевич (Артур, Арон Гиршевич, 1867-1960) — историк, педагог; преподавал в вузах Одессы. Неоднократно менял вероисповедание и имя, в научных кругах имел сомнительную репутацию. Отрицательное отношение С. Борового к Готалову нашло отражение в его мемуарном очерке (См.: Саул Боровой. Воспоминания, с. 345-355). В комментируемом письме имеется в виду статья: Готалов-Готлиб А.Г. Основание города и его развитие в первые десятилетия // Одесса: Очерк истории города-героя, с. 15-35. Очерк был полностью переработан для печати С. Боровым, но вышел все же за подписью Готалова. См. об этом случае: Саул Боровой. Воспоминания, с. 354-355.

³ Вадим Сергеевич Алексеев-Попов. См. прим. 1 к письму от 5.I.1953.

Одесса, 16 июня 1959 г.

Дорогой Леонид Петрович,

только вчера я взял в библиотеке сборник "Творчество Достоевского" и приступил к чтению Вашей замечательной статьи¹. А сегодня я был так обрадован таким ценным подарком и радостным знаком внимания и дружбы.

Читаю вашу статью запоем. Бесспорно, это — одна из самых лучших Ваших работ — настоявшаяся, необычайно емкая. Она займет самое заметное место в литературе о поэтике Достоевского. Не сомневаюсь, эта статья встретит самый широкий отклик и за пределами нашей страны, где так много занимаются Достоевским.

С удовольствием вспоминаю часы, проведенные недавно в Вашем обществе. Очень жаль, что они были такими короткими.

Сердечный привет от Эмилии Израилевны и меня Серафиме Германовне!

Всего Вам наилучшего! Еще много статей и книг!

Не забывают!

Ваш С. Боровой

¹ Гроссман Л.П. Достоевский-художник // Творчество Ф.М. Достоевского. Сб. статей. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 330-416.

Одесса, 1 марта 1961 г.

Дорогой Леонид Петрович,

Вы меня очень обрадовали своим подарком¹. Я так люблю читать каждую новую Вашу работу, но особенно я был рад, что Вы и сейчас вспомнили меня — после довольно длительного перерыва. Впрочем, я виноват перед Вами: давно не писал, а в последние приезды в Москву нам не случилось встретиться.

Надеюсь, что скоро тоже кое-что смогу послать Вам. В последнее время я печатал немало всякого — но больше по историко-экономическим вопросам. А вот сейчас, говорят, что скоро выходит в Кишиневе второй том "Пушкин на юге", в котором печатается моя статья об одесской главе из "Евгения Онегина"². (Вы слышали этот доклад два года назад на нашей конференции).

Сейчас я работаю над книгой об М.Ф. Орлове³, которая должна выйти в "Литературных памятниках" (издание Академии Наук)⁴. Есть много другой работы. К сожалению, много сил уходит на педагогику.

Очень хотелось бы повидать Вас и Серафиму Германовну, которой прошу от Эмилии Израилевны и меня передать самые лучшие пожелания.

Крепко обнимаю Вас и желаю всего наилучшего.

Ваш С. Боровой

¹ Очевидно, речь идет о присланной книге: Гроссман Л. Пушкин. 3-е изд. — М.: Мол. гвардия, 1960 (ЖЗЛ).

² Имеется в виду статья: Боровой С.Я. "Путешествие Онегина" и одесская тема в русской литературе первой трети XIX // Пушкин на юге: Труды Пушкинской конференции Кишинева и Одессы. В 2-х томах. Т. 2. — Кишинев, 1961, С.265-288.

³ Орлов, Михаил Федорович (1788-1842) — генерал-майор российской армии, сыгравший заметную роль в военной и дипломатической истории России; друг А.С. Пушкина, член общества "Арзамас", один из вождей Союза Благоденствия.

⁴ Орлов М.Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. — М.: Изд-во АН СССР, 1963 ("Литературные памятники"). Издание было подготовлено С.Я. Боровым и М.И. Гилельсоном. С. Боровому принадлежит также помещенная в книге статья: "М.Ф. Орлов и его литературное наследие" (с. 269-313).

Одесса, 18 марта 1962 г.

Дорогой Леонид Петрович,

меня несказанно обрадовал Ваш отзыв о моей статье¹. Должен ли говорить, как я ценю Ваше мнение о моих работах — даже делая поправку на Ваши дружеские чувства [...].

Очень тронул меня Ваш совет написать биографию Орлова² и предложение помочь продвинуть ее в серию "Жизнь замечательных людей"³.

Должен Вам сказать, что краткая биография Орлова (на 4 печатных листа) мною уже написана, и она должна пойти в собрании сочинений Орлова, которое подготовлено мною для серии "Литературные памятники" (издание Академии Наук). Эта книга⁴, как надеюсь, выйдет в 1963 году. (Она уже давно в издательстве).

Но я уже давно подумываю о большой биографии Орлова. Поэтому Ваше предложение пришлось мне очень по душе. И я очень серьезно над ним задумываюсь. Может быть, в качестве соавтора я приглашу С.С. Ланда⁵ (он мне это предлагал несколько раз). С.С. Ланда опубликовал в том же "Пушкине и его время" очень ценный этюд об Орлове⁶.

Словом, как видите, Ваше предложение попало на подготовленную почву. Но, к сожалению, я не так свободен. Надо мною висят так называемые "плановые темы". В последнее время Министерство Высшего образования навязало мне работы по составлению программ, методических пособий и учебников по истории народного хозяйства. В связи с этим мне, например, придется завтра выехать на несколько дней в Киев [...].

Но все же, думаю, засяду и за книгу об Орлове. И тогда обращусь к Вам с просьбой "всячески связать с серией "Жизнь замечательных людей" (говоря Вашими словами).

Крепко обнимаю Вас.

Ваш С. Боровой.

Эмилия Израилевна передает Вам сердечный привет.

¹ Очевидно, речь идет о статье С. Борового "Об экономических воззрениях Пушкина в начале 1830-х годов" (Пушкин и его время. — Л., 1962. — Вып. 1. — С. 246-264).

² См. прим. 3 к письму от 1.III.1961.

³ План такой книги всерьез обдумывался С. Боровым, но осуществлен не был.

⁴ См. прим. 4 к письму от 1.III.1961.

⁵ Ланда, Семен Семенович (1923-1990) — историк и литературовед, работавший в Ленинграде.

⁶ Ланда С.С. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России: 1816-1821 гг. (из политической деятельности П.А. Вяземского, Н.И. и С.И. Тургеневых и М.Ф. Орлова) // Пушкин и его время. Вып. 1. С. 67-231.

26 декабря 1962 г. Одесса¹

Дорогой Леонид Петрович!

Посылаем Вам самые лучшие и горячие пожелания к наступающему новому году!

Как жаль, что в последнее время мы так мало встречались и даже давно не обменивались письмами.

Будьте здоровы и бодры и радуйте нас своими работами!

Эмилия Израилевна просит передать Вам лучшие пожелания.

Обнимаю Вас

С. Боровой

¹ Письмо написано на обороте ксилографии портрета Ф.М. Достоевского работы В.А. Фаворского.

Одесса, 9 июля 1963 г.

Дорогой Леонид Петрович,

я очень благодарен Вам за телеграмму, которая несколько успокоила меня и Ваших одесских друзей. Не скрою, меня мучила совесть: как это мы отпустили Вас одного в этот вояж.¹ Но, слава Богу, все обошлось хорошо.

Заклинаю Вас, исполните все указания Михаила Александровича²: немедленно отправляйтесь в клинику, где Вас недолго подержат, но точно определят режим, которому Вы должны будете строго следовать, пока все войдет в норму. А позже, к октябрю, приезжайте снова в Одессу, где Вам будет обеспечен наилучший врачебный надзор, уход и последующий отдых в кругу любящих Вас друзей.

Будьте же бодры и благоразумны!

Должен ли говорить, как я рад каждой весточке от Вас! [...]

Обнимаю Вас

Ваш С. Боровой

Мой летний адрес: Одесса, А-16, ул. Перекопской дивизии, 62.

¹ Участвуя в 10-й конференции пушкинистов юга, которая проходила в Одессе 28 июня — 1 июля 1963 г., Л.П. Гроссман перенес приступ острой сердечной недостаточности и вынужден был обратиться за помощью к кардиологам. По возвращении в Москву телеграфировал С. Боровому о благополучном прибытии.

² Ясиновский, Михаил Александрович (1899-1972) — ведущий одесский терапевт, профессор, зав. кафедрой Одесского медицинского института, действительный член Академии Медицинских Наук СССР. М.А. Ясиновский консультировал Л.П. Гроссмана в Одессе.

Одесса, 14 августа 1963 г.

Дорогой Леонид Петрович,

я был несказанно обрадован, получив Вашу книгу¹, с надписью, которую я не заслужил. Книгу сразу же начал читать и не могу оторваться. Как интересно, проникновенно, поучительно. И какое мастерство!

Я все время много думал о Вас, о Вашем здоровье. И ничего не знаю. Но надеюсь, что Вы оправились, чувствуете себя бодро. Ради бога, не допускайте больше таких нарушений режима и приезжайте к нам осенью (в клинику М.А. Ясиновского²), где Вас хорошо подлечат.

Одновременно посылаю только что вышедшую книгу "Орлов"³. Если будет время — прочитайте мою статью (послесловие) и откровенно поделитесь своим мнением.

Когда я закончу чтение Вашей новой книги — поставлю ее на полку в ряд Ваших книг и оттисков, начатый еще "Исповедью одного еврея"⁴. Как видите, Ваши книги (с автографами) накапливаются у меня почти целых 40 лет. И я надеюсь, что этот драгоценный ряд будет еще долго пополняться новыми и новыми работами.

Всего же Вам доброго! И наипаче крепкого здоровья!

Эмилия Израилевна от души Вас приветствует!

Как хотелось бы получить хотя бы несколько строк от Вас!

Крепко обнимаю Вас

Ваш С. Боровой

P.S. Кстати, хочу Вам сообщить, что на-днях вышел из печати 3-й том "Советской исторической энциклопедии", в котором помещена моя заметка "Велижское дело" (не подписанная)⁵. Я был очень рад, что смог, сославшись на Вас⁶, рассказать о том, что Лермонтов под влиянием этого дела написал "Испанцев". Мне кажется, что только сейчас Ваше открытие станет известным более широкому кругу историков.

¹ Вероятно, речь идет о кн.: Гроссман Л. Достоевский. — М.: Мол. гвардия, 1962 (ЖЗЛ).

² См. прим. 2 к письму от 9.VII.1963.

³ См. прим. 4 к письму от 1.III.1961.

⁴ См. прим. 2 к письму от 4.X.1926.

⁵ Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. — М.: Сов. энциклопедия, 1963. Т. 3, Стб. 33.

⁶ Гроссман Л. Лермонтов и культуры Востока // Литературное наследство, 1941, т. 43-44. — С. 673-744.

Одесса, 21 ноября 1963 г.

Дорогой и родной Леонид Петрович,

до глубины души я был тронут Вашим письмом¹. Я жалею, что не мог его приколоть к себе, как орден, и показывать всем [...]. Я очень горжусь, что мог вызвать такое послание. И вообще очень горжусь нашей долголетней, становящейся все более крепкой дружбой.

Я очень не хотел и боялся этого юбилея — и потому, что считал, что мне рано в "маститые", и потому, что боялся, как бы этот "юбилей" не поставил меня в ложное и унижительное положение. Но получилось много лучше, чем можно было думать. Все прошло в очень теплой и приятной обстановке. Я получил около 150 поздравлений, и среди них немало таких, которыми горжусь. И среди них на первом месте — Ваше, дорогой и родной Леонид Петрович. Спасибо вам за все, за то, что Вы есть [...].

Этот "юбилей" совпал и с другим событием, которое потребовало больших душевных и физических сил: мы переехали на другую квартиру. Тоже далеко не идеал, но у меня сейчас большой обособленный кабинет, стало несколько комфортабельнее и т. д.

Я еще не совсем закончил всех работ по перестановке библиотеки и т. п. Не закончены ремонтные работы. Но надеюсь, что скоро все это будет позади.

Очень хотелось бы знать, как Вы себя чувствуете, какие у Вас новые замыслы и т. д.

Простите, что в смятении чувств не могу написать ничего более вразумительного!

Еще раз: большое-большое Вам спасибо за все!

И позвольте Вас с братской нежностью поцеловать!

Ваш С. Боровой

Запомните мой новый адрес:

Одесса 57, ул. Щепкина, 23, кв. 9 (тел. 3-58-45).

¹ 12 ноября 1963 г. отмечалось 60-летие С.Я. Борового, и Л.П. Гроссман прислал юбиляру теплое поздравительное письмо.

24 декабря 1964 г. Одесса

Дорогой Леонид Петрович,

Эмилия Израилевна и я шлем Вам самые горячие дружеские приветы и поздравления к новому году. И наипаче — крепкого здоровья!

Очень хотелось бы знать, что и как у Вас. Недавно имел весточку от

Николая Николаевича Любимова¹ — моего друга и соседа по даче.

Надеюсь, что зимой встретимся!

Не забывают

преданного Вам и любящего

С. Борового

¹ Любимов, Николай Николаевич (1894-1975) — видный экономист, историк, профессор Московского финансового института и МГИМО. Лето проводил, как правило, на своей одесской даче, по соседству с дачей С. Борового.



Семен ВАЙНБЛАТ

Двадцать пять лет и "Всего тринадцать месяцев"

В свое время Юрий Зиновьевич Дынов был, как говорится, на виду всей Одессы — заслуженный артист Украины, великолепный баритон, эффектная внешность, искрометный талант, первые роли во многих опереттах, словом, баловень судьбы, любимец публики. Гораздо меньше людей знали о том, что он вместе с Владимиром Валовым написал либретто спектаклей "Страсти святого Микаэля" и "Дворец прекрасной дамы", был одним из авторов русских вариантов музыкальных пьес "Лисистрата" и "Кин"... Но во всем блеске его несомненное литературное дарование проявилось, конечно, в таком трудном, а потому редком жанре как драматическая поэма "Всего тринадцать месяцев" (Пушкин в Одессе). Рукопись пьесы Юрий Дынов зарегистрировал в Одесском управлении по печати 17.02.1968 года.

Пушкинисты обычно ревностно и настороженно относятся к тем, кто, по их разумению, самочинно, вторгается в сферу их деятельности. Тем более ценным для автора стал отзыв о поэме известного пушкиниста Татьяны Цявловской, которая, назвав ее "очень серьезным и талантливым произведением", подчеркнула, что "пьеса ничем не оскорбляет придирчивое ухо человека, посвятившего жизнь изучению Пушкина...". Восторженной была и оценка академика Д. Благого: "Несмотря на то, что среди авторов пьес о Пушкине такие мастера, как Булгаков и Паустовский, ни одна не может быть признана по-настоящему удачной, пьеса же одесского автора, наоборот, имеет много достоинств: она написана живым и острым стихом, полна драматургического движения".

На Всесоюзном пушкинском конкурсе 1974 года пьеса Дынова была удостоена диплома I степени, ее поставили театры Ленинграда, Казани, Курска, Харькова, одесситы помнят ее в блистательной постановке Русского театра.

Зрительский успех, прекрасные отзывы критики... Что, казалось бы, нужно еще? А еще Дынову хотелось напечатать свою поэму — вполне естественное желание автора. Но ни в одном издательстве страны публиковать ее не хотели. Так и пролежала рукопись в столе чуть более 25 лет, изредка доставаемая для очередного безрезультатного представления издателям... И только в 1994 году стараниями близкого друга автора Тать-

Николая Николаевича Любимова¹ — моего друга и соседа по даче.

Надеюсь, что зимой встретимся!

Не забываете

преданного Вам и любящего

С. Борового

¹ Любимов, Николай Николаевич (1894-1975) — видный экономист, историк, профессор Московского финансового института и МГИМО. Лето проводил, как правило, на своей одесской даче, по соседству с дачей С. Борового.



Семен ВАЙНБЛАТ

Двадцать пять лет и "Всего тринадцать месяцев"

В свое время Юрий Зиновьевич Дынов был, как говорится, на виду всей Одессы — заслуженный артист Украины, великолепный баритон, эффектная внешность, искрометный талант, первые роли во многих опереттах, словом, баловень судьбы, любимец публики. Гораздо меньше людей знали о том, что он вместе с Владимиром Валовым написал либретто спектаклей "Страсти святого Микаэля" и "Дворец прекрасной дамы", был одним из авторов русских вариантов музыкальных пьес "Лисистрата" и "Кин"... Но во всем блеске его несомненное литературное дарование проявилось, конечно, в таком трудном, а потому редком жанре как драматическая поэма "Всего тринадцать месяцев" (Пушкин в Одессе). Рукопись пьесы Юрий Дынов зарегистрировал в Одесском управлении по печати 17.02.1968 года.

Пушкинисты обычно ревностно и настороженно относятся к тем, кто, по их разумению, самочинно, вторгается в сферу их деятельности. Тем более ценным для автора стал отзыв о поэме известного пушкиниста Татьяны Цявловской, которая, назвав ее "очень серьезным и талантливым произведением", подчеркнула, что "пьеса ничем не оскорбляет придирчивое ухо человека, посвятившего жизнь изучению Пушкина...". Восторженной была и оценка академика Д. Благого: "Несмотря на то, что среди авторов пьес о Пушкине такие мастера, как Булгаков и Паустовский, ни одна не может быть признана по-настоящему удачной, пьеса же одесского автора, наоборот, имеет много достоинств: она написана живым и острым стихом, полна драматургического движения".

На Всесоюзном пушкинском конкурсе 1974 года пьеса Дынова была удостоена диплома I степени, ее поставили театры Ленинграда, Казани, Курска, Харькова, одесситы помнят ее в блистательной постановке Русского театра.

Зрительский успех, прекрасные отзывы критики... Что, казалось бы, нужно еще? А еще Дынову хотелось напечатать свою поэму — вполне естественное желание автора. Но ни в одном издательстве страны публиковать ее не хотели. Так и пролежала рукопись в столе чуть более 25 лет, изредка доставаемая для очередного безрезультатного представления издателям... И только в 1994 году стараниями близкого друга автора Тать-

яны Борисовны Подзюрской при спонсорской поддержке Международного благотворительного фонда возрождения Одессы имени братьев Дерибас и одесского "Кредобанка" издательство "Маяк" выпустило поэму Дынова миниатюрным подарочным изданием с иллюстрациями художника Геннадия Гармидера, для которого пушкинская тема была и остается традиционной.

Мне известны некоторые перипетии издания этой книги, потому что довелось быть ее редактором.

Драматическая поэма Юрия Дынова в течение месяца исчезла с книжных прилавков и прочно заняла место в ряду библиографических редкостей, но за семь лет так и не удостоилась ни одной значительной рецензии.

Спектакли с участием Дынова я видел сразу же после перебазирования Львовского театра оперетты в Одессу, но лично с ним познакомился намного позже, в 1972 году, когда приехал на 10-дневные курсы во Львовский полиграфический институт. В те времена было модно время от времени посылать издательских работников на курсы повышения квалификации. Курсы курсами, но по вечерам я любил ходить в театры. В это время во Львове гастролировал Одесский театр музыкальной комедии. Мой одноклассник по 107 школе Зиновий Аврутин был заведующим литературной частью театра, и почти все львовские вечера я провел в театре. Зорик снабжал меня контрамарками. А после спектаклей мы проводили время с его коллегами. Так я познакомился с Михаилом Водяным, Маргаритой Деминой, Евгенией Дембской, Юрием Дыновым. После возвращения в Одессу я изредка с ними встречался, но это отдельный рассказ.

С Юрием мы виделись во время его ежедневных прогулок возле дома. Он жил на Пушкинской угол Еврейской, на расстоянии одного квартала от издательства "Маяк". Об издательских делах мы никогда с ним не говорили. Моя фамилия ему не была известна. Во время встреч артист любил рассказывать анекдоты, читать эпиграммы: они были колющие, но остроумные, меткие. У нас были хорошие приятельские отношения, но дружба началась в тот день, когда я пришел к нему для составления издательского договора на публикацию поэмы "Пушкин в Одессе".

В 1993 году издательство "Маяк" все чаще стало выпускать книги за счет средств авторов или при помощи спонсоров. В это время Татьяна Борисовна Подзюрская принесла в издательство рукопись Дынова. На главной редакции было принято решение передать ее мне для апробации. Пьесу я в свое время видел. Но одно дело смотреть спектакль, другое — читать саму пьесу. Поэма мне понравилась. И я написал положительную внут-

реннюю рецензию, так называемое редакционное заключение, в котором одобрил рукопись и рекомендовал ее к изданию.

Но тотчас приступить к редактированию я не мог. Дело в том, что Фонд возрождения Одессы — главный спонсор издания — к этому времени еще не был готов перечислить издательству нужную сумму, а она по ценам того времени, когда в ходу были так называемые купоны, составляла более девяти миллионов карбованцев. Вспоминаю, сколько писем пришлось писать на имя Наталии Борисовны Коваленко — председателя этого фонда, которая не отказывалась перечислить деньги, но каждый раз просила еще немного подождать.

Прошло несколько месяцев, и вот желанный день наступил. Предварительно позвонив по телефону, я договорился с Дыновым о времени встречи. Следует сказать, что за то время, пока шли переговоры со спонсорами, мы ни разу с Дыновым не встречались. К этому времени он был уже серьезно болен, и травмировать его всеми перипетиями издательского процесса никто не хотел. Разумеется, Дынов получил мою рецензию, мы изредка общались с ним по телефону, но он не подозревал, что я, с которым он встречался во время прогулок на Пушкинской, и есть редактор его будущей книги.

Я нажал на звонок, но пришлось немного подождать. Дынов открыл дверь и с недоумением посмотрел на меня. Мой приход в это время для него был совсем не к стати: он ведь ждал прихода редактора, а пришел я. В коридоре мы несколько секунд смотрели друг на друга. Я чувствовал, что он хочет узнать цель моего прихода. И я сказал: "Юрий Зиновьевич, я ваш редактор".

В одно мгновение на его губах появилась легкая улыбка:

— Дорогой, как хорошо, что это оказался ты! Признаюсь честно, ты даже представить себе не можешь, как я опасался встречи с редактором. У меня сейчас будто гора с плеч.

А потом были многочисленные встречи, долгие беседы о жизни и судьбах театра. Узнав, что я председатель Одесского городского эсперанто-клуба, он заинтересовался международным языком, задавал много вопросов. Я читал ему переводы песен и стихов.

— А ты бы мог перевести поэму на эсперанто? — однажды спросил Юрий.

— Думаю, смог бы.

У нас сразу же возникли дружеские отношения. И если в первые дни работы над рукописью Дынов называл меня по имени-отчеству, то уже

через несколько дней обращался ко мне только по имени и просил называть его Юра. Это произошло очень естественно.

Работать с Дыновым-поэтом было легко и приятно: он понимал все буквально с полуслова, редакторские пожелания, если они обоснованы, принимал без особых возражений.

Для редактирования Юрий дал мне экземпляр рукописи, по которой его поэма ставилась в театрах СССР. Насколько позволяет память, я попытаюсь проследить некоторые нюансы редактирования рукописи. За 32 года работы в издательстве у меня выработался свой подход к произведениям, которые писали талантливые люди. Я почти никогда без согласования с ними не вычеркивал что-либо из рукописи. Этого правила я придерживался и в работе над поэмой Дынова.

"Всего тринадцать месяцев" — первая и последняя прижизненная книга поэта Юрия Дынова. В 2001 году вышла из печати вторая — сборник стихов "Главная роль". Вышла книга в Одессе, в то время как ее автор, сраженный тяжелым недугом, был далеко от города, с которым связана большая часть его творческих взлетов. И, очевидно, мало кто в настоящее время сможет рассказать о его творческой лаборатории. На кое-что я могу пролить свет, так как при работе над рукописью поэмы мы хорошо понимали друг друга. По некоторым черновикам, которые у меня сохранились, могу проследить, как Дынов работал над стихом, над строчкой, над словом.

В то время он редко выходил из дому. Жены целый день не было дома — она работала редактором на киностудии. Сын приходил из школы поздно. А так как квартира Дынова находилась на расстоянии одного квартала от издательства, то директор разрешил мне редактировать рукопись дома у больного поэта. Однажды Дынов сказал: "Наверно, то, что я живу на Пушкинской, подтолкнуло меня написать поэму. Может, живи я на другой улице — ее и не было бы".

Поэма начиналась так:

Пролог

Шум моря. Шум бесконечный. Шум призывный. Он должен пройти через весь спектакль, как его нерв, как его музыка. У портала тополь. Вершина его не видна. В продолжение всего спектакля, меняя окраску, он вводит во время действия.

Сейчас июль 1824 года... Тополь по-летнему полнокровен и зелен.

Пушкин

Вот и пришел он, моего отъезда день...
Приезд... Отъезд... Меж ними — год решений.
Тринадцать месяцев... И каждый, как ступень...
Ах, если б знать, куда ведут ступени?!
Как год назад, июльская жара,
У тополя такие же одежды...
Зеленый цвет... Зеленый цвет надежды.
Таким ты был и год назад... Вчера...

Затемнение

Как видим, поэма начинается с момента прощания Пушкина с Одессой. Пушкин как бы окидывает взглядом прожитые в Одессе месяцы. И действие первого акта переносится в 1823 год, когда поэт прибыл в Одессу.

Пролог мне понравился. Редакторская правка здесь была минимальной.

И я перешел к первому акту. Но на следующий день меня ждал сюрприз.

— Ты будешь смеяться, — сказал Дынов, — но в эту ночь я плохо спал и пришел к выводу, что пролога не будет.

Я тут же открыл рукопись, перечитал начало поэмы.

— Жаль, — говорю, — хорошие стихи. Не хотелось бы потерять хоть эти строки: "Тринадцать месяцев... И каждый, как ступень... Ах, если б знать, куда ведут ступени?!". Кроме того, как быть с тополем? Он у тебя как символ надежды проходит через весь спектакль.

— Не волнуйся, тополь я не выбросил. Пролог — это только предлог, чтобы Пушкин вспомнил о самых важных в его жизни событиях. Вместо пролога я написал "От автора". Представь: сцена, тополь, звучит голос автора. И это уже не только Пушкин, а взгляд нашего современника через столетие, и даже ответ — почему Пушкин нам близок сегодня. Послушай.

От автора

Есть старый дом в Одессе новой...
Лозой увитая стена...

И тополь тридцатиметровый
У окон, где ждала она.

Он втрое вырос выше зданья.
Как остров в море суеты.
Он перерос свои желанья,
Он перерос свои мечты.

Поэт и тополь однолетки.
И в ту далекую весну
Тянулись их мечты и ветки
К ее заветному окну.

А век спустя все тот же ветер,
И с крыши капли, как шаги...
И в те же окна рвутся ветви
Совсем живые, как стихи.

Такое вступление мне понравилось.

Воспользуюсь случаем, чтобы показать, как Дынов работал над словом. Он очень чутко относился к замечаниям и советам. Никогда ничего сразу не отвергал.

Вот каким стало последнее четверостишие "От автора" до редактирования:

И по утрам, спустя столетье
Из крана капли, как шаги...
И в окна рвутся ветки эти...
Совсем живые, как стихи.

Я сказал Дынову, что не обязательно, чтобы капли падали только "по утрам" — они могут падать в любое время суток. А слова "из крана капли" наталкивают на мысль, что в доме, куда стремился поэт, из крана постоянно течет вода. "Может быть, кран нуждался в ремонте", — пошутил я.

Следуя логике, я предложил ему для обрамления поэмы написать от имени автора что-то вроде эпилога.

Юра посмотрел на меня с хитрецей и сказал:

— Я знал, что у тебя возникнет такая мысль. Вместо эпилога я написал еще одно лирическое отступление.

И он прочел:

От автора

Тринадцатый месяц.
Одесские встречи...
Как можно не верить
в наивность примет?
От Черного моря
до Черной речки
Ему оставалось
тринадцать лет.

В связи со строкой о "приметах" я сказал Юре, что в приметы не верю.

— А я верю, но дело не во мне. Пушкин верил.

Поэма заканчивалась сценой, которую Дынов по моему предложению исключил из рукописи. Сама по себе эта сцена интересна. В ней Пушкин перед отъездом из Одессы покупает у мальчишки-птицелова клетку с птицей и выпускает птицу на свободу. В театральной постановке это было весьма зрелищно и символично, но, будучи включенной в книгу, сцена представлялась мне искусственной. В ней было что-то нарочитое, рассчитанное на эффекты, менее всего сочетаемые с поэзией Пушкина. Здесь были использованы театральные приемы. Дынову хотелось, чтобы Пушкин не только говорил, но и действовал, например, выпускал на волю птицу.

Мне же не хотелось, чтобы даже маленький фальшивый штрих испортил впечатление от художественной силы поэмы. В реальной жизни, я думаю, Пушкин еще до отъезда раздал бы долги всем, кому задолжал. Я сказал, что неправдоподобно, чтобы в день отплытия Пушкина к нему пришли именно те, кому он был должен. Это извозчики, которые возили поэта к морю подышать воздухом или на дачу Рено, это и поставщик чернил. Создается впечатление, словно они собрались перед его домом в надежде, что Пушкин вспомнит о своих долгах.

Дынов согласился с доводами и даже объяснил, что написал эту сцену специально для театра. В ней есть очень хорошие строки, по-настоящему поэтичные. Страницы, которые были изъяты из пьесы, у меня со-

хранились. Как писал Юрий Олеша, "ничего не должно пропадать из написанного".

Текст публикуется в авторской редакции. Я оставил в нем все без изменений.

Утро отъезда. Никита с людьми выносит к коляске вещи Пушкина.

Никита

Несите осторожнее, бродяги.

Первый

Там что, стекло?

Туманский

Да нет, бумаги.

Пушкин

Кому я должен? Налетайте.

Первый

Я в море вас дышать возил.

Пушкин

За воздух, значит? Получайте.

Тебе?

Второй

За полведра чернил.

Пушкин

А ты возил меня на дачу

Благословенного Рено.

Возьми. И столько же в придачу.

Еще мздоимцы есть лихие?

Кому-то должен я еще?

Туманский

Да.

Пушкин

Не тебе ли?

Туманский

Нет. России.

Пушкин

Ну, это неоплатный счет.

(К Пушкину подходит Оборванец, с живым интересом наблюдающий сцену раздачи денег).

Тебе?

Оборванец

Нет. Мне вы не должны.

Но просто деньги мне нужны.

Пушкин

С ума сойти от смеха можно.

Я должен всем и вся за всех:

За то, что я пишу, — я должен.

За то, что я дышу, — я должен...

Все в долг. А что же здесь мое?

(Хохочет).

Туманский

Год.

Пушкин

(Очень серьезно).

Трудный год.

Туманский

За этот год

Ты тот и вроде бы не тот.

Пушкин

(тихо)

Достиг я грустной зрелости черты,

И с этой крутизны мне стало ясно:

Шум — суета. Шум — трата сил напрасно.

Служенье муз не терпит суеты.

(Пушкин направляется к коляске, и в этот момент дорогу ему пересекает Мальчишка-птицелов. В руках у него клетка с птицей).

Никита! Денег!

Никита

Для чего?

Пушкин

На это дело грех скупиться...

Я должен выкупить...

Никита

Кого?

Пушкин

Почти такое существо,

Как я...

Никита

Опять, наверно, птица.
Но всех не выкупишь.

Пушкин

А жаль.

Мальчик

Я дешево.

Пушкин

Не в том печаль.
А сколько?

Мальчик

Рубль.

Пушкин

Совсем пустое...
За жизни платят по рублю.
Как дешево свобода стоит!..
И все же я ее люблю.

(Дает мальчику деньги, тот хочет убежать).

Куда?

Мальчик

Еще я наловлю...

Никита

Зачем?

Мальчик

А барин мне заплатит!

Никита

Назад!!!

Пушкин

Да. Денег мне не хватит
Платить за все, что я люблю.
Хоть платит, в сущности, поэт
За все...

Мальчик

А чем?

Пушкин

Своею кровью...
За жизнь. За ложь. За солнца свет.
За то, что мы зовем любовью.

Мальчик

Ты брешь, дядечку.

Пушкин

Постой.
А почему брешу я, милый?

Мальчик

Ты слишком, дядечку малой,
Чтобы так много крови было.

Пушкин

(смеется)

Ах, Цицерон! Дитя мое!
Откуда эти переходы!
Ты прав. Мне надобно ее
Хранить еще и для свободы.

(Никите)

Стихи ты помнишь, что любил
Ты в Кишиневе?

Никита

Да. Конечно.

Пушкин

За них нас Инзов — друг сердечный —
С тобой в Одессу отпустил.
На волю. Не прошло и года,
И в прах развеялись мечты.
Одесса, милая свобода,
Как быстро клеткой стала ты!

Никита

Запомнил их почти.

Пушкин

Прочти, Никитушка! Прочти!!!

(Никита начинает читать стихи, Пушкин вынимает из клетки птицу и гладит маленькое нахохлившееся существо).

Никита

В чужбине свято соблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птицу выпускаю
При светлом празднике весны.

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА
"Тревогою обвиты ожидания..." 284

Пушкин

Я стал доступен утешенью.
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я смог свободу даровать!!!

(При последних словах бросает птицу ввысь, как мальчишки пускают голубей. И вместе с взлетевшей птицей взмывает музыка).

Летит! Счастливей всех на свете
Пичуга вольная моя.

Никита

Ах, деньги выбросил на ветер!

Пушкин

Все бросил бы на ветер я!

(Звучит невидимый хор)

Хор

Мы вольные птицы. Пора, брат, пора.

Пушкин

Туда!!!

Хор

Где за тучей белеет гора!

Пушкин

Туда!!!

Хор

Где синеют морские края!

Пушкин

Туда!

Хор

Где гуляем лишь ветер да я!!!

(И снова возникает июльский тополь).

Занавес

"Тревогою обвиты ожидания..."

Среди забытых сегодня одесских периодических изданий первого десятилетия прошлого века можно назвать журнал "Начало" (редактор-издатель А.Г. Фингергут).

Он появился в январе 1907 г., так же, как и "Дивертисмент", но, в отличие от своего театрального "собрата", просуществовал лишь один месяц. Вышло пять номеров этого "журнала литературы, искусства, политики и сатиры". Сейчас трудно понять истинные причины его недолголетия, можно лишь что-либо предположить. Например, чрезмерное увлечение его создателей идеями социализма. Журнал вышел в скорбные дни второй годовщины 9 января, "в тяжелую годину нашей жизни", когда в стране были голод, тиф, дизентерия. Обозреватели считали, что Европа находится "в периоде усиленного политического брожения, ликвидации старого порядка, с его бесправием, привилегиями и несправедливостями и водворения свободного правового строя – всеобщего политического и гражданского равенства".

В каждом из номеров вы увидите работы бельгийского скульптора Константина Менье и подробный анализ его творчества, ибо художник, воспевавший величие человеческого труда, был как бы поставлен во главе эпохи. Его скульптуры объявлялись "аллегорией силы народных масс", а композиция "Памятник труда" – "целая философия души, а, может быть, и пророческая прелюдия будущего".

И при этом сиюминутность политических событий, вероятно, волнующих современников, но мало что уже говорящих нам, так же, как и "служебные комбинации в бюрократических сферах", заботы о "физиономии" будущей Государственной Думы и нюансы очередных выступлений премьера Петра Столыпина.

В журнале "Начало" публиковались маститые авторы и талантливые начинающие литераторы и художники, но подавляющее большинство материалов в художественной форме отражало те же политические брожения. Это можно сказать о стихах и прозе известного писателя А. Федорова, политических баснях "Дяди Яши" (фельетонист Яков Соснов), драматических сценах и литературных фантазиях Б. Флита. Понятно, что в таком издании была уместна публикация молодого Корнея Чуковского – переводы из Уолта Уитмена. Сотрудничали с журналом известный одесский художник Соломон Кишиневский и студент-юрист Михаил Дризо – будущий карикатурист MAD. Женская ностальгия по прекрасному была представлена стихами Изы Кремер и Людмилы Шахрай. Изредка на страницы журнала просачивались одесские улыбки. Предложенная подборка знакомит вас с изданием, представляющим в наше время безусловную библиографическую редкость.

Татьяна ЩУРОВА



А. Оедорова. «Сонеты». Только что вышли въ свѣтъ «Сонеты» А. Оедорова (изд. «Шиповника»). Поэтический талантъ А. Оедорова въ этихъ «Сонетахъ» проявился съ особеннымъ блескомъ. Прекрасны сонеты «Пустыня», «Башня безмолвія», «Синисъ» и другіе, содержаніе которыхъ навѣяно на поэта его странствіями по Востоку. Стихъ сильный, звучный, металлическій. Есть также вещи, имѣющія болѣе близкое къ намъ отношеніе, какъ напр., сонетъ «Кровь».

Все кровь и кровь. Она, дымясь, струится,
И день и ночь, отмщеніемъ грозя.
По трупамъ смерть, какъ царственная птица.
Къ струямъ спускается, скользя,
И жадно пьетъ. Но кровью не напиться.
Куда ведетъ кровавая стезя?
О, горе тѣмъ, кому ничто не снится!
Все знать и жить... Такъ больше жить нельзя.
Измучили безсвязные кошмары,
Безумная и злобная рѣзня,
Визжаніе пуль и тяжкихъ бомбъ удары.
О, Божій гнѣвъ! Поди съ небесъ, казня
Того, кто насъ обрекъ на эти муки,
А самъ омылъ въ крови страдальцевъ руки“.

Изданы «Сонеты» А. Оедорова весьма изящно. Стоять въ продажѣ 40 коп.



«Памятникъ труду». К. Менис.
(Фигура рабочего).

* * *
Съ утра былъ воздухъ мутно синий.
На западъ, тусклый какъ туманъ,
Неслись тучи. Океанъ
Одѣлся траурною ризой
Все возмущало ураганъ.

А накануне ореоломъ
Была луна окружена,
Давила волны тишина;
И кто-то злой крыломъ тлѣлымъ
Порою вздрагивалъ со сна.

Какъ бы въ предвѣдѣніи тризны,
Корабль надъ бездною трепеталъ.
Изъ птицъ никто не залеталъ
Къ волнамъ, не знающимъ отчужды.
Часъ тьмы и ужаса насталъ.

Какъ духъ вражды неукротимый,
На волны вѣтеръ налеталъ
И пѣсню мщенія запѣлъ.
Хвала тебѣ, немолчимый!
Свобода—гордаго удралъ.

И съ раздраженіемъ и воемъ
Поднялись волны на дыбы.
Да будутъ прокляты рабы!
Кто грезитъ миромъ и покоемъ,
Падетъ отъ праведной судьбы!

Тамъ въ трюмъ корабля ютятся
Людей покорныя стада.
Нѣтъ гонять голодъ и вражда,
Имъ сны пугающіе снятся.
Но близокъ страшный часъ суда.

Какъ заври, волны бьютъ съ размахомъ
Въ борты, смывая и стеньги,
И обшаривая, и дразня.
Для нихъ корабль—живая плаха,
И казнь свершится среди дня.

Смерть оробѣлымъ и покорнымъ,
Смерть тѣмъ, кто все сносили дрожа,
Борьбы боялся, какъ ножа.
Мирился съ произволомъ чернымъ,
Съ безсиліемъ скользкаго утеса.

И тамъ, гдѣ шаткая свобода
Манитъ ничтожныя сердца,
Рабомъ онъ будетъ до конца,
И обветаетъ его неслгода
Кровавымъ терніемъ вѣнца.

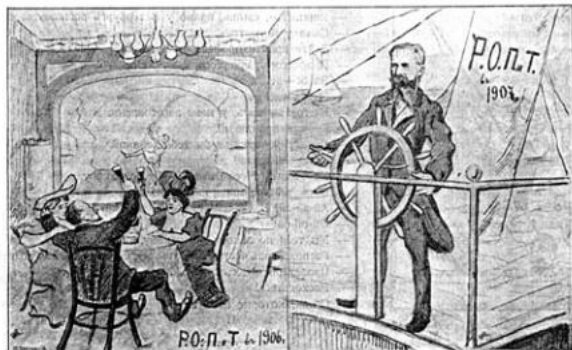
Ударъ эсе буря въ борты оклеветный,
Корабль стихіей поглоти,
Чтобы грядущее спасти
Отъ рабскихъ душъ, чтобъ въ тѣмъ беззвѣздной
Свободный къ истинѣ идти.

А. Оедорова.

С М Ъ С Ъ.

Борьба женщин с алкоголизмом. В борьбе с алкоголизмом видная роль принадлежит женщинам, которые не только работают рядом с мужчинами в общих организациях, но образуют и собственные союзы. Из последних основанных в 1974 г. «Пожарный союз»

«Кристианский союз воздержания» является наиболее крупным. Они охватывают 16 стран. Одно из важных средств в этой борьбе с алкоголизмом — организация дней, безалкогольных вечеров. Организация основана 280000 дней, которые руководят 60000 женщинами. Организация занимается доставкой и продажей напитков и провизии, чтобы избежать социального вреда алкоголя. Через посредство общественного питания они стараются воздействовать на законодательство. Голландия, например, в 1974 г. приняла закон, запрещающий продажу алкоголя женщинам, продающим из названного союза борется за воздержание. Во многих штатах Америки уже удалось добиться закона, по которому общинам запрещена всякая продажа спиртных напитков. Подобный же закон проведен в Австралии и в Великобритании. В Финляндии в результате борьбы с алкоголизмом удалось добиться закона, по которому общинам запрещена всякая продажа спиртных напитков. Подобный же закон проведен в Австралии и в Великобритании. В Финляндии в результате борьбы с алкоголизмом удалось добиться закона, по которому общинам запрещена всякая продажа спиртных напитков.



Пусть!

Пусть дорожку пресытит мнѣ черная стѣна,
Пусть останусь на пути тѣлесномъ я одна,
Пусть предстанутъ предо мною горы до небесъ,
Пусть мнѣ давится навстрѣчу непроглядный лѣсъ,
Пусть потоки, бури, вихри путь мнѣ преграждаютъ,
Пусть все зла и мрака силы выстроятся въ рядъ, —
Никого и ничего я въ мѣръ не страшусь
И къ моей завѣтной цѣли — проберусь, добьюсь!

Иза Креймеръ.



Рекорды въ области рекламы.

Специально для этой рекламы фирма «Вонга» въ Лондонѣ устроила конкурсъ «Сравнения». Дамы и дѣвочки, получивши призы, были затѣмъ фотографированы и портреты ихъ составили фонъ для настоящаго объявленія, обошедшагося фирмѣ въ 9000 рублей.

Изъ Тейхе.

Пародія.

На свѣрхъ далеко
растетъ одиноко...

На свѣрхъ дикомъ живетъ одиноко
Среди развалинъ и грудъ,
И ночи, и дни о погрозѣ мечтаетъ
Громила импѣтний Грингмутъ.

И снится смущѣно на югъ далеко
Такой же, какъ онъ, хулиганъ
И ночи, и дни о погрозѣ мечтаетъ
Громила другой — Крушаванъ.



Изъ Тѣте.

Пародія.

Горныя вершины
скажутъ въ полночь.

Улицы Одессы
Спятъ во тьмѣ ночной,
Хулиганы-бѣсы
Такъ и ругаются въ бой.

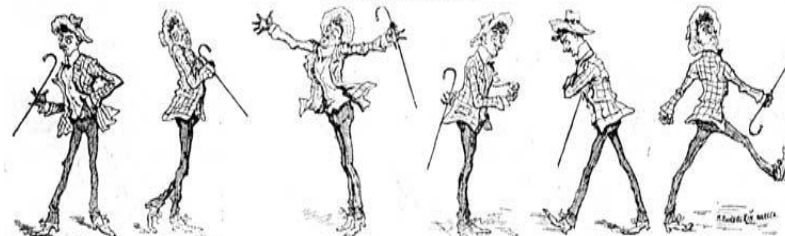
Кто-то на дачѣхъ
Спрятался въ кусты.
Неожиданно многого,
Гудеть бить и ты.

МАНФРЕДЪ.



Ну, сдѣлай, теперь смѣло идемъ по Торговой!

Несостоявшееся randou.



7 1/4 ч.
— Я на вѣтер!

7 1/4 ч.
— Еще четверть часа,
и она дѣлка!

8 ч.
— Прикинь меня въ свою
область!

8 1/4 ч.
— Ой, ой, ой, что жъ это
она не идетъ!

8 1/4 ч.
— Это чортъ знаетъ
что!

8 1/4 ч.
— И что я вылезъ изъ
этой глупой дѣлочки?

(Басма)

[illegible]

Не мало разнятся лица:
Посредняков, пастышей с улыбкою продажной,
И «любименьких» вельсь ошачьих,
И множество дельцов с душенькою шантажной.
Кто-же, в конце, махнул рукой на многолюдную,
Тысяч голоду пошла Нилуток туту голодный...

Смысл жизни лосен сердце и разуму.
Гласит нам он:
Дать бюрократу миллион —
Не значитъ злиба дати голодному Жиду.

96. Can...



Одесситы приветствуют депутата О. В. Погодина при выходе из избирательного собрания

Въ странѣ, обреченной страданью,
 Пою любовь, окупанную желаньем,
 Когда-то царица, по преданью,
 Волшебникъ, свирѣль и лютнь.
 Укрѣплъ желанъ рѣкового
 Огонь пучковъ изъ бедныя алычавы
 И силой волшебнаго слова
 Изъ изъ бедную овалъ жемчужинахъ.
 Ты думи не думали были.
 Когда-то дано, изъ старинку
 Они, какъ сѣмью, любими
 Свою дорожку старинку.

По башням аломатых черы—
И стили рабские ступи,
По юльям медовою кары
Вампирским бибоду ступи.

Однороды влюбленные из склепных,
Трогательно душой полюбил,
Ужасно аломатых—мать пил,
Нелюбим дулю предъ мамой.

И, из страдан дровос предъ влюбкой,
Нелюбимых из кровенной палаты,
И стилились пилоскою дайкой,
И били вилы дорожкой.

Но что этой! Небо стилились,
Ужасно аломатых ног,
И стилились влюбленные,
Маленькие стилились из кровенной.

Онь стилились влюбленные ступи,
Онь из стилились кровенной ступи,
О, рабство! Онь влюбленные стилились,
Влюбленные стилились стилились.

«Слетайтесь безудержнымъ роснъ,—
«Пробнѣтъ пробужденія чистъ.
«Нѣ можнмъ бѣднмъ злрѣмъ
«Мы влстн, породнвшю нстъ»

И чудо свершилось мгновенно:
 Руками воскресших людей
 Истерзанъ волшебникъ надменный,
 Низверженъ кумиръ—чародей.

Развилась чума проклятая,—
Вспыхнула чудовищный огонь,
И привалила снова из облытая
Страна своим скорбным сыном.

А. Броникъ.

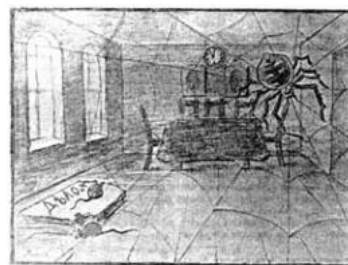


Post-survey controls

Современная басня.

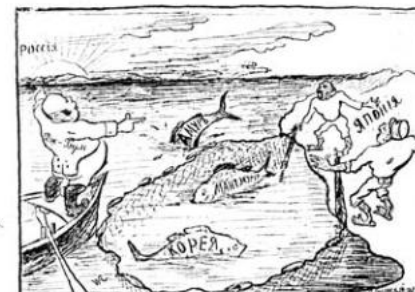
Мышкетер как-то гордый Левша
 В чистом дружку повзлать къ обиду.
 Компания была большая, и въ беседу
 Вступили все, порозькозъ озвмыватъ.
 Тутъ, ощутивъ притокъ
 Сопитментальныхъ чувствъ и даже умиленья,
 Хладный вечеръ съ улыбой сожмалъ.
 Мышкетю вслухъ посылъ шутку:
 — Ты, милый,—речь оиъ томоку дружбу,
 Трусливѣе урзъ болыно на слово,
 Стывсякшея, молчишь и движешься сово,
 Неговоря! Полюби, шутъ нмъ и стиранинствъ,
 Ни дисциплины ни и службъ.
 Тутъ все равны,
 Тутъ все сердца и помелы полны
 Благоселъте, ласканыи нежныи...
 И вотъ тебя, мой соулъ: чгобъ доказать,
 Чго фралюко небрежнъ
 Я поугу не стину цеголствъ,
 Прову тебя, чгобъ ни отныиъ
 Со мной беседовалъ, не въ стирзъ и кручннъ,
 А слово съ братомъ брать.
 Ты можешь говорить, оныиъ, чго угодно,
 Учтъ мекъ, руснъ, критиканствъ свободо,
 — И буду оиъ радъ.
 И все прослушаю покорно, благодарно!—
 Мышкетю, въслушавъ такую речьъ,
 Оиъ систа чмъль чась не мнъ ни венииъ, ни
 Такой свободѣ нншъ Мышкетю.
 Не представлялъ себъ съ пленкомъ.
 И вотъ,
 Чгобъ сброситъ, наконецъ, съ себя тяжелый ягелъ
 Мошчалнства и трусости волнозой,
 Мышкетю съ дмюю мажорной

А ручь-тоя — сердитый упрямца!
О, если-б ты, как родной тылсина,
Дары свои транила!
О, если бы ты няи
Распоржалея с цылым шимми!
Притомля: лишь вчера, когда ты кончу
Копилка деля, мы видела картину:
Осерлым Нокст терала Оцу,
И вопль о помощи ося озмашла болону.
Что-жбы сдлал ты? Ты не поможа оячу.
Вь, волка, бесстыдному наделу,
Ты видела торжестве мосуэтуя роднока!
Однж-лиш, взгляды, одно лиш, слово,—
П ты-б ояч спасение дала!
Но... слова отца, а Лейт, мы не сжмели.



Одесская Губернская Училищная

Вспомнил из плути и изговорил:
Приветствую, о Тее, изъяслять мимикой силъ,
Твоимъ словамъ! Они—одною опора!
Теперь ужъ, якъ крикнуть душой не надо,
Теперь ужъ, я
Могу тебя, все, все не утѣля,
Сказать, что думаю. И для начала
Вотъ речъ моя:
Ты, Тее, ужъ слишкомъ мило
Избавишься о насъ, а о себѣ
Ужъ слишкомъ думаешь. Какоеждо сродно,
Ты кѣмъ-то крестомъ и елико на дѣлѣ,
Твоей алмазъ—искусство огню.



Джонъ Билъ. Эсъ, нѣ, такой рыбакъ—да дали уйдѣ

Но что случилось, восторгавшегося:
Овцы не стаяли—
Мышекоткочка, рыча, отклонялся и сать.
Но тут случилось что-то,
Что и описывать мне, право, не охота:
Из Мышкину Лев вдруг подскокачел стрелой
И закричал сурово:
«А! Так-то хочешь ты свободу слова?»—
Мышекоткочка отпрыгнул... за ошей.

Къ Мышенку и Овцѣ сдѣла-ли
Попасть въ компанію захочется кому.
И потому
Позволимъ воздержаться отъ морали.

Дедя Яша.





Сонъ.

Изъ „Пролетарскихъ пѣсень“ Морриса Розенфельда.¹⁾

Упали дрожавшія лунныя нити
На море, на темныя кущи...
По тихой долинь забвенья и смерти
Ведетъ меня Сонъ всемогущій.

Найдется мѣстечко на старомъ кладбищѣ
И счастьемъ, и скорби великой.
Спитъ рядомъ хозяинъ съ наемникомъ грустнымъ
И рабъ съ своимъ гордымъ владыкой.

Какъ призраки, стали плакучія ивы,
Какъ смутныя тѣни былого.
Душа моя внемлетъ молчанью, молчанью...
Ни вздоха средь мертвыхъ, ни слова.

Лишь вѣетъ зефиръ надъ долиною смерти,
Какъ братъ надъ сестрицею нѣжной:
„Миръ косточкамъ сырымъ, миръ бѣдному праху—
Покойтесь въ гробу безмятежно!“

„Ты видишь?“ спросилъ меня Духъ сновидѣній.—
Лежатъ два холма передъ нами:

¹⁾ Современный еврейскій поэтъ. Родился въ Россіи (въ 1862 г.), но уже 25 лѣтъ живетъ въ Америкѣ. До послѣдняго времени работалъ въ португальскихъ „потогонныхъ“ мастерскихъ (Sweat-shop); теперь разбитъ параличемъ, отдыхаетъ... Въ 1898 году его лучшія пѣсни были изданы въ англійскомъ переводѣ профессоромъ Говардскаго университета Лео Винеромъ. Вскорѣ появились переводы произведеній Розенфельда на нѣмецкомъ языкѣ (Бертольдъ Файвель), а затѣмъ — на французскомъ и чешскомъ. Изъ русскихъ поэтовъ переводилъ Розенфельда, между прочимъ, П. Я. („Мой мальчикъ“ — въ „Русскомъ Богатствѣ“).

Одинъ изъ нихъ голой чернѣетъ землю,
Другой же усыпанъ цвѣтами“.

— „Какъ странно! — сказалъ я. — Великая Матерь
Векормила ихъ грудью одною,
Одинъ ихъ ласкаетъ зефиръ тихоструйный“...
— „Всю правду тебѣ я открою.

О, знай же: въ могилѣ, поросшей цвѣтами,
Спитъ ловчій изъ своры жестокой;
Въ тенетахъ его извивался рабочій
Съ разсвѣта до ночи глубокой.

Кровь теплую дѣтокъ, воркующихъ дѣтокъ,
Онъ пилъ ненасытнымъ вампиромъ,—
И кости его оттого побѣлѣли
И саваномъ одѣлися эфиромъ.

Изъ пышнаго тѣла теперь поднялися
Душистыя, алыя розы,
Но это цвѣты не его, а рабочихъ,—
То потъ ихъ кровавый и слезы!“

Тутъ всталъ изъ могилы рабочій и крикнулъ
(Жила въ немъ великая злоба!):
„Мои здѣсь не только цвѣты на могилѣ,
Но доски, но гвозди изъ гроба!“

Отдайте мнѣ саванъ, и прочный, и бѣлый,
Отдайте мнѣ Талесъ²⁾ богатый!
Они моимъ потомъ и кровью добыты,
Изъ сердца, изъ печени взяты!“

И взвился высоко порывомъ могучимъ.
„Все это пройдетъ ли вамъ даромъ?“
Онъ поднималъ кулакъ свой... онъ міръ уничтожитъ
Однимъ безпощаднымъ ударомъ...

Проснулся я... Въ сердцѣ, какъ бурныя волны,
Росли и тоска, и участие.
И слышу я голосъ: „Цвѣты развѣ только?
Онъ радость укралъ у насъ, счастье!“

²⁾ Покрывало для молитвы.

К. Бархинъ.

АХ, ОДЕССА

Елена ГАЛИНСКАЯ "Homage to Odessa"	295
Михаил ПОЙЗНЕР Стучите. Заглядывайте... ..	302
Мариам ЮЗЕФОВСКАЯ Арбуз с хлебом	313
Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК "Городок" - пятый угол	320
Феликс КОХРИХТ Боги, гробницы, ученые... ..	323

Елена ГАЛИНСКАЯ

"Homage to Odessa"

Так называется альбом, недавно выпущенный в Тель-Авиве, название которого — "Дань уважения Одессе", — безусловно, бальзамом прольется на сердце каждого одессита. Эта большого формата оригинально и со вкусом оформленная книга издана вслед за выставкой с одноименным названием, которая экспонировалась в Израиле, в Музее Диаспоры.

Выставка имела трехступенчатую концепцию и состояла из трех автономных выставок: первая — "Одесса моей юности" — картины художника Е. Ладыженского; вторая — "Одесский круг еврейских писателей. 1881-1921 гг."; третья — "Возвращение в Одессу" — серия фотографий Деби Купер и, таким образом, охватывала столетний период развития одесской еврейской общины от расцвета в нач. XX века и до возрождения на рубеже XXI века. Альбом представляет эти выставки и издан параллельно на 2-х языках, иврите и английском. Кроме вступительной статьи куратора выставки и собственно каталога, книга снабжена двумя замечательными эссе: профессора Стэвена Зипперштейна из Стэнфордского университета "Как это делалось в Одессе" и профессора Дана Мирона из Колумбийского университета "Мудрецы Одессы". Проф. Зипперштейн, будучи автором первой полной истории евреев Одессы в XIX веке, являлся главным консультантом и экспертом выставки. В альбоме много иллюстраций, — виды старой Одессы, живописные работы и фотографии, а также уникальные снимки одесских писателей, их книг, периодических изданий, которые выпускались в Одессе, когда она была центром еврейской литературы.

На переплете альбома цветная фотография начала XX века: трамвайная остановка на перекрестке улиц Тираспольской и Нежинской, где достаточнолюдно и оживленно — пролетка, велосипед, конка с открытым "одесским" вагоном, трамвай, идущий на Слободку, он пустой, потому что "идет на круг"... В центре — павильон трамвайной остановки с черепичной крышей и шпилем, когда-то таких было много в Одессе, их строили еще бельгийцы... Фасады домов, на одном из них различима вывеска "Одесский конфексион", а в голубом небе, за кронами деревьев видны золоченые купола Успенского собора...

Выставка об Одессе и ее уникальном вкладе в современный Еврейский Ренессанс задумывалась давно, в середине 90-х. К этому же времени, полагаю, относятся воспоминания Анны Мисюк из одесского Литературного музея (альманах № 10, стр. 293), где она пишет, что "музей уже начал беспокоить немногочисленные пока гости из Израиля по поводу почти полного отсутствия в экспозиции известной им (но не нам) одесской плеяды еврейских писателей". Прошло время. Гостей из Израиля в Одессе давно уже "более чем...", а еврейские писатели уже известны сотрудникам Литературного музея и, очевидно, не им одним, ведь появились же мемориальные знаки на домах, где жили эти писатели... Беспокойство же израильских "гостей" увенчалось выставкой "Дань уважения Одессе", проходившей в одном из красивейших мест, на территории Тель-Авивского университета, в Музее Диаспоры.

В последние десятилетия XIX века Одесса была активно действующим и процветающим портовым городом с многонациональным населением. Для многих евреев она стала тихой пристанью, где существовали относительные свободы, религиозная терпимость и широкое поле деятельности для экономической инициативы. В начале XX в. еврейская община Одессы становится второй по величине еврейской общиной Российской империи, — 1 500 000 чел., что составляло треть населения города. Во всех местечках черты оседлости об Одессе говорили как о месте, где богатство само идет в руки и где хорошо живется, тогда-то и возникла идишская поговорка "Жить, как Бог в Одессе". В атмосфере либерализма, характеризующей Одессу, у многих евреев были сильны тенденции к культурной ассимиляции, они приветствовали идеи Хаскалы — еврейского просвещения. Свобода от пут религиозной традиции и открытость к восприятию новых идей способствовали быстрому превращению одесских евреев в новый тип евреев, желающих жить по-западному и поворачивающихся все больше и больше к русской культуре, что вызывало недовольство национальных ортодоксов, придумавших поговорку "На семь миль вокруг Одессы пылает адский огонь" и называвших Одессу "городом грешников".

С конца XIX в. Одесса стала центром сионистской активности и современной литературы на иврите. Круг блестящих интеллектуалов и писателей, собравшихся в Одессе, вел многостороннюю культурную деятельность. В этом сообществе особенно выделялись трое: писатель Менделе Мойхер-Сфорим, мыслитель и публицист Эхад Хаам — основатель "культурного сионизма" и поэт Хаим Нахман Бялик. Они оказали влияние на формирование "одесского литературного стиля" и составили ядро Одесского литературного круга, в который входили Равницкий, Бен-Цион, Бен-Ами, Левинский, Дубнов, Клаузнер, Черняховский, Фишман, Фруг, Шнеур. В Одессе жили и другие писатели, не входящие в этот "круг" — Шолом-Алейхем, Беркович, Черновиц, Жаботинский, Друянов, Штейман. В городе издавались еврейские периодические издания и действовала единственная в России еврейская типография. Однако со временем все более усиливалось отчуждение между одесскими евреями, стремящимися жить по-европейски, и еврейскими писателями, претендующими на роль духовных наставников. Натан Горен в "Одесских зарисовках" того времени писал: "Все та же Одесса — легкая и изящная, захватывающая и околдовывающая — как далека она от едкой сатиры Менделе, мрачного недовольства Эхад Хаама и от болезненно-божественного присутствия Бялика!". К 20-м годам значение Одесского литературного круга падает. Но еще раньше, в первом десятилетии XX века, Одесса теряет свое значение центра международной торговли и начинается общий закат еврейской общины... Это время блестяще описано в романе В. Жаботинского "Пятеро".

XX век был немилостив к евреям: в его катаклизмах и катастрофах еврейский мир был подвержен тотальному разрушению и фактически перестал существовать. Прошедшая выставка и только что вышедший в свет альбом "Homage to Odessa" напоминают об одной из ярких страниц еврейской истории.

"Одесса моей юности" — серия картин художника Ефима Ладыженского (1911-1982).

На полотнах одного формата (90x100) изображена Одесса, увиденная глазами мальчика и юноши, но через призму восприятия взрослого человека (одесский цикл Ладыженский начал писать в 1968 году, когда давно уже жил в Москве). Прошедшее время окрасило воспоминания о родном городе

смелыми и яркими красками, свойственными юности, но это же время наложило на картины, даже самые веселые и беспешабные, ностальгическую грусть, свойственную зрелости. Картины, написанные в примитивистском стиле, воспринимаются как мизансцены из прошлого Одессы: крикливые рынки, шумные улицы, дворы, садики, нарядные кафе, а в них одесситы — последние могикане — поденщики, торговцы, ремесленники, артисты, бандиты, любители искусства... "Цирюльник Кольмахтер", "Часовщик Коган", "Мой дядя Шалом", "Хупа в танцклассе Зингера", "Студия Бершадского", "Я Сема Алебастр, веселый куплетист", "Лотерея Аллегри в пассаже", "На-летчик, его невеста и шаферы", "Манька-рыбачка", "Кафе Печеского", "Городские меломаны"... — глядя на них, каждому одесситу есть что вспомнить!

На красочных полотнах Ладыженского Одесса удивительно светла и многоцветна, жизнь в ней бьет ключом, женщины нарядные, в белых платьях... Лишь небольшая часть картин об Одессе времен гражданской войны написана темными тонами.

На выставке экспонировалось более 50 картин, и почти каждая из них сопровождалась цитатами из литературных произведений или воспоминаний, получалось, что живописные полотна соперничали с не менее живописными текстами, и возникал образ незабвенной Одессы...

Вот картина "Школа Столярского": маленькие дети и их мамы чинно идут по городской улице, где трамвай и телега с бочками, а в руках у всех футляры со скрипками... Как не вспомнить тут рассказ Бабеля, в котором он описывает "...фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках, ...кому предстояло играть в Букингемском дворце".

К картинам "Пошли дыни", "Бессарабское вино", "Утром будут торговать кавунами" уместен отрывок из рассказа "Мед Одессы" Элиэзера Штейнмана: "Одесса в теплые ясные осенние дни кажется земным раем... На каждом углу изобилие цветов, корзины с фруктами и прочими деликатесами... все это превращает Одессу в прекрасную драгоценность, полную утонченного вкуса и радующую глаз...".

Или, например, картина "На базарной площади" — здесь лотки и шумная толпа, в центре которой борец с медведем и шарманщик. "Шарманка в Одессе играет большую роль. На улице — шарманка, дома — шарманка, в трактирах — шарманка, в комедии — шарманка, и даже в синагоге — прости господи! — тоже шарманка! В Одессе вечно суeta, шум, сутолока. Шарманка визжит, играет, поет, свистит..." — это уже одесский классик Менделеев Мойхер-Сфорим.

Нет, хоть и велик искус, но не благодарное это дело — описывать картины. Поэтому отмечу лишь, что в них, собранных воедино, проступают черты и аромат любимого города, — "Это чарующий город, веселый город, преступный город... Здесь, вне всякого сомнения, уважают правду; но и вранье не считается за большой грех... Каждое незначительное заявление превращается в знаменательное событие, массы возбуждены, руки взмываются вверх, стены и кофейные столики содрогаются от волнующих криков. А вот поцелуи здесь дешевы, если не сказать больше — их раздают бесплатно..." — писал Владимир Жаботинский.

Полиграфически выделенные литературные иллюстрации удачно дополняют и украшают альбом "Homage to Odessa".

Цикл фотографий Деби Купер "Возвращение в Одессу" был сделан в начале XXI века. Д. Купер уроженка США, репатрировалась в Израиль в 1978 году. Ее фотографии часто появляются на страницах израильской и американской прессы, она участница выставок в Израиле, США, Франции. В сентябре 2000 года Деби была командирована в Одессу еврейской организацией Джойнт.

Фотографии Д. Купер рассказывают о сегодняшней Одессе и еврейской общине, в которой ныне не более 45 000 чел., и вряд ли они что-нибудь знают о славном прошлом своей общины и о той еврейской культуре, которая процветала в городе каких-нибудь сто лет назад. Серия ее фотографий воспринимается как единая музыкальная тема, талантливо импровизируемая автором. Пожалуй, это блюз. Да, блюз — жалоба, тоска по счастью... Язык фотографий Деби Купер прост и даже чрезмерно заземлен: дома, улицы, лица людей, фрагменты быта, — все это в цветах осени, в цветах запустения, — осенний одесский блюз...

P.S., или Лирическое отступление автора

Я больше не живу в Одессе, но Одесса живет во мне, у меня с ней генетическое родство, она вошла в состав моей души.

...Этой осенью я кружила по Одессе вместе с листьями, путая названия улиц, адреса, номера телефонов... Спуски, мосты, колоннады, лестни-

цы, чугунные ограды, — я листала свой город, как дни любви, вспоминая все до мельчайших жестов и интонаций.

В детстве для меня, живущей на Пересыпи, "город" ассоциировался, прежде всего, с Соборной площадью, куда я с папой отправлялась "кутнуть". Было так упоительно радостно ехать трамваем весь этот долгий путь туда, где столько соблазнов и развлечений, где лошадка-пони и коляска с кожаными сидениями, на которых так нелегко было удержаться, чтобы не соскользнуть в моем нарядном крепдешиновом платье, а венцом всему (о, счастье!) — мраморный столик кафе, где я смаковала сладкую воду с пузырьками — ситро! — и ела песочное пирожное!

Подруга назначила мне свидание на 16-й станции Большого Фонтана. Я медленно ехала трамваем по романтической дороге, где кружила прощальный бал осенняя листва, а прошлое и настоящее текли в одном измерении... Здесь, на 9-й станции, я ежегодно проводила свое пионерское лето. Невозможно забыть таинственные мистерии ночных костров; самые вкусные на свете твердые неспелые абрикосы, украденные из сада под стук выскакивающего из груди сердца; тревожные томления в темных аллеях под звуки пионерского горна, трубящего отбой — "Спать, спать по палатам...", — но воспринимаемого как трубный зов любви... И везде над всем — море! ...Я закрываю глаза и физически ощущаю ту ночь, когда прожекторы сторожевых судов выхватывают из тьмы нас, прижавшихся на каменном волнорезе...

...Я хожу по городу, "знакомому до слез", заглядывая в окна и дворы в поисках одесского "неореализма". Я втягиваю воздух, — знакомые запахи и звуки плывут в улицах и переулках...

Продукты я покупала в магазине с замечательным названием "Вечный зов", но, естественно, не могла отказать себе в удовольствии посетить Привоз. Роскошь снеди и пиршество красок складывались на прилавках в сочные фламандские натюрморты — на Привозе есть все! Он и есть основной инстинкт, вечный зов одесситов — вечный Привоз!

А как я ликовала, читая объявления с одесскими лингвистическими перлами и слушая, как по телевизору кто-то делится "своими описаниями про жизнь", а моя соседка комментирует: "Так же само было и вчера". Торжественной монументальностью звучат мамины самые обычные, кухонные, слова: "Протяни руку, подай мне соль" или "Мне чай без ничего!". А любимые мной "Я замерзла в ноги", "Я замерзла в руки" или "Я не имею времени" по-прежнему абсолютно нормативны в моем городе. Одесса, как Англия, традиционна, самодостаточна и полна скрытого высокомерия.

...Я ходила по одесским улицам, как зритель, как счастливый бездельник, как гость, приглашенный на фестиваль. С пушкинских времен в Одессе "ясны небеса" и "все Европой дышит, веет"... Как быстро здесь ухватили и развили стиль и привычки цивилизованного буржуазного города! Удобные и светлые магазины, современные витрины и очаровательные интерьеры многочисленных ресторанов, где карты меню, как толстые литературные журналы (от "шницеля южного" и "бифштекса с яйцом" не осталось и следа).

Забавно было видеть буквально на каждом углу, даже на трамвайных остановках, игровые автоматы и кафе "Караоке" — поиграл, попел и поехал дальше... А как много цветов, — целые бастионы! Изысканные цветочные магазины в ночи сверкают стеклянными гранями, как драгоценности; они, ей-богу, не уступают ни парижским, ни миланским. Что ж, если люди покупают цветы, играют и поют, значит, Одесса по-прежнему веселый, неунывающий город. Храни его Господь!

...Осенью в Одессе темнеет рано, ветер метет и метет листья, а я все разматываю и разматываю ленту воспоминаний...

Иерусалим



Стучите. Заглядывайте...

В парной на Провиантской

- — Надо таки к ней присмотреться! Главное, чтобы она не была червивая внутри.
— Ну, поковырайся...
- А я смотрю на него уже своими глазами: "Не тормози на водке! Эта рюмка из прошлого тоста...".
- — Что-то не видно Илюши с Успенской? И на Успенской тоже...
— ТА, у него просто разыгрался конъюктевит.
— Я думаю! И днем, и ночью смотреть на "бабки"!!! Перед глазами только зелень, зелень, зелень...
— Я думаю!!!
- Пока что, а вы уже(!) на себе носите их синяки...
- — Как здоровье?
— На одну драку...
- Ой! Мне так болят глаза, я уже не могу через них смотреть...
- Он еврей только до первой рюмки, после третьей — он уже как раз наш Иван...
- Ой! Это только так кажется! Я вас прошу! Она без всяких задних мыслей спереди...
- Что вы!!! Он так удачно не женился, ШО прямо так мало кому теперь везет...
- Ой! Оставьте меня с покоем...
Это раньше я слышал за субтропический и тропический пояс. Теперь я знаю только за радикулитный...

- Отец! А эти весы таки правильно идут?
Можно рискнуть?!

Пробегая по Староконному

ПРОДАЕТСЯ ЗОНТИК

- Дамочка! Что вы?!
- Автомат работает, как часики. Смотрите, шелк-шелк...
..Раскрывать не надо!!! Оно вам сейчас печет?!
- РаскроетеСЬ уже дома.

ВСЕГДА АКТУАЛЬНО

- Среди прочей утвари, продается газета за... 1905 год.
Большими буквами заглавие статьи:
"ЖЕНСКИЕ ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА".

РЕПЛИКА

- Кому он это рассказывает за 9-й номер?!
- МНЕ?!!
- ТА, я в этом доме жил и родился столько лет!

ФОНИТ...

- По дороге на Староконный, на углу Мастерской и Петропавловской, женщина в фуфайке продает... английский флаг. К ней обращается внезапно заметившая ее знакомая:
- Зина! Тебя на фоне английского флага можно таки спутать с леди...

В СВЯЗИ СО СРОЧНЫМ ОТЪЕЗДОМ...

- ...По улицам, примыкающим к базару, ходит вычурно одетый громко картавящий человек. На груди плакат:
- "СВЯЗИ СО СРОЧНЫМ ОТЪЕЗДОМ,
ПО СРОЧНО ДЕШЕВЫМ ЦЕНАМ,
ПРОДАЕТСЯ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ
ХОЛОДИЛЬНИК
КРОВАТЬ С ПРУЖИН
БЕЛЬЕ ЖЕНСКОЕ
ОДЕЯЛА БЕЗ ПОДОДЕЯЛЬНИКА..." И Т. Д.

Время от времени текст выкрикивается с незначительной импровизацией.

Этот "связи со срочным отъездом..." ходит здесь уже, наверное, года два-три. Те, кому он успел примелькаться, при встрече улыбаются. Новички останавливаются, пытаются усвоить написанное.

Последние несколько "базаров" плакат не надевается. Может быть, кто-то его уже перекупил для эксклюзивной одесской коллекции. Но и без плаката время терять нельзя:

— ...Остался еще месяц! Ме-ся-ц!!!

Так берите руками — с ногами.

Можете даже постучать об меня!

Не подойдет — так вернете. Кто прячется?!

У меня вход с Дерибасовской, а окна выходят на Косвенную.

Стучите.

Заглядывайте...

В ПРОЦЕССЕ ТОРГОВЛИ

...Ай-яй-яй!..

Не хотите за три, так будет пять!

Он(!) подошел, так Я(!) уже должна обрадоваться и уже все отдать за так?!

Сейчас...

ВОПРОС МИМОХОДОМ

Мадам! А ваши калькуляторы на ходу?!

БЫВАЕТ...

— ...В конце концов я таки взял тот сифон...

— Ну, что из этого?

— Он на меня гавкал, а я на него нервничал...

СЫТЫЙ ГОЛОДНОМУ — НЕ ТОВАРИЩ...

...Кто его накормит?! Кто даже смотрит в его сторону?!

Взял и женился себе на мою голову...

С утра у него во рту побывала только зубная щетка.

Разное, но одесское...

МОНОЛОГ УБОРЩИЦЫ В ДОМЕ УЧЕНЫХ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО "ЗАСЕДАНИЯ"

...ПрЭзЭнтация, мЭльпомЭна, ШопенгауЭр...

А как нажрут — так все одинаковые.

ДЕРИБАСОВСКАЯ. ГОРСАД. ОБРАЩЕНИЕ БИЛЕТЕРШИ НА ВХОДЕ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ

...Боже мой! Боже мой!!!

Сколько лет, сколько зим!

Вы ШО, были в АвстралиЯХ? Или уже начали пить в другом местсте?

Хотя ой! В другом, в третЕМ... Лишь бы на здоровье!

И я тоже не могу жаловаться. А что, мне плохо?

Я что, таскаю на себе? Слава Богу!

Все время на людях, все время на свежем(!) воздухе...

А пропустить за день столько мужиков?!

Хорошо, что еще не через себя!

.....

Стой! Куда шмыгнул?! А платить?!

Ничего! На выходе ответишь за всех...

ИРОНИЯ СУДЬБЫ

Дерибасовская. Горсад. Продают картины. Среди прочего выставлена копия с известной работы Пукирева "Неравный брак". РеалшаторША, зажав во рту конец папиросы, обращается к неслучайно зазевавшемуся прохожему:

— Мужчина!

Вы пришли мне делать нервы?

Туда-сюда крутитесь уже второй день. Хотите взять? Так хоть что-то спросите...

—Нет-нет! Извините...

Просто я тоже попал в такую же ситуацию.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ КАБМИНА

(Из монолога у Сбербанка на Канатной при выплате очередных субсидий)

...ШО они говорят?

ШО они вытворяют?!

ШО они себе вообще думают?!!

ШОБ на них уже упал их украинский метеорит...

ВОРОБЬЯ БАСНЯМИ НЕ КОРМЯТ?..

Подвыпившая компания внезапно решила подкормить кусочком сыра нахально приближающегося к их ногам воробья, отрывая от себя тот кусочек закуски:

— Интересно! А он будет кушать?

— ИдиЁт! Конечно, будет!

Есть же классические примеры!

Вороны же кушают.

НА ВАШУ ГОЛОВУ...

...Мадам Призмазанова!

Вам телеграмма. Но вы не волнуйтесь!

Никто не умер!!!

До вас едет ваша тетя из Шаргорода.

И лично я не знаю, что лучше...

ВЕНЕРА — НЕ ВЕНЕРА...

— Ой! Она такая красивая.

У нее прямо античная внешность!

— Не понял? Так ШО? Она совсем без рук?!

ОДЕССКАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

(На заметку санврачу)

На Дерибасовской назойливый фотограф подсовывает засмотревшемуся прохожему живую(!) змею:

Фотограф: Знакомьтесь с нашим Борей!

Можно его даже погладить. Не бойтеСЯ!..

Прохожий: Погладить?

А у него нет перхоти?!

ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ "7-го КИЛОМЕТРА"

...Кого ты учишь?

Я каждое утро поднимаюсь с "толчковой" ноги...

ТА, в нем мента я узнаю еще с 6-го километра!

У них лампасы даже на кальсонах...

ПЕРВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ?..

...Кому козинаки?!

Козинаки!

Козина-а-ки!!!

.....

Я не поняла? ШО происходит?!

ШО, никому не нужны козинаки?!!!

НА "КНИЖКЕ"

— Только вам даю в руки эту девочку...

— Почему девочку?!

— Она еще не читана!

Ее никто не хотел читать...

Кто сейчас понимает в девочках и в таких книгах?

А?!

ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ...

(Из разговора со старым холостяком)

— ...Хоть я и холостяк, но все, кто познакомился через меня, давно женаты и живут счастливо.

У меня на это легкая рука!

— Так в чем же дело? Наложите уже на себя руки...

ПРИВОЗ. СТОЛ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ РЫБЫ

Вы ШО, мадам, издеваетесь?

Это что, извините, рыба?!

Так я вам тогда даю домашнее задание — будете чистить ее сама... дома.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Два геолога смотрят вслед хорошей, во всех отношениях, девушке.
Возникают естественные вопросы...

- Ну, так как ты думаешь? Сколько может стоить такая подруга?
- Я знаю? Наверное, как пробурить две скважины.
- Ты что? Две скважины — очень дорого!
- Ну, тогда смотри...

ГДЕ ЭТО ВИДАНО?

В коридоре уважаемого московского научного учреждения два командированных одессита делятся первыми впечатлениями:

...Ну, ты посмотри на этих всех?

Целых десять(!) часов утра — и ни одного пьяного...

УПРЕК МЕЛОМАНУ

Чем ты занимаешься?

У тебя столько дисков, что ты сам себя можешь... ДИСКредитировать.

КУРЫ-ГРИЛЬ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

- ...ШО ж вы продаете?
 - Ну?!
 - С нее даже шкура слезла!
- Такой товар надо уценить...
- Ребята! Ей-богу, уценить не могу, зато я вам посчитаю честно...

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

...Что?

А я говорю, они все сделают.

Моим людям два раза повторять не надо!

Не меньше... пяти раз надо.

Эти же "пряники" не европейской сборки...

Те одесские дела...

- Еще сто грамм — и в школу...
- Когда учишь иврит, главное научиться листать книгу в другую сторону...
- Я по сторонам имел таких(!) женщин, что ты сам себе не поверишь!..
- Ему как раз легче поднять настроение, чем что-то другое...
- Теперь на должности выдвигают не по заслугам, а по отдаче — смотря сколько потом отдашь...
- У тебя сейчас дизель, а у меня от тебя давно гембель.
- День рождения. Ночь свадьбы...
- Если я его знаю на рубль, то он меня знает на копеек десять...
- Я уверен на 80%, что нас "кинут" на 100%...
- Он знает, что хочет. А, в основном, он хочет "бабки"...

ПРЕДЧУВСТВИЕ С РАЗУМОВСКОЙ УЛИЦЫ

...А я ему говорю: "Леня, ША! Что вы так бегаете? Вас же опять посадят!..".

А он: "Мадам! ШО вы говорите такое? Я уже давно отошел от этих дел..."

Это да... но я же знаю, к каким делам он подошел! Золото со "швейкой" — это так себе? Что, это можно из себя выпарить или передать на чужой склад?!

А что он выделял с духами?

Те духи забивали запах даже в нашей дворовой уборной!

Ну, короче, так оно и получалось!

Через недели две его таки взяли.

Больше я его никогда не видела.

.....

Послушайте!

И вы тоже бегаете?!

Что, сегодня меньше "скользко", чем тогда?..

КРУГОМ ВРАГИ...

Библиотека на Слободке. В читальный зал входят два приятеля — просмотреть свежие газеты. Библиотекарь требует заполнить учетную карточку. Таковы правила. При заполнении анкеты приятели советуются вслух:

— Слушай! Как правильно пишется — "гагауз" или "гогауз"?

— Не понял? А при чем здесь гагауз?

Ты что, гагауз? Я что, гагауз?!

— Понимашь! Они мне дают всего лишь почитать газету, а я за это доволен им все про себя рассказать?!

ПОГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

Как-то один мой приятель случайно оказался в гостях у козырных людей. Крестили внука.

Гости — на подбор, лишь мой приятель выделялся своей, мягко говоря, "некрещеной" внешностью. В толпе его сразу же опознала родственница хозяев. Когда они оказались рядом, женщина "наехала" в чисто одесском стиле: "Наш ребенок, слава Богу, уже стал юристом. Что, это нам мало обошлось? Теперь мы его всунули в таможню. Что, это нам обошлось меньше?! У вас что, нет знакомых, которые сваливают "с концами"? Может, что-то надо "перекинуть" туда-сюда? Сюда-туда? Дайте ребенку "отбить" пару копеек!..".

Мой приятель засмутился, так как был совершенно с другого базара. Чтобы как-то отцепиться, пообещал в принципе поинтересоваться.

Прошел год. Или больше.

Как-то на Дерибасовской он случайно столкнулся с той самой деловой мамашей, шедшей в сопровождении крепких парней. Разойтись было невозможно, мой приятель робко спросил: "Ну, как там дела?..".

Мамаша не дала доспросить. Успела только приложить указательный палец к губам. Потом, незаметно для окружающих, быстрым движением с помощью тех же пальцев, изобразила... решетку.

Короче, ША...

Их юрист уже "заработал" себе на ближайшие годы.

Уже "отбил" тех нужных пару копеек...

НАША НОРМА

Лучшее из того, что я умею, так это, наверное, делить бабки. Ну, так по жизни получилось... А тут как-то работали под Одессой — монтировали козловой кран. Что, это за один день? Делали что-то года два. И люди менялись, и начальники. В остальном — все нормально. Пили по норме... А кран тот был здоровенный, сволочь. Большепролетный. Что-то оформили официально, что-то так, за наличку. Короче, по тем советским меркам — халтура приличная.

Я тоже не сидел, дергался по объектам. Все раскидано... То формы подписать, то что-то по месту решить без чертежей, то "принять" технадзор или очередного пожарника...

Ну, а что с этим краном? Я приехал уже к концу сборки — что-то там, конечно, смотрел в полглаза. Короче, там моих бабок не было. Но бабки — это бабки, а люди — это люди. И меня, как человека почти нейтрального, пригласили: "Выручайте — помогите разделить те бабки. Мы вам доверяли и доверяем. Ну, надо...".

Вообще, не все так просто, а тут вообще. Ну, надо.

Потребовал список участников. Спившихся — исключил сразу, отсутствующих пока в сторону. Пока без них. Ну, делю...

Прикидываю, округляю. Что-то думаю, раскладываю по кроватям...

Закурил. Ну, зову на оглашение приговора.

Раздал те пачки, спотыкнулся об их "спасибо", допил и прилег.

Прошло чуть-чуть — стучат: "ИзвиняемСЯ... Мы тут посчиталиСЬ... Не сходится... Что-то не хватает...".

Не хватает?!

Идиоты! Как вы считали? Я же сразу скинул на "бухало"!!!

Что, потом за каждым ходить и с каждого просить?!

Можешь уже себе представить, сколько я снял, если они обратили внимание!

Что, я норму не знаю?

.....

Что, все!

Что, уже брать мороженое?

Уже!!!

Сколько? По двести грамм белого?

Хорошо-хорошо! Понял!

Девушка! Принесите, пожалуйста, по двести грамм каждому.

Их них — по 150 водочки и по 50 — мороженого.

Вдогонку...

ИХ ПРАВЫ

(Из рассказа старого одесского сводника)

Ты думаешь, у меня не было проколов?

Были...

Как-то познакомили одного с одной.

Ну там вообще не было на что смотреть. Буквально все в нерабочем состоянии... Как говорится: "Чем плюнуть в урну, так лучше плюнуть на нее". Понимаешь?

А вот ему она подошла. Ну, а он к ней как раз нет. И все!

Короче, так и так, а она — ни в какую. Билась, как в последний раз в предпоследний день. Даже моя Дуся не могла помочь. Моя Дуся не могла!!! Догоняешь?!

Короче, голый номер.

И что ты думаешь?

Он взял инициативу на себя. Подошел на людях: "Я согласен. Что можно убиться? Все. Нет, так нет... Но давай на минуточку зайдём в соседнюю комнату..." И вот, когда они уединились, он тут же снял штаны: "Дура, смотри сама, от чего ты отказываешься...".

И что? Они поженились и живут душа в душу!

А сколько времени потеряли из-за тех штанов...

Мариам ЮЗЕФОВСКАЯ

Арбуз с хлебом

Если вы не бывали в Одессе, то, конечно, не представляете, что такое старый одесский дворик с его пристроечками, балкончиками, кладовочками — они точно ласточкины гнезда лепятся к стенам почерневшего от времени ракушечника. С чугунной водопроводной колонкой, у которой рычаг отполирован ладонями прабабушек и бабушек нынешней ребятни. С маленькой клумбой, где буйствуют беспризорные ночные фиалки, простежки петушки и неженки мальвы. Но главное в этих дворах — крытые галереи. Они сбегают вниз крутыми скрипучими щербатыми ступенями. Они нависают сумрачным козырьком над первыми этажами и опоясывают стены. И от этого дом смахивает на стриженную под ноль голову новобранца, которому по самые уши нахлобучили парадную фуражку с высокой тульей. Сюда, на эти крытые галереи, выходят двери всех квартир. Здесь, на широких мраморных подоконниках, до блеска начищенные примусы неистовствуют в угаре, источаемом золотистой жареной рыбой и темно-сизыми печеными баклажанами. Отсюда просматривается весь двор, мощный угловатым сизым булыжником. И можете не сомневаться — незамеченным вы не пройдёте. Даже если из-за своей северной скованности и угрюмости молча будете шарить взглядом по черной доске, где крохотными буквами написано "Список жильцов", то кто-нибудь обязательно не выдержит и сердобольно спросит: "Вы до кого, товариш?". Потому что это не просто двор, это старый одесский дворик. Здесь старики помнят детьми тех, у кого уже свои дети. Здесь вечерами открываются двери квартир, и люди выходят, чтобы поговорить о жаре, о ценах, и, конечно, о жизни. Здесь в затхлых рундуках, обшитых железом, хранятся такие старые вещи, о назначении которых уже многие и не догадываются. "Бабушка Дуся, можно я возьму это колесо?" — "Положи на место, и шоб я близко тебя коло него не видела. Этот обруч катала еще моя мама в парке. Арон, вы не помните, как называлась эта игра?". Старый сапожник Арон пристроил у своего обитого жестью табурета лампочку. И даже сейчас, в сумерках, не выпускает из рук молотка. Во рту у него деревянные шпильки, а между колен зажата сапожная лапа с детским сандалием. Он выплевывает последнюю шпильку, вгоняет ее точным, экономным движением в подошву. И лишь после этого начинает обстоятельно объяснять: "Эта игра называлась серсо. Там, где сейчас на Соборной площади собираются эти мишигасы (сумасшедшие) болельщики, там дети катали серсо. За пару копеек можно

ИХ ПРАВЫ

(Из рассказа старого одесского сводника)

Ты думаешь, у меня не было проколов?

Были...

Как-то познакомили одного с одной.

Ну там вообще не было на что смотреть. Буквально все в нерабочем состоянии... Как говорится: "Чем плюнуть в урну, так лучше плюнуть на нее". Понимаешь?

А вот ему она подошла. Ну, а он к ней как раз нет. И все!

Короче, так и так, а она — ни в какую. Билась, как в последний раз в предпоследний день. Даже моя Дуся не могла помочь. Моя Дуся не могла!!! Догоняешь?!

Короче, голый номер.

И что ты думаешь?

Он взял инициативу на себя. Подошел на людях: "Я согласен. Что можно убиться? Все. Нет, так нет... Но давай на минуточку зайдём в соседнюю комнату..." И вот, когда они уединились, он тут же снял штаны: "Дура, смотри сама, от чего ты отказываешься...".

И что? Они поженились и живут душа в душу!

А сколько времени потеряли из-за тех штанов...

Мариам ЮЗЕФОВСКАЯ

Арбуз с хлебом

Если вы не бывали в Одессе, то, конечно, не представляете, что такое старый одесский дворик с его пристроечками, балкончиками, кладовочками — они точно ласточкины гнезда лепятся к стенам почерневшего от времени ракушечника. С чугунной водопроводной колонкой, у которой рычаг отполирован ладонями прабабушек и бабушек нынешней ребятни. С маленькой клумбой, где буйствуют беспризорные ночные фиалки, простежки петушки и неженки мальвы. Но главное в этих дворах — крытые галереи. Они сбегают вниз крутыми скрипучими щербатыми ступенями. Они нависают сумрачным козырьком над первыми этажами и опоясывают стены. И от этого дом смахивает на стриженную под ноль голову новобранца, которому по самые уши нахлобучили парадную фуражку с высокой тульей. Сюда, на эти крытые галереи, выходят двери всех квартир. Здесь, на широких мраморных подоконниках, до блеска начищенные примусы неистовствуют в угаре, источаемом золотистой жареной рыбой и темно-сизыми печеными баклажанами. Отсюда просматривается весь двор, мощный угловатым сизым булыжником. И можете не сомневаться — незамеченным вы не пройдёте. Даже если из-за своей северной скованности и угрюмости молча будете шарить взглядом по черной доске, где крохотными буквами написано "Список жильцов", то кто-нибудь обязательно не выдержит и сердобольно спросит: "Вы до кого, товариш?". Потому что это не просто двор, это старый одесский дворик. Здесь старики помнят детьми тех, у кого уже свои дети. Здесь вечерами открываются двери квартир, и люди выходят, чтобы поговорить о жаре, о ценах, и, конечно, о жизни. Здесь в затхлых рундуках, обшитых железом, хранятся такие старые вещи, о назначении которых уже многие и не догадываются. "Бабушка Дуся, можно я возьму это колесо?" — "Положи на место, и шоб я близко тебя коло него не видела. Этот обруч катала еще моя мама в парке. Арон, вы не помните, как называлась эта игра?". Старый сапожник Арон пристроил у своего обитого жестью табурета лампочку. И даже сейчас, в сумерках, не выпускает из рук молотка. Во рту у него деревянные шпильки, а между колен зажата сапожная лапа с детским сандалием. Он выплевывает последнюю шпильку, вгоняет ее точным, экономным движением в подошву. И лишь после этого начинает обстоятельно объяснять: "Эта игра называлась серсо. Там, где сейчас на Соборной площади собираются эти мишигасы (сумасшедшие) болельщики, там дети катали серсо. За пару копеек можно

было получить эту игру на целый час, Катай себе на здоровье". "Что такое, дядя Арон? Чем вам помешали болельщики? — лениво цедит Миша, худой мужчина в сетчатой майке. Через ее крупные ячейки выбиваются кустики черных курчавых волос, которые точно пушистая вязаная фуфайка покрывают его грудь, плечи и спину. — Я вижу, моя жена перетянула вас на свою сторону. Как тебе это удалось, Роза?" — он оборачивается к жене, которая сидит рядом и легонько хлопает ее по широкой спине. "Оставь свои шуточки, — бросает она лениво через плечо, — лучше посмотри, что делают твои милые детки", — голос ее тягуч и пронзителен. Она отдыхает от одуряющего стрекотания швейных машин на фабрике, от кухонного чада, а, главное — от головоломных расчетов: "Если купить детям кило вишни, так не хватит Мише на брынзу. Что я ему дам с собой на работу? А горячий цех — это горячий цех. При такой еде недолго и хворобу подхватить". Роза стягивает расходящиеся полы старого цветастого халата. Внезапно точно ужаленная вскакивает со стула: "Миша! Куда ты смотришь, Миша. Это твои дети или это байстрюки приبلудные? Они же сейчас отобьют себе ноги. Они же провалят нас всех со всеми нашими бебехами на первый этаж к мадам Головняк!". Худенький мальчик с тоненькими как былинки ножками, покраснев от натуги, упрямо тянет из рундука чугунную наковальню. Девочка, кряхтя и охая, помогает ему какой-то палкой. "Дети, вы, наверно, хотите спать? Да, дети? Вы соскучились по своим кроваткам, по маминым песенкам?" — голос Миши тих и невозмутим. Но наковальня с грохотом падает на дно рундука, вслед за этим оглушительно хлопает обитая железом крышка, и дети, отчаянно стуча пятками по деревянным ступеням лестницы, выбегают во двор. "Вы заметили, как они любят мамины песенки?" — смеется Миша. Смех у него громкий, заразительный, кудахтающий. Начав смеяться, он долго не может успокоиться и, глядя на него, улыбаются Арон и Дуся. А Роза невозмутима. Руки ее сложены калачиком и подпирают высокоую грудь. "Почеши, почеши язык", — изредка вставляет она. "Вы помните, как эти бедолаги криком кричали по ночам? — сквозь смех спрашивает Миша. — Доктор потом мне объяснил, что это у них от испуга. Говорит: "Ваша жена, дай ей Бог здоровья, такая музыкальная, не сглазить бы. Лучше всего ей петь в хоре казаков. И дома будет тише, и дети будут спокойней", — он с новой силой заливается смехом. Арон ему грозит: "Ты договорись сегодня. Если Роза разойдется, тебе будет мало места!". "Вы смотрите, Дуся, как они с Розой спелись. Попугай-неразлучники. Вы что, Арон, уже полюбили ее пение? Или вы скажете, что у вас ничего не слышно? Может, не дай Бог, между нашими комнатами, наконец, поставили капиталь-

ную стену?" — "Тихо! Тихо! Слышите? — Дуся поднимает вверх указательный палец. В вечерней тишине раздаются звуки скрипки, — она опять играет, эта новая жилищка", — Дуся поднимает на лоб очки. Несколько минут вслушивается в напевные звуки: "Я старый человек, у меня уже плохо с глазами, но мне кажется, что у этой скрипачки с головы упала корона, когда она с нами поздоровалась. Чтоб человек жил две недели и не зашел хотя бы за солью. Такое я вижу в первый раз". Дуся скорбно поджимает губы и умолкает. "Зачем ей ваша соль? — язвительно усмехается Роза, — она же не варит, не жарит, не шпарит. А захотела — пошла в ресторан и поела! Что у нее, дети? Муж? Что, ей нужно каждый день ломать голову, что сварить, что купить? Нет. Живет себе в свое удовольствие. Правда, не в коня корм. Она же прямо светится, такая она худая". — "Может, хватит. Что вы прицепились к человеку, — не выдерживает старый Арон, — каждый живет, как может. Я не думаю, чтоб деньги на нее сыпались с неба, раз она носит такие туфли", — он кивает на черные старые туфли, лежащие около него на полу. "Что такое? Я вижу, вы уже чините ей туфли? И, конечно, бесплатно", — вскидывается Роза. "Ничего, когда она станет великой скрипачкой, и люди будут платить большие деньги, чтоб ее послушать, она мне отдаст долг, — улыбается Арон, — а пока, — он берет в руки туфель, критически оглядывает, — пока мы подобьем косячки, набочки — и будут как новые. У нее завтра концерт". — "Ну, ну, ждите, — Дуся снова было поджимает губы, но тут же оживляется, — Слышите? До нас кто-то поднимается. А, Паша! Здравствуйте! Как ваше давление?" Дворничиха Паша с трудом одолевает скрипучие ступени: "Здравствуйте! Привет честной компании. Что мое давление? Давит! Три черта ему. Давит, гнет до земли. Миша, вы не обижайтесь, но я ваших башибузуков полила из шланга. Они как скаженные лезут на тую голубятню". — "И из-за этого вы поднимались к нам? — вскидывается Миша, — полили, так полили. Роза, слышишь, не мой детей на ночь. Они уже чистые. Садитесь, Паша. В ногах правды нет!" — "А где та правда? Больше чем полжизни прожила, а в глаза ее не видела, — вздыхает Паша, — я ведь к вам за подмогой пришла. Беседку надо чинить. Вся сгнила. Того гляди, на голову рухнет. Домоуправ говорит: "Нет денег. Будем сносить". Так ведь жалко. Может, соберем по три рубля с квартиро-съемщика на материалы? А Жорик с четвертой квартиры обещал за так починить. Вы тут решайте, я пойду. Мне надо еще три дома обойти", — она уходит, тяжело переваливаясь. "Что делать? Давайте, кто сколько может", — Дуся протягивает жестяную коробку из-под монпансье.

Арон откидывает черный брезентовый фартук и достает из кармана

холщовых брюк две мятые купюры: "Денежки мои вы, денежки, — поет он надтреснутым фальцетом, — все понимаю, кроме одного — нам даром — никто ни копейки, а мы всю жизнь должны за все платить! За армию, за флот, за космос, — он загибает один за другим почерневшие от сапожного вара и дратвы пальцы, — ну, что они еще придумают?". "Вы за них не беспокойтесь", — откликается Миша. "Слушайте, а как же скрипачка? Мы что, должны за нее отдуваться?" — Роза роется в старом потертом кошельке, выуживая оттуда деньги, нервно теребит их в руке и с неохотой опускает в коробку. "Роза, перестань из-за копеек поднимать шум", — примирительно бормочет Миша. "Копейка туда, копейка сюда! Я из-за этой копейки трижды весь базар обойду. Торгуюсь, ругаюсь — самой стыдно. А что я покупаю, что приношу тебе, детям? Там подвяло, там подгнило. Я что-нибудь хорошее приношу в дом? — она на мгновение умолкает: "Что я говорю, Боже! Сомкни мне уста!" Но ярость клокочет в ней. Она подхватывает с пола детскую сандалию, — если б не дядя Арон, мальчик завтра пошел бы в сад босый. А до твоей зарплаты еще неделя".

"Не позорь меня! Иди в дом, — лицо Миши багровеет. Он долго молчит, потом горько усмехается, — сегодня не пошел на стадион. Решающая игра. Пожалел денег на билет, на пиво". — "Не ссорьтесь, дети! Не надо! Слышишь, Миша? Я тебе говорю, — бормочет Дуся. Лицо у нее расстроенное, — вам нужны деньги? Я одолжу. У меня как раз завтра пенсия". — "Вы у нас богачка, тетя Дуся. Ротшильд, случайно, вам не брат?" — криво усмехается Миша. С Приморского бульвара доносится бой курантов. Они вызывают песню о белой акации, о море, о прибое, обо всем том, что называется Одессой. — "Пора спать, — хмуро говорит Миша, — завтра работаю две смены подряд. Подмазал мастера — обещал дать подзаработать". Арон и Дуся долго сидят молча. Арон угрюмо сучит дратву. Наконец он прерывает тягостное молчание: "Это жизнь, Дуся? Это жизнь? Я Вас спрашиваю! — второй раз за этот вечер он откидывает край черного брезентового фартука, достает из кармана деньги, хмуро насупившись, считает их. Потом, отделив часть, дает Дусе. — Купите Розе что-нибудь приличное. У нее скоро день рождения".

Прошла неделя знойного лета. Наступил август. Вы спрашиваете, что случилось? Почему сегодня такой шум? Не пугайтесь. Ничего страшного. Просто Миша принес арбуз — первый арбуз в этом году. Вот он лежит в глубокой миске, поблескивая глянцевитыми зелеными боками, а тетя Дуся не спеша режет его на широкие ломти. Дети не сводят глаз с ее рук. "Дуся, дайте детям хлеба. Разве можно есть арбуз без хлеба? Они же ос-

танутся голодными", — ворчит Арон. "Ты отсталый человек, дед Арон. Это только до революции бедняки ели арбуз с хлебом", — огрызается мальчик и тянется к арбузу, но в тот же миг карающая рука Розы хватается его за ухо и притягивает к себе. "Как вам нравится этот богач? Я тебе покажу сейчас революцию, паршивец", — негодует Роза. "Баба Дуся, баба Дуся, — монотонно тянет девочка, то и дело дергая Дусю за фартук, — ты меня слышишь, баба Дуся? — голос у девочки низкий, густой. Точно где-то там внутри, за вишенкой губ, упрятан целый орган со всеми его трубами, клавишами и механизмом. — Баба Дуся", — басит она на одной ноте, не повышая и не понижая голоса. "Что ты хочешь? Скажи уже! Скажи! Труба Иерихонская, прости меня Господи", — откликается, наконец, Дуся. "Положи мне этот кусок на тарелочку с цветочками. Я отнесу его скрипачке", — липкий замурзанный палец тычет в самый большой кусок арбуза. В его алой мякоти влажно лоснятся глянцевито-черные семечки. "Что случилось? — Дуся пронзительно смотрит на девочку из-под сдвинутых на лоб очков. — Твой папа богач? Он может кормить всю улицу? Весь дом?" — "Почему бы и нет? — деланно удивляется Роза, — он же каждый день приносит домой мешок денег. Правда, доця?" И столько скрытой угрозы в этом вопросе, столько ядовитой ласки, что девочка тотчас умолкает. "Оставь", — резко обрывает жену Миша. "Что такое? Чего ты взбеленился? Кто нам эта скрипачка? Пришей кобыле хвост", — стоит на своем Роза. "Хватит, — взрывается Миша, — замолчи!" На миг воцаряется тишина. Лишь только слышно глухое постукивание молотка, с которым, как всегда, не расстается Арон: "Значит, чужой человек, — словно бы ни к кому не обращаясь, вполголоса творит он, ни на минуту не прекращая работы, — а помнишь того молдаванина, что умер у нас во дворе? Тоже был чужой человек. Мир праху его", — он пристально смотрит на Розу. "Что вы такое говорите, Арон? — меняется в лице Дуся и начинает мелко, испуганно креститься. — Побойтесь Бога. Она же была дитя неразумное. Грех вам ее попрекать. Грех!" — "Помнишь?" — тихо переспрашивает Арон. Роза молча кивает. Тяжелая багровая краска медленно заливает ее широкое лицо, полную шею. Она бросает быстрый взгляд на мраморный подоконник, точно силясь увидеть закопченный до черноты чугунок, в котором исходит паром жалкая горстка золотистой мамалыги. Внезапно душистый сытный дух ударяет ей в ноздри. Роза украдкой сглатывает вязкую слюну, что внезапно заполняет рот. Ей кажется — время повернуло вспять. Там, за порогом, повисло знойное марево голодного послевоенного лета. Какое пекло стояло тогда! Казалось, в округе

все, до последней былинки, было выжжено. Раскаленный булыжник обжигал через сандалии подошвы ног. Роза явственно слышит тихий хриплый голос: "Дай!". Босой мужчина в рваной свитке и бараньей папахе протягивает черную растрескавшуюся ладонь: "Дай!". Запавшие глаза его неотрывно глядят на чугунок. "Геть отсюдава! Геть!" — она толкает его. Бьет во впалую грудь. Откуда столько силы в ее детских тонких руках? Как зверь, оберегающий свою добычу, она хрипит злобно и яростно — "Геть!". "Что ты хочешь от меня, старик? Что ты мне выворачиваешь душу? — хочет крикнуть она в голос. — Зачем ты позоришь меня перед детьми? Перед мужем моим? Ты думаешь, я все забыла? Нет! До конца своей жизни буду помнить, как лежал этот молдаванин посреди двора, как медленно катилась его папаха. Ноги в рваных постолах дернулись несколько раз, и он затих. Разве ты забыл, как я совала ему в рот комья горячей, словно огонь, мамалыги, как толкала в плечо: "Дядечка, вставай! Дядечка!". За что мне это, старик? За что?"

Теплый тугой комок подкатило к самому горлу. Она крепко сжала губы. "Чтобы этого больше не видеть ни нам, ни нашим детям, ни детям наших детей," — шепчет, словно заклятие, Дуся и трубно сморкается.

Мальчик долго исподлобья смотрит на взрослых. Потом переводит взгляд на арбуз. С тихой печалью пересчитывает истекающие розовым соком последние ломти. И, сурово сдвинув брови, поворачивается к Арону: "Пусть будет по-твоему. Пусть эта скрипачка ест на здоровье! Но женись на ней! Женись! И тогда она станет нашей!". Ах, как хохочет сапожник Арон, раскачиваясь из стороны в сторону на своем стуле. А как смеется Роза! Как трещит ее старый узкий халат. "Женитесь, Арон! Женитесь! В чем дело?" — кудахчет сквозь хохот Миша. "Чтоб ты был здоров, моя умница", — чуть не плачет от смеха Дуся. Разве в этом шуме можно услышать тихий скрип двери? "Вы так весело смеетесь, что мне просто стало завидно", — смущенно улыбается скрипачка. Она в нерешительности стоит на пороге своей комнаты. "Идите сюда! — Дуся манит ее пальцем, — что вы прячетесь от нас?" — "Угощайтесь! Первый арбуз в том году", — конфузливо кивает Роза. "Подождите минуточку! У меня есть свежий хлеб. Вы знаете, я жила с дедушкой, так он научил меня есть арбуз с хлебом. Необыкновенно вкусно!"

В эту ночь Арон долго не мог уснуть. Он ворочался. Вдыхал. Вышагивал босыми ногами по старым скрипучим половицам. Казалось, душный, жаркий воздух обволакивает грудь, забивает горло. Потом вышел на галерею. Оперся о влажный от ночной сырости мраморный подоконник.

Камень приятно охлаждал кожу. Со двора доносился терпкий запах ночных фиалок. Арон задумчиво, долго смотрел на тонкий, точно сточенный нож, серп луны, на низко нависшее звездное небо. Редкие облака, набегая на луну, отсвечивали перламутром и были похожи на створки раковин, которые морские волны тысячами выносят на одесский берег. От этих движущихся облаков, подгоняемых ветром, свет звезд казался трепещущим, зыбким. "Как субботние свечи", — подумал Арон. Неведомо из каких потайных закоулков памяти вдруг выплыл тяжелый массивный подсвечник с девятью плошками и маленьким серебряным колокольчиком, неясные путанные звуки первых слов молитвы: "Моаус цур ешуоси". Он повторил несколько раз эти полузабытые слова. Что они означают? У кого об этом спросить? Тех, кто сидел рядом с ним за родительским столом, покрытым белой туго накрахмаленной скатертью, давно уже не было в живых. "А может быть, ничего этого не было? Может, все это тебе просто почудилось. За кого ты хочешь молиться, Арн? — он назвал себя детским полузабытым именем, и от этого странно похолодело в груди. — За мертвых? За себя? За живых? Что тебе нужно от Бога? — Арон провел рукой по лицу, от лба к подбородку. Это был жест его отца. Так он начинал субботнюю молитву. — Господи, — прошептал он сурово, — ты выбираешь время, когда каждому из нас родиться и жить. И не в наших силах изменить это время. Человек слаб телом и душой. Так не отнимай последнего. Не разъединяй нас. Дай нам силы любить ближнего". Он услышал, как за его спиной скрипнула дверь, и вздрогнул. "Что с вами, дядя Арон? Вам плохо?" Он обернулся. Перед ним стояла Роза. Сонная, встрепанная, укутанная в простыню, которую с трудом стягивала на высокой груди. "Роза! Как ты меня напугала! Так от страха и помереть недолго. Ты же, не про нас будь сказано, точно привидение в саване", — он засмеялся, раскачиваясь всем телом, и она зашикала на него: "Тише! Сейчас всех поднимете на ноги! Хорошенькое дело. Уже скоро утро, а вы еще не ложились. Слышу: туп-туп, туп-туп. Думаю, плохо ему!" — "Что ты понимаешь, женщина! Иди спать! Не мешай мне! Я разговариваю с Богом", — он ласково подтолкнул ее к двери. "Ваши вечные шуточки, дядя Арон". Над двориком повисла ночная тишина.

"Городок" — пятый угол

Гражданин, пройдемте!

Стоит пустая машина, дверца водителя распахнута, из-под машины торчат ноги. Подходит гаишник.

ГАИШНИК. Эй, вылезай давай! Нашел где ремонтироваться.

Водитель под машиной не реагирует. гаишник вытаскивает его за ноги.

ГАИШНИК. Лейтенант Семенов. Что ж это вы, гражданин водитель, посреди дороги машину чините? Что, нельзя было к обочине отъехать? Надо было прямо здесь стать! Что хотим, то и делаем, а, гражданин водитель?

МУЖЧИНА. А я не водитель.

ГАИШНИК. Не понял. А почему ж вы тогда машину ремонтируете?

МУЖЧИНА. А я не ремонтирую, я просто под ней лежу.

ГАИШНИК. Не понял! А почему вы под ней лежите?

МУЖЧИНА. А потому, что она меня переехала!

В тюремной камере бесится зэк с фонарем под глазом, все лицо заклеено полосками пластыря.

З. (стучит ногами в дверь камеры) Козлы вы все! Слыхали? Козлы, козлицы! (Опять стучит ногами) Эй, козлы! Козлятушки! Ребятунки! Ваша мама пришла! Молочка принесла!

Дверь камеры распахивается, входит охранник, подходит к зэку, берет его за душу.

О. Ты меня достал сегодня! Ну, в последний раз спрашиваю: где молоко?

Отделение милиции, сидит дежурный. Влетает разгоряченный капитан с огромным синяком под глазом.

Д. Ну что, товарищ капитан, взяли преступника?

К. Ушел, гад! Закоулки, темень кромешная, хоть глаз выколи. Я его даже не увидел.

Д. Так даже и примет его не выяснили?

К. Ты давай не умничай! Сидит здесь, понимаешь... Приметы выяснили. Теперь мы его по приметам быстро возьмем.

Д. Какие, интересно, приметы? Вы же его даже не увидели.

К. Ты пиши давай, умник! (Диктует) Особая примета преступника (потирает синяк) — отличный удар справа.

Брак — дело добровольное

Свадьба, сидят жених и немолодая невеста, рядом папа невесты. Невеста все время подливает жениху водки.

ПАПА. Дочка! Что ж это? Перед первой брачной ночью нельзя, чтобы жених захмелел!

НЕВЕСТА. Папаша! В моем возрасте нельзя, чтоб жених протрезвел!

В открытом море плывут мужик и баба.

Б. Все! Я больше не могу!

М. Держись, Зина! Еще пару деньков — и мы увидим землю!

Б. А я говорю — не могу!

М. Потерпи, Зинуля, мы ж уже столько плывем — что ж мы, еще пару дней не продержимся? Все будет хорошо, я обещаю! А то, что я обещаю, я выполняю! Ты мне веришь?

Б. Да верю я, верю! Просто, когда ты мне обещал, что после свадьбы мы поплывем на Канары, я себе это как-то иначе представляла!

В институте красоты хирург снимает повязку с лица больного.

Х. Ну, Сидоров, операция прошла удачно, сейчас я сниму повязки... Ну вот. (Дает больному зеркало) Можете посмотреть на себя.

М. Боже мой, совсем другое лицо!

Х. Ваша жена ждет в коридоре. Теперь она уже никогда не сможет сказать, что у вас уродливый нос, ужасные губы, безобразные щеки, родимое пятно...

М. А главное, что теперь она уже никогда не сможет меня разыскать! (Выпрыгивает в окно).

Народ и армия едины!

В кабинет врача в сельском военкомате врывается председатель колхоза с медицинской карточкой в руках.

Н. Вы что же это делаете, товарищ врач!

В. Что я делаю? Ничего я не делаю!

Н. А это?! (Машет карточкой). Нашего зоотехника здоровым записали? В армию годным?! А здесь кто работать будет? Он же у нас единст-

венный специалист по искусственному оплодотворению коров! Это во-первых! А во-вторых, сами подумайте — разве может нормальный человек заниматься оплодотворением коров? Ну? А вы написали в заключении (*тычет в карточку*), что он здоров!

В. Ну правильно, я так и написал! Вы что, не видите, что в карточке написано? (*Тычет в карточку*) Там написано, что он здоров как бык!

Ползут по-пластунски двое. Один бьет по заднице второго.

1-й. Зад опусти, заметят! Эх, пацан, какой из тебя вор, если ты даже в армии не служил?

Они подползают к забору из колючей проволоки.

1-й. Ну, вроде все тихо.

2-й. Ух ты! Никогда еще не тырил с военного склада!

1-й. Тихо ты! Смотри как надо — берешь кусачки, откусываешь... (*Откусывает кусок проволоки с двух сторон*). Понял? Берешь следующий, откусываешь... И так дальше... (*Отдает 2-му кусачки*). Давай, кусай и сюда клади.

2-й. А зачем? Мы и так уже на склад пролезть сможем.

1-й. Эх, пацан! Я на этом складе всю жизнь прапорщиком служил. Здесь уже давно, кроме колючей проволоки, тырить нечего! Кусай давай!

Поговорили...

В приемной директора сидит секретарша. К ней подходит сотрудник.

СОТРУДНИК. Иван Иванович у себя?

СЕКРЕТАРША. Иван Иванович? Вне себя! Прямо с утра. Проходите, ждет.

СОТРУДНИК. Господи, пронеси... (*Входит в кабинет*)

Слышно, как директор орет на сотрудника. Через 10 минут бледный сотрудник вылетает из кабинета, волосы дыбом, галстук на сторону.

СОТРУДНИК. Д-д-дайте си... си... си...

СЕКРЕТАРША. Сигаретку, что ли? Пожалуйста. (*Открывает пачку, сотрудник вытаскивает сразу несколько сигарет*).

СОТРУДНИК. Ни-ни-чего, что я...

СЕКРЕТАРША. Ничего. Я тоже после секса люблю покурить...

Боги, гробницы, ученые...

Если взять название этих заметок в кавычки и убрать многоточие, то читатели постарше сразу же вспомнят одноименную книгу, которая была для нас окном в Египет. В стране, лежащей в долине великого Нила, в 60-70 годы XX века из советских людей бывали разве что дипломаты да строители Асуанской плотины и моряки. Впрочем, последние дальше магазинов портовых городов забирались редко. Пускали к пирамидам и Сфинксу туристов, но по строгому отбору, куда более жесткому, чем тот, которому подвергали души умерших древние боги, решавшие, куда же отправить их — в ад или рай...

"Боги, гробницы, ученые" — этой книгой Керама (имени автора, увы, не помню) зачитывались тогда многие мои приятели. Особенно прихлясла она по душе Юре Михайлику. "Гробницы — это про меня", — с трагизмом говорил он, искоса поглядывая на юных поэтов, ходивших за ним, как юные жрицы за верховным адептом Амона Ра. "В таком случае, — констатировал я, — на мою долю остаются боги". Вот так — не больше, не меньше... Впрочем, учеными мы так и не стали...

Михайлик уже много лет живет в Австралии. Не знаю, съездил ли он за это время в Египет, а вот я недавно наконец побывал в этой стране, живущей, как минимум, в трех измерениях. Машине времени не хватило бы керосина для того, чтобы проложить регулярный туристический маршрут длиной в шесть тысяч лет: аэропорт в Хургаде — храм царицы Хатшепсут, где она в мужском костюме и при накладной бороде вступает на фараонский трон — незаконченный обелиск в Асуане в обеденный перерыв для рабов-каменотесов — бедуинское стойбище — белый нильский пароход с казино и спутниковой связью...

Никогда раньше не писал стихов, во всяком случае, целых циклов. Но, видимо, древняя страна сама выбирает, как и чем заниматься здесь паломнику. Одни из побывавших здесь вспоминают лишь жару и назойливых уличных торговцев, другие — "фабрики-кухни" по производству дешевых духов и фальшивых папирусов, третьи... И таких больше — потрясение при первой встрече с гигантским храмовым комплексом Карнак, рассвет над Нилом, мистические дуновения в подземных галереях Города Мертвых в Луксоре, последний луч Солнца в Аравийской пустыне...

Пафос и ирония, вернее — самоирония, неизбежны, когда пытаешься рифмовать, скажем, "МНЕМНОН — ЛАНЖЕРОН". Такая уж тематика, понимаешь...

венный специалист по искусственному оплодотворению коров! Это во-первых! А во-вторых, сами подумайте — разве может нормальный человек заниматься оплодотворением коров? Ну? А вы написали в заключении (*тычет в карточку*), что он здоров!

В. Ну правильно, я так и написал! Вы что, не видите, что в карточке написано? (*Тычет в карточку*) Там написано, что он здоров как бык!

Ползут по-пластунски двое. Один бьет по заднице второго.

1-й. Зад опусти, заметят! Эх, пацан, какой из тебя вор, если ты даже в армии не служил?

Они подползают к забору из колючей проволоки.

1-й. Ну, вроде все тихо.

2-й. Ух ты! Никогда еще не тырил с военного склада!

1-й. Тихо ты! Смотри как надо — берешь кусачки, откусываешь... (*Откусывает кусок проволоки с двух сторон*). Понял? Берешь следующий, откусываешь... И так дальше... (*Отдает 2-му кусачки*). Давай, кусай и сюда клади.

2-й. А зачем? Мы и так уже на склад пролезть сможем.

1-й. Эх, пацан! Я на этом складе всю жизнь прапорщиком служил. Здесь уже давно, кроме колючей проволоки, тырить нечего! Кусай давай!

Поговорили...

В приемной директора сидит секретарша. К ней подходит сотрудник.

СОТРУДНИК. Иван Иванович у себя?

СЕКРЕТАРША. Иван Иванович? Вне себя! Прямо с утра. Проходите, ждет.

СОТРУДНИК. Господи, пронеси... (*Входит в кабинет*)

Слышно, как директор орет на сотрудника. Через 10 минут бледный сотрудник вылетает из кабинета, волосы дыбом, галстук на сторону.

СОТРУДНИК. Д-д-дайте си... си... си...

СЕКРЕТАРША. Сигаретку, что ли? Пожалуйста. (*Открывает пачку, сотрудник вытаскивает сразу несколько сигарет*).

СОТРУДНИК. Ни-ни-чего, что я...

СЕКРЕТАРША. Ничего. Я тоже после секса люблю покурить...

Боги, гробницы, ученые...

Если взять название этих заметок в кавычки и убрать многоточие, то читатели постарше сразу же вспомнят одноименную книгу, которая была для нас окном в Египет. В стране, лежащей в долине великого Нила, в 60-70 годы XX века из советских людей бывали разве что дипломаты да строители Асуанской плотины и моряки. Впрочем, последние дальше магазинов портовых городов забирались редко. Пускали к пирамидам и Сфинксу туристов, но по строгому отбору, куда более жесткому, чем тот, которому подвергали души умерших древние боги, решавшие, куда же отправить их — в ад или рай...

"Боги, гробницы, ученые" — этой книгой Керама (имени автора, увы, не помню) зачитывались тогда многие мои приятели. Особенно прихлянула она по душе Юре Михайлику. "Гробницы — это про меня", — с трагизмом говорил он, искоса поглядывая на юных поэтов, ходивших за ним, как юные жрицы за верховным адептом Амона Ра. "В таком случае, — констатировал я, — на мою долю остаются боги". Вот так — не больше, не меньше... Впрочем, учеными мы так и не стали...

Михайлик уже много лет живет в Австралии. Не знаю, съездил ли он за это время в Египет, а вот я недавно наконец побывал в этой стране, живущей, как минимум, в трех измерениях. Машине времени не хватило бы керосина для того, чтобы проложить регулярный туристический маршрут длиной в шесть тысяч лет: аэропорт в Хургаде — храм царицы Хатшепсут, где она в мужском костюме и при накладной бороде вступает на фараонский трон — незаконченный обелиск в Асуане в обеденный перерыв для рабов-каменотесов — бедуинское стойбище — белый нильский пароход с казино и спутниковой связью...

Никогда раньше не писал стихов, во всяком случае, целых циклов. Но, видимо, древняя страна сама выбирает, как и чем заниматься здесь паломнику. Одни из побывавших здесь вспоминают лишь жару и назойливых уличных торговцев, другие — "фабрики-кухни" по производству дешевых духов и фальшивых папирусов, третьи... И таких больше — потрясение при первой встрече с гигантским храмовым комплексом Карнак, рассвет над Нилом, мистические дуновения в подземных галереях Города Мертвых в Луксоре, последний луч Солнца в Аравийской пустыне...

Пафос и ирония, вернее — самоирония, неизбежны, когда пытаешься рифмовать, скажем, "МНЕМНОН — ЛАНЖЕРОН". Такая уж тематика, понимаешь...

Боги

Взошел над Нилом дивный РА...

— Почем здесь черная икра?

Ра — бог Солнца.

Соловей луксорский, славный ПТАХ...

— Нас встречает с гривнею в руках.

Птах — бог-творец.

Мы спросили у АМОНА:

— Вы не видели Арона?

Амон — бог плодородия.

Если вас полюбит БАСТ...

— Вам любая жрица даст.

Баст — богиня любви.

Клюнет в темя сокол ГОР, жизни — кот наплакал...

Это еще полбеды — лишь бы не накал...

Гор — бог Неба.

— Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ, —

сказала мне сестра, —

там познакомишься ты с ней.

Невестою своей...

— Но ведь она стара...

— Стара? Всего шесть тысяч лет,

зато в роду у них

и РА, и ГОР, и СЕТ!

Гробницы

Ужасно шумно в доме Фараона,

Эс тут зих хойшех, прямо дым идет!

Он женит сына Эхнатона

На принцессе Турандот.

Пусть подхватят люди в мире там и тут

Эту песенку мою про Хатшепсут!

Но пока я песню пела, пять столетий пролетело,

Новый век! Часы двенадцать бьют!



Дамы млеют: "Ох да ах! Колоссы Мнемнона!"

— Вы амбалов не видали на нашем Ланжероне!

МАМА МЫЛА РАМУ

на ремонте храма.

Папа наш хлебнул пивка

и бурчит издалека:

Я — человек иной судьбы —

РАБЫ НЕ МЫ!

МЫ НЕ РАБЫ!



Древний папирус.

Отрывок из школьного сочинения на тему "Моя семья"

Живал в Египте Птолемей,

Но не живало Губарей...

Играют по весне гормоны,

Встают из саркофагов фараоны...

Аменхотеп, Тутанхамон —

правители былых времен...

Хотенамон, Амонотут —

они здесь больше не живут...

Отсюда вывел нас Мойсей...

Но возвращается еврей.



И прочие...

В Хургаде прекрасный чирус
Завернули мне в папирус

Чирус — древняя одесская рыбка.

Как прекрасна птичка ибис,
Божие творение.
Очень важно очень точно
Сделать ударение.

Цветет в садах рахат-лукум,
Созрели козинаки.
Ползет из Нила крокодил.
Хватает дам за фракы.

Ты верблюда не балуй
И дразни не очень,
А то дерзкий обалдуй
Плонет в кари очи.



Круизмы

Здесь отдыхали от забот
И римский цезарь, и вестготт...
Сегодня — все наоборот:
Араб, страдающий от лени,
И сумрачный германский гений.

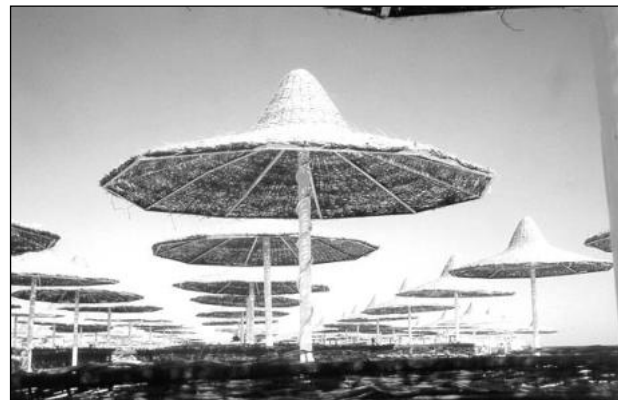
P.S. И тетя Дуня с коромыслом,
И острый, острый галльский смысл.

— Али-баба! Смотри, какая женщина!
— Уж не израильская ль военщина?

Слоу-фокс мне не по нраву,
Брейк и техно — суета.
Мы себя, мадам, покажем
В сладком танце живота!

Пососи с утра кальян,
И в чалме, в халате
Оторвись на полный ход,
СФИНКСКЕРСНИ В СВОЕМ ФОРМАТЕ!

Господа!
Ведь мы в Луксоре!
Помириться
Все, кто в ссоре!



Ряд ассоциаций: от Асуана до Луксора

Агностики и клирики,
Зануды и сатирики,
Извращенцы и святоши,
И Тотоши, и Кокоши,
Босоножки и калоши,
"Шустов" — "Криков" — "Арарат"...

Завершают этот ряд
Волк и Семеро Козлят,
Чирики и мырики,
Физики и шизики,
Лирики и финики,
Минин и Пожарский,
И шашлык по-карски.
Ибисы и скарабей,
Птолеми и еврей...

Легконогая Ассоль
И тяжелая фасоль.
Все.



Фото автора

ИЗДАНО В ОДЕССЕ

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Есть город, который... .330

Феликс КОХРИХТ
Жив отважный капитан 334

Есть город, который...

В.С. Максименко
"Выдающиеся композиторы в Одессе".
"Астропринт", 2003 год.

История связей выдающихся композиторов XIX и XX века с нашим городом давно интересовала исследователей, но так и не была издана отдельная монография, посвященная этой проблеме. И лишь Валентин Максименко, профессор, одновременно математик и культуролог, написал книгу по истории Оперного театра, а вслед за ней — книгу, вобравшую очерки о Листе и Мусоргском, Лысенко и Чайковском, Дунаевском и Шостаковиче. Тут названо шесть имен, а Валентин Максименко с присущей ему скрупулезностью как бы создал панораму, в которую вошли великие имена мира сего, все вместе сотворившие чудо — музыкальный город. И этому не мешала ни торговля зерном, ни банковские сферы, ни развитие судоходства. Как запечатлел А.С. Пушкин Одессу музыкальным городом, так она и стала ей на 210 лет своей биографии.



"Где обрывается Россия",
книга из серии общества "Одесский Мемориал",
выпуск XVI,
составители А.А. Таубеншлак и Е.Л. Яворская.
"Оптимум", 2003 год.

Одесса в 1917-1920 годах — это не только непрерывная смена властей, слежка, расстрелы, борьба контрразведок; это приют МУЗ, последний город, где еще, казалось, может петь Вергинский и играть Вера Холодная, шутить Тэффи и Дон-Аминадо и проклинать растерзание России Иван Бу-

нин. Очень многие произведения об Одессе тех лет стали хрестоматийными, к примеру, "Время больших ожиданий" К. Паустовского или "Похождения Невзорова, или Ивикус" А. Толстого. Составители, год за годом изучая Одессу тех лет, нашли материалы не только хрестоматийные, которые не помешают школьникам, но и забытые, малоизвестные, затерянные в газетах, журналах, на библиотечных полках. Так создавалась литературная мозаика "окаянных дней", так революция и контрреволюция обретали плоть не в лозунгах, а в художественных образах, живых и сегодня.

Аркадий Вайнер, Эдуард Кузнецов
"Есть город, который...".
"Негоциант", 2002 год.

Одесса всегда славилась юмором. Нет, не приветственные речи или некрологи запоминали горожане, а пародии, шаржи и эпиграммы. И — такой уж город — пародии и шаржи становились фирменной меркой того или другого деятеля искусства, политики.

Собирать эти крохи спустя десятки, а то и сотни лет очень трудно. Многие остались лишь в устной памяти. Я тут же вспомнил пародию на Веру Инбер, которую молва приписывает Багрицкому. Но и опубликованные пародии, эпиграммы, шаржи разыскивать чрезвычайно трудно. Так что А. Вайнер и Э. Кузнецов совершили подвиг, создав уже второй том чужих произведений, хорошо ими откомментированный. А замыслен еще и третий — "В цветущих акациях...". Так что энциклопедия зубоскальства развивается и, нужно надеяться, будет завершена.





Галина Лазарева и Владимир Миненко
"Василий". Имена одесской киностудии.
"Астропринт", 2003 год.

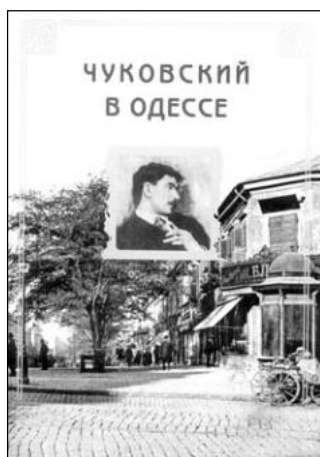
Это документальная повесть о жизни и фильмах человека и киносценариста Василия Решетникова. Написана по его устному байкам, по протоколам заседаний худсовета, по репликам друзей и недругов. Живая книга о живом человеке. И приятно, что новую серию Г. Лазарева и В. Миненко (а еще и великолепный художник книги) задумали не как мемориальную, а как оптимистическую. Слишком плохи дела на нашей киностудии, чтобы вспоминать лишь то, что было; ав-

торы решили рассказать о тех, кто есть, кто борется, не сдастся, а значит — в конце концов — победит.

Наталья Панасенко
"Чуковский в Одессе".
"Оптимум", 2002 год.

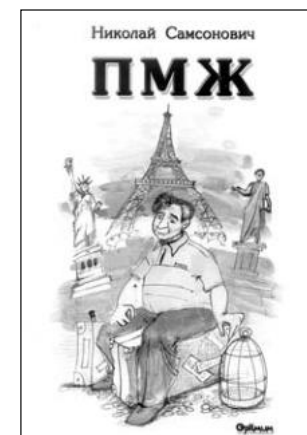
Немногие знают, что самый популярный детский писатель был до революции одним из самых популярных взрослых писателей. Шутник, импровизатор. И, быть может, все это благодаря Одессе, где прошли его детские и юношеские годы.

Биография К. Чуковского в Одессе была настолько запутана, что понадобились годы, чтобы узнать, где он жил, какие тайны тайл (а тайл он многие тайны, начиная с той, кем был его отец), И.Н. Панасенко, просидев в архивах годы, сумела — ниточка за ниточкой — распутать этот клубок противоречий. Спасибо ей.



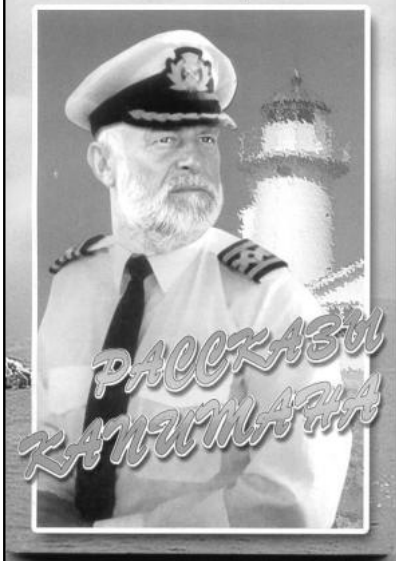
Николай Самсонович "ПМЖ".
Рассказы.
"Оптимум", 2003 год.

Читатели нашего альманаха уже встречали имя Николая Самсоновича, знакомились с его одесскими, а значит юмористическими рассказами. Теперь из Израйля он прислал в издательство до сотни рассказов, которые запечатали наш город, каким он был и остается.



Жив отважный капитан

Евгений Боровлев



Он не только объездил много стран, но и воевал за то, чтобы по морю ходили лишь парусники, пассажирские и торговые суда. Но первым его кораблем был боевой катер Черноморского флота, на котором 12-летний Женья Боровлев, уроженец Геленджика, нес службу в Великой Отечественной. Закончил ее с боевыми наградами и нашивками за ранения. Начиная мирную работу матросом и боцманом на шхуне, затем служил срочную в морском спецназе, вновь демобилизовался. Учился и плавал — штурманом, старпомом, командовал лайнерами и сухогрузами.

Капитан дальнего плавания Боровлев — один из самых лихих мореходов Черноморья, яхтсмен и эталон элегантности. Одним словом — мастер. Его перу принадлежат две книги.

Первая — учебник, предназначенный тем, кто решил овладеть профессией с азов. Назван конкретно и емко: "Матрос 1 класса". Поразительно, как много должен знать и уметь юноша, начинающий нынче морское жительство: навигация и крепление грузов, сложные механизмы и гребля, малярка, спасательные работы...

Все, чему учит Е.М. Боровлев молодых моряков, он знает и умеет в доскональности. И более того, и еще многое.

Вторая — и художественная проза, и исповедальный дневник сильного, много пережившего мужчины, родившегося у моря, воевавшего на нем, плававшего в разных широтах, любившего, терявшего друзей... В общем, обретающего среди мифов и рифов (поменяем незабвенного Виктора Викторовича Конечского — нашего с ним кумира)... Жизнь в море из-

менчива и прихотлива: штормы и штили, романтическая любовь и оскорбительная слежка помполитов, верность и предательство...

Сборник прозы Евгения Боровлева, автора нашего альманаха, как и первая его книга, озаглавлен просто и доверительно: "Рассказы капитана" (Издательство "Друк").

Представьте себе бескрайний океан, в кают-компании только что закончился ужин, и мастер, к удовольствию молодых штурманов и механиков начинает: "Пассажирское судно "Аскания", сопровождаемое солнечной погодой, с полным комплектом загорающих, полоскающихся в бассейне туристов, неторопливо бежало на Батуми..."

Дальше читайте сами.



Содержание

От редакции 6

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Петр Варнек
Эвакуация из Одессы Добровольческой армии в 1920 году 6

Лилия Белоусова
**Орден Рыцарей Льва и Карл Олей —
несостоявшийся король Крыма** 22

Андрей Незведский
Семейная тетрадь 27

Олег Губарь
"Дом сердобольных сестер" 38

Вера Фабианская
Комментарии к письму Владимира Короленко 44

Аркадий Пальм
В гавани, далекой гавани... 50

Наталья Панасенко
Одесские Войновичи 87

ПРОЗА

Владимир Уфлянд
Из жизни Ухорылых 93

Братья Шаргородские
Художник из Нью-Амстердама 110

Александр Бирштейн
Живаго и Кукурузник 124

Олег Губарь

Дядя Вова 128

Владимир Гридин

Светлячки 133

По пути к Ставроу 148

Публикация Вадима Амурского

Перикл Ставров

Мосье Жан 155

Дорогой дальнею 159

Тэффи 165

Лена Кутинова

Коловращение 169

Геннадий Ганичев

Эвридика 178

Ольга Ильницкая

Символична ли кастрация современников? 193

ПОЭЗИЯ

Вхождение в твою речь 198

Публикация Веры Калмыковой

Эвелина Шац

Диалог 200

Владимир Кац

Моя страница обожгла 204

Александр Мардань

Красные флажки 207

Елена Палашек-Сторожук

Вдохи на выдохе 209

Аркадий Кобзенко
Бездонный взгляд бездонных рук... 215

ЖИЗНЬ – ИСКУССТВО – ЖИЗНЬ

Письма П.Г. Волокидина 223
Публикации Виталия Абрамова

Дина Фрумина
Этюда 232

Татьяна Басанец
Экспрессивный абстракционист 234

Вадим Ярмолинец
Нью-йоркское шампанское с одесским привкусом 236

Феликс Кохрихт
Восточное сердце Марьяны Гаропенко 243
Марьяна Гапоненко
Разговор под землей 245

ПУБЛИКАЦИИ

Марк Соколянский
"Радость многолетнего общения" 250

Семен Вайнблат
Двадцать пять лет и "Всего тринадцать месяцев" 271

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна Щурова
"Тревогою обвиты ожидания..." 284

АХ, ОДЕССА

Елена Галинская
"Homage to Odessa" 295

Михаил Пойзнер
Стучите. Заглядывайте... 302

Мариам Юзефовская
Арбуз с хлебом 313

Владимир Трухнин, Ирина Полторак
"Городок" – пятый угол 320

Феликс Кохрихт
Боги, гробницы, ученые... 323

ИЗДАНО В ОДЕССЕ

Евгений Голубовский
Есть город, который... 330

Феликс Кохрихт
Жив отважный капитан 334

Одесский альманах

ДЕРИБАСОВСКАЯ — РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Выпуск № 13

Odessa almanac

DERIBASOVSKAYA — RISHELIEVSKAYA

Issue No 13

**Технический редактор Андрей Вишненко
Корректор Татьяна Коциевская**

**Оригинал-макет, верстка
ТИА "Вікна-Одеса"
Тел. 23-13-60**

**Отпечатано в типографии издательства "ВМВ"
Тел. 54-50-48**

**Сдано в набор хх.хх.2003.
Подписано в печать хх.хх.2003.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Формат 60х84/16
Физ. печ. л. 22. Усл. печ. л. 20,46
Зак. № 135. Тираж 500 экз.**